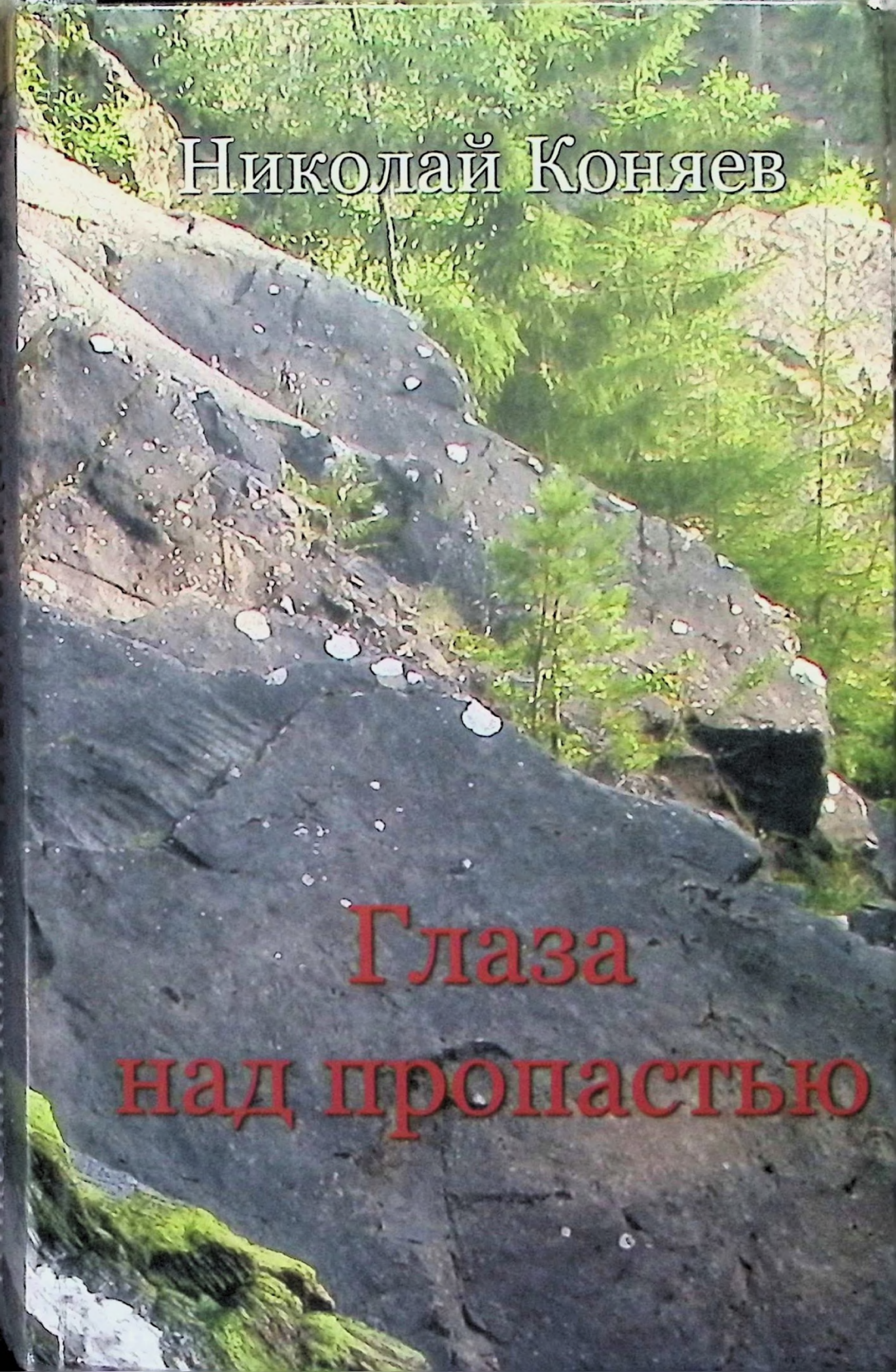




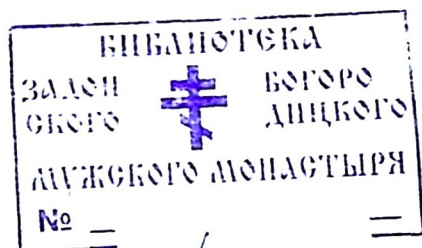
Николай Коняев

Глаза
над пропастью

Николай Коняев

Глаза над пропастью

Избранное



Москва
СМИРЕНИЕ
2011

ББК 84(2Рос-Рус)6-44
УДК 821.161.1-3
К65

**Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС 11-114-1507**

Коняев Н. М.

**К65 Глаза над пропастью: Избранное / Николай Коняев. —
М.: Смирение, 2011. — 480 с.**

ISBN 978-5-902212-18-7

Николай Коняев, как отмсчают критики, принадлежит к числу писателей «не просто продолжающих духовно-нравственную традицию русской классики, но и отвечающих на вызовы обезбоженного либерального интернационала...» Подтверждением этого является и новая книга писателя. Читая рассказы и очерки, собранные здесь, понимаешь, что нет для Николая Коняева более важной темы, чем тема спасения или погубления человеком собственной души.

Герои рассказа, давшего название сборнику, всего на несколько минут оказались вырванными из благополучной, устроенной жизни. На краю пропасти им предложено сделать нелегкий выбор, и невозможно схитрить тут, невозможно прикрыться заботой о своих близких, потому что эта хитрость оборачивается еще более страшной пропастью, разверзающейся перед героями...

Преодолевая пропасти собственной гордыни и братоненавидения, герои рассказов Николая Коняева совершают свои зачастую первые спасительные шаги воцерковления и приобщения к приходской жизни.

В заключительной третьей части писатель размышляет о духовном смысле русской истории, состоящем в поиске, обретении, потере и новом возвращении, по милости Божией, к своим истокам. «Православие для России не просто конфессия, — утверждает писатель. — Православие для нас — государствообразующая сила. Оно сформировало язык нашего народа и его национальный характер, определило законы нашего государства и его культуру. И так и выстраивалась святыми князьями Русь, что совпадали пути спасения и устроения русским человеком своей души с путями спасения и устроения государства».

© Н.М. Коняев, текст, 2011

© ООО «Смирение»,
оригинал-макет, оформление, 2011

ISBN 978-5-902212-18-7

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

Село — обстроенное и заселённое крестьянами место, в коем есть церковь.

Владимир Даль.
Толковый словарь
живого великорусского языка



Волшебное яблоко

(Рассказы)

Деревянные сабли

Снова увидел во сне этих парней с перекрестка и, проснувшись, долго лежал, слушая, как бухает в груди сердце, и все не мог понять, что меня напугало так, пока не догадался: это не парни из детства были, а обыкновенные бесы...

И уже не смог заснуть.

Так и лежал с открытыми глазами, пока не начали светлеть окна...

1

Эти страхи начинаются с того летнего дня, когда родители ушли из дома и оставили меня на попечении старшего брата. Мне должно было исполниться тогда четыре года, а брат уже закончил девятый класс.

Мы не долго оставались вдвоем — пришел приятель брата Юра Клепиков. Они сразу зашептались с братом, поглядывая в мою сторону.

Я смотрел на них, и мне совершенно не нравились эти переговоры.

Конечно, я мог гулять и без брата, но на ребячьем пригорке собрались сегодня незнакомые ребята, ко-

торые уже давно ходили в школу и жили не на нашем краю улицы, а далеко отсюда, там, где улица Труда пересекается с переулком Водников.

С ними был и мой приятель Саша Горбунов, который хотя и жил рядом с нами в Самылкинском доме, но часто бывал у старшей сестры в переулке Водников.

Саша был своим среди незнакомых мне ребят, но это совершенно ничего не значило. Я уже подходил к нему, и он сказал, что собирается со своими приятелями идти в сабельный поход на заросли крапивы, что растет возле котлована, и меня они не смогут взять, потому что у меня нет сабли, чтобы рубиться там бесстрашно и насмерть.

Тогда в детстве я еще не знал ни обид, ни зависти, — как не знают их деревья и трава, и так же не ощущал стремления хоть как-то выделиться, обозначиться.

Конечно, мне тоже хотелось идти в сабельный поход, чтобы рубиться там бесстрашно и насмерть, но никакой обиды на Сашу Горбунова не возникло. Он все объяснил мне, и перед приходом Юры Клепикова я как раз и уговаривал брата вырезать мне саблю, чтобы меня тоже взяли в Великий крапивный поход.

Однако брат увлеченно читал книгу и возиться с изготовлением сабли не собирался. И только когда появился Юра Клепиков, брату пришлось решать, что делать со мной.

— Ну что? — спросил он. — С ребятами поиграешь!

Я замотал головой.

— Почему?

— У меня сабли нет...

— Я вернусь и сделаю ее тебе...

— Не... Ты сейчас сделай...

Брат начал было осматриваться, из чего смастерить мне саблю, но тут Юра Клепиков отвлек его. Он что-то сказал брату, показывая на ребят, собирающихся на ребячьем пригорке в крапивный поход.

— Слушай! — сказал брат. — Ты пригласи-ка ребят сюда!

— Не... — сказал я. — Они не пойдут... Они в поход собираются, крапиву рубить...

— А ты скажи, что тебе глissер заводной купили... Скажи, что покажешь его!

Я уже давно упрашивал родителей приобрести заводной глissер и сейчас, услышав, что можно пригласить ребят посмотреть на него, совершенно забыл и о сабле, необходимой для участия в Великом крапивном походе, и о самом походе.

— Глissер? — облизнув языком пересохшие губы, спросил я.

— Глissер, глissер! — подтвердил брат. — Иди.

2

Конечно же, увидеть заводной глissер было интересно всем, и ребята гурьбой двинулись к нашему дому. Впереди шагали мы с Сашкой Горбуновым. Ему тоже хотелось посмотреть на заводной глissер.

Еще больше хотелось посмотреть на этот глissер мне.

Я не сразу и понял, что случилось во дворе.

Мой брат с Юрой Клепиковым, закрыв за ребятами калитку, начали разоружать их.

Не все отдавали сабли добровольно, и брату приходилось тогда применять силу. Некоторые пытались перелезть через забор, но Юра Клепиков успевал поймать их.

Скоро сабли были отобраны и, вооружившись вицами, брат с Юрой Клепиковым погнали ребят за ребячий пригорок, а я остался один с целой кучей разномастных деревянных сабель на крыльце. — Ну что? — спросил брат, вернувшись. — Доволен?

— А глссер где? — спросил я.

— Какой еще глссер?! — рассердился брат. — Ты просил саблю. Вот, целый арсенал теперь у тебя. Всё. Мы пошли. Ты сиди дома и никуда не ходи. Играй со своими саблями.

Об этом брат мог бы и не предупреждать меня.

Глядя на сваленные на крыльце деревянные сабли, я все еще думал о том, куда исчез глссер, который обещали показать мне, и так и не мог до конца уразуметь, что же произошло.

Только когда брат ушел с Юрой Клепиковым, я понял: произошло что-то ужасное.

Стараясь не дотрагиваться до сабель, лежащих на крыльце, я ушел в дом и забрался под стол в комнате, потому что более надежного убежища у меня уже не оставалось.

Наверное, здесь и уснул, потому что ясно увидел сон: мчащийся по Свири глссер останавливается и начинает разворачиваться. Вот он застыл на мгно-

вание в круглом нимбе стремительно вращающегося воздушного винта на корме, но вдруг, набирая скорость, устремляется на наш дом, и я в страхе отшатываюсь — вместо лопастей к винту глассера приделаны деревянные сабли...

3

— Миколя! — разбудил меня голос тетушки. — Убери с крыльца свои палки!

Пришлось вылезать из-под стола и затаскивать сабли в дом.

Наверное, самое правильное было вытащить все это добро за калитку, но я не то чтобы не догадался об этом, а побоялся.

Мне казалось, что можно еще как-то исправить ситуацию и для этого следует только сохранить сабли в неприкосновенности. Еще держались в памяти остатки сна, где крутился пропеллер глассера с лопастями из деревянных сабель, и я чувствовал, что сабли обязательно надо спрятать.

Только сейчас в комнате и разглядел я приобретение.

На улице, когда ими рубили крапиву или просто размахивали над головой, эти неловко обструганные палки не выглядели так уродливо, как в дому.

— О, Господи! — испугалась мать, заглянув в комнату. — А на улице эти палки нельзя оставить?

— Не, мама... — сказал я. — Я под кроватью их положу.

Через пару дней я встретил Сашку Горбунова.

Он не хотел разговаривать со мною из-за глссера, но потом смиростивился и сказал, что мне будет плохо. Так велели передать ребята с перекрестка.

Как-то неуютно и холодно стало мне в теплом летнем вечере.

Я предложил Сашке выбрать себе любую саблю из моего арсенала, за его ходатайство в переговорах. Сашка повертел предложенные ему сабли, потом объявил, что у него свои лучше, и ушел.

А я остался с ненужными саблями, которые годились только для замены лопастей в винте приснившегося мне глссера. Я снова засунул их под кровать.

Я уже не помню, как мама — она мыла тогда в комнате пол! — выведала у меня страшную тайну сабель.

Что-то она говорила отцу про сабли, что-то, упоминая сабли, отец выговаривал брату. Я не слышал этих разговоров, и не потому что они велись тайно, а потому что эти разговоры совершенно не касались меня. Отец объяснил брату, что нельзя отбирать ничего у младших ребят, а о том, что эти ребята винят теперь в происшествии меня, не сказал.

4

Бывают мгновения на границе сумерек и тьмы, в усталом, отходящем ко сну сознании дневные хозяйственные хлопоты и какие-то копеечные резоны и выгоды вдруг равномерно сливаются с мыслями о неизбежной смерти, о тщете всего, и тогда так больно, так тоскливо сжимается сердце: на что? куда ушли отмеренные нам годы?

Наверное, поэтому так безумно томительны рас-
светы.

Конечно же, не хватает света.

Его едва-едва достает, чтобы разглядеть цвет неба
и реки, очертания кустов на ребячьем пригорке, —
только самое главное, да и то словно бы подернутое
дождливым туманом...

Так и в памяти о детстве...

Свет медленно отделяется от тьмы, и из неразли-
чимой глухоты небытия возвращается дневная жизнь
и заполняет тебя...

Прошло еще немного времени, история с саблями
была окончательно забыта и отцом, и братом, и только
во мне она продолжала разрастаться густым страхом.
Я боялся заглядывать под кровать, там лежало самое
страшное, что было в моей жизни. Мама уже не раз
пыталась выкинуть сабли, но я каждый раз останавли-
вал ее своим плачем.

А однажды тетушка пришла из магазина и объявила,
что слышала в очереди, будто по домам ходит милиция
и ищет какие-то сабли... Мама подтвердила ее слова.

Я не заметил, как заговорщически переглянулись
они. Не до того было. Милицию я ждал уже давно,
с того самого дня, когда брат облагодетельствовал
меня отобранными у ребят саблями...

Меня охватила паника.

Я видел, как уводили милиционеры дядю Толю,
стрелявшего из ружья по проходившим пароходам, как
били его, запихивая в фургон с решеткою на окне.

Мне не хотелось, чтобы меня увезли в этом фургоне в тюрьму, и я потащил сабли к тетушке, чтобы спрятать их у нее в боковушке.

— Можно их за сундук спрятать... — говорю я. — Если крышку не закрывать, и не увидят...

— Не, Миколя... — говорит тетушка. — Если уж обыск придут делать, и за сундуком найдут...

И она, чтобы скрыть улыбку, прижимает уголок косынки к губам, но я, конечно, не замечаю этого, мне кажется, что тетушка утирает слезы, оплакивая мою горестную судьбу, как бабушка Самылкина, когда рассказывает о том, как сидит в тюрьме ее сын Толя.

И я сам плакал, так не хотелось мне в тюрьму.

— А, может, сжечь их сынок, а? — спросила мама, и я с ужасом посмотрел на нее, не понимая, как такое могло прийти ей в голову.

Но мама кивает, подтверждая свои слова.

И все равно я не сжег тогда сабли.

Это произошло на следующий день, когда милиционеры, как сообщила мне тетушка, пошли с обысками уже по нашей улице.

5

Это одно из самых ярких воспоминаний детства.

Я сижу в комнате на горшке, перед раскрытой дверкой печи-лежанки, и засовываю в разожженную топку сабли...

Мне жалко их, нестерпимо грустно наблюдать, как, охваченное огнем, сгорает оружие больших крапивных походов и рассыпается в печи жаркими ярко-малиновыми углями.

И что с того, что сабли были не очень-то и красивыми, что с того, что они лежали у меня под кроватью!

Ужасно жалко было их, но еще жальче самого себя.

Я сжег весь свой арсенал, осталась только ручка сабли, да и то, потому что она, обгорев, сама вывалилась из печи.

А через несколько дней, рубясь с крапивой, Сашка Горбунов ударил своей саблей по затаившемуся в крапиве валуну и сломал свою саблю.

Вечером он пришел ко мне и сказал, что говорил о моем предложении на перекрестке.

— Я сжег их...

— Сжег?!

— Ага! — и я показал Сашке обгоревшую ручку сабли.

На этом и завершает история с саблями, но не для меня, потому что проходит какое-то неизвестное — может год, а может два! — пространство времени, и меня, я уже учусь в первом классе, посылают в магазин за хлебом.

Ни о чем не думая, я иду по нашей улице и вдруг вижу на перекрестке переулка Водников тех парней, у которых брат отобрал когда-то для меня деревянные сабли.

Парни смотрят на меня (или мне кажется, что они смотрят, наверняка я ошибаюсь, наверняка ребята уже позабыли всё), но страх парализует меня, и я не могу двинуться дальше.

Отец потом ругал меня, но я ничего не мог поделать с собою, и в магазин за хлебом пошла сестра.

6

Кажется, в тот день и кончилось лето...

Еще несколько дней погода была теплая, даже жаркая, как летом, но потом подул северный ветер, принося холодный арктический воздух и щемящее одиночество детства...

Одиноким я ощущал себя и потом, но детское одиночество запомнилось сильнее...

Наш дом стоял на берегу реки, и в теплые дни здесь всегда собиралось много ребят, а вот когда начинал дуть северный ветер, берег реки пустел, никого уже не встретить было на нашем краю.

В такие дни я пробирался на задворки и шел через пустырь к лесу.

Но в этом лесу не было ни грибов, ни ягод, и скоро мне надоедало бродить там, и я сворачивал на лесные дорожки — заросшие кустарником развалины довоенных зданий...

Сразу после войны в этих развалинах выбирали кирпичи, и получилось, что сами фундаменты оказались расчищенными, а по обе стороны от них образовались насыпи из битого, не годного ни на что кирпича. Насыпи эти с годами заросли дёрном, и на них вызревала на солнце земляники.

Туда и шел я и в одиночестве — лесные дорожки пользовались в поселке дурной славой, и сюда, как я узнаю позднее, старались не ходить! — ползал по пригоркам в поисках созревшей земляники, а порою

и просто сидел, охваченный одинокими мечтаниями о будущем...

Мне хотелось совершить что-то героическое, кого-то спасти, сделать что-то очень нужное и полезное и, если потребуется, пожертвовать собою ради Родины и ради любви...

Мысли об этом как-то необыкновенно волновали и возвышали меня...

И так и осталось, наполненное необузданными мечтаниями одиночество...

Вот что приносит холодный северный ветер...

Однажды, когда я сидел так на берегу реки за поселком, за моей спиной зашуршало платье, я оглянулся и увидел молодую цыганку, что жила в Богачево и ходила гадать на пристань к приходящим теплоходам.

— Кого ты здесь ждешь, мальчик? — спросила она.

— Я так сижу... — сказал я, не зная, что ответить. — Никого не жду.

— А чего испугался?

— Нет... Я не испугался...

— Испугался... — внимательно глядя на меня, сказала цыганка. — Ты думаешь, что все изменится, когда ты вырастешь? Не изменится ничего... Твои страхи вырастут вместе с тобой...

И она ушла, сбивая подолом длинной юбки прозрачные шары одуванчиков.

Я не понял ее, но, глядя на пустую вечернюю воду реки, ощутил вдруг такой приступ страха, какого не испытывал еще никогда в жизни.

7

Прошли года, и ребята с перекрестка, которых я заманил когда-то к себе в дом, снова пришли в страшные сны...

Вот я вхожу в свой вознесенский дом, иду по комнатам. Почему-то ночь и вокруг темно.

Я включаю свет и начинаю вспоминать, что в этом доме всегда меня охватывает какая-то жуть, стоит только остаться одному.

Но сейчас не страшно.

Чего бояться мне взрослому, уже прожившему почти всю жизнь?

И зачем, спрашивается, здесь заколочены изнутри все окна?

Я начинаю отдирать доски и тут замечаю толпу подростков с перекрестка. Подростки лезут через забор и бегут прямо к окну, возле которого стою я.

При этом они явно не видят меня.

Это странно, потому что на улице тьма, а в доме свет, и это я не могу видеть их, а они должны, должны видеть...

Но всё наоборот.

Подростки лезут в окно, хотя я и мешаю им.

У подростков возбужденные, очень злые лица. Они лезут, разбивая стекла, и мне страшно, а больше всего я боюсь тех ребят, которые пошли в обход дома и сейчас, я слышу это, уже входят в коридор...

И всегда первое движение — броситься к кровати, под которой были сложены у меня деревянные

сабли, но тут же останавливаются в себя, понимая, что против тех, кто пришел в сон, никакие сабли уже не помогут...

И только и осталось Крестное Знамение...

Птичья бабушка

То лето началось для нас с разорения птичьих гнезд...

Был конец июня, но лето у нас всегда начинается поздно, было холодно, и вот с утра старшие ребята отправились в котлован.

Там, за поселком, на берегу реки стоял заброшенный леспромхозовский сарай, облепленный комочками ласточкиных гнезд. Эти гнезда и разорили старшие ребята. Вернулись они с птенцами за пазухами. Часть птенцов по дороге умерла — они достались знакомым кошкам, а некоторые еще жили, и ребята отдали их нашим девочкам.

Одного птенца забрала моя сестра.

Вначале мы налаживали на чердаке гнездо вместе, но потом я неосторожно погладил птенца, и сестра прогнала меня.

Было ужасно обидно.

Сестра по-прежнему возилась на чердаке — мастерила из тряпочек гнездо, потом носила с огорода червяков, чтобы кормить своего квартиранта. Я же — откуда только сила взялась? — перетащил от хлева к дому лестницу и, размазывая по лицу слезы, забрался наверх.

За наличником кухонного окна у нас жило семейство мухоловок... Оттуда я и вытащил двух птенцов. Покрытые не потемневшей еще прозрачной кожицей, жалкие, как-то странно похожие на голых скорчившихся человечков, лежали они на моей ладони. Когда они перестали шевелиться, я испугался и засунул птенцов назад, за наличник.

Я вовремя сделал это. Едва я убрал лестницу, как прилетели взрослые мухоловки и, тревожно цикая, запрыгали по наличнику. Несколько раз заныривали в гнездо, громко переговариваясь между собой.

Из дома вышла мать.

— Кот залез... — посмотрев на мухоловок, сказала она. — От рыжий леший!

— Не... — запротестовал я. — Не! Это не наш Барсик, мама... Чужой кот ходил...

Мать как-то странно посмотрела на меня, тяжело вздохнула и ушла в дом.

Птенец, которого выхаживала сестра, к вечеру умер. Сестра теперь не прогоняла меня, и мы вместе похоронили его — в пустой консервной банке возле кустов крапивы.

Утром, на ребячьем пригорке, мы узнали, что умерли и другие птенцы. Кроме того, который достался Сашке Горшкову...

Трудно было в это поверить.

Тем более что Сашка был не нашим, не поселковым... Он жил в Петрозаводске, а в поселок приезжал на каникулы.

— Врёшь... — сказал Колька Кондров.

— Чего вру-то?! — закричал Сашка. — Я могу показать, если не веришь!

И вот всей гурьбой мы вошли во двор к бабушке Горшковой.

Двор как двор.

Развешенное на веревках белье... Покосившаяся поленица дров... На крыльце стоят измаранные глиной сапоги... Всё как у всех.

— Сейчас... — сказал Сашка. — Подождите здесь.

И он исчез в доме.

Назад он вышел не один, а с бабушкой — обычной старушкой в белой косынке.

В руках она держала птенца.

— Только руками не трогать! — строго предупредила она и вздохнула. — От хулиганы-то. Столько гнезд разорили...

Из-за спин старших ребят я ничего не увидел, но, судя по голосам, Сашка не соврал — птенец был жив.

— Ну что? — спросила бабушка. — Насмотрелись, ироды?

Она осторожно погладила птенца.

— Не бойся...

Смущенные, уходили мы.

— Это что... — уже на ребячьем пригорке рассказывал Сашка. — У бабушки всякие птицы живут. Она даже разговаривает с ними!

— Не ври... — неуверенно сказал Колька Кондров.

— Я и не вру! — сказал Сашка. — Я сам слышал, как она с ними говорит.

— Ну, а они?

— И они тоже... Только я не понимаю, что они говорят, а бабушка разбирает. У нее... — Сашка таинственно понизил голос. — У нее косынка такая. Повяжет на голову и сразу всех птиц понимает. Да вы сами на ней эту косынку видели...

— Не выдумывай! — строго сказал Колька Кондров и о чем-то задумался.

— Я и не выдумываю! Бабушка сама про себя говорит, что она — птичья...

Это прозвище бабушки Горшковой мы и раньше слышали. Ее называли так взрослые, насмехаясь над возней с больными птицами.

Да и встречали мы бабушку Горшкову десятки раз...

Но хотя и слышали, хотя и встречали, как бы и не замечали ее.

И вот только сейчас, после чуда воскресения ласточкиного детёныша, после Сашкиного рассказа о волшебном платке, увидели ее по-новому.

И сразу притихли, пытаясь вместить это чудо в свое сознание.

— Да ну! — вдруг сказал Колька Кондров. — Сказки все это! Пошли лучше рыбу ловить.

И рассеялся сказочный туман.

Рыбачить я не пошел. Видел, как возились ребята на старой, полузатопленной барже, а потом расходились по домам. Только Кольке и удалась рыбалка. Когда он проходил мимо ребячьего пригорка, на прутике-кукане трепыхались рыбешки.

Вечером мать послала меня отнести в поселок молоко. Обычно молоко носила сестра, но в тот день я не стал спорить, взял бидончик и пошел. Возвращался задворками.

Там и увидел Кольку Кондрова. Колька сидел на камне возле смородиновых кустов, и голова его была обмотана белой косынкой.

Заметив меня, Колька смутился и погрозил кулаком.

— Понял?

— Ага... — сказал я. — А это... ее платок? Волшебный?

Кондров задумчиво посмотрел на меня, потом сплюнул.

— А ты как думаешь? Что я, в обыкновенном платке буду сидеть?

— Колька! — попросил я. — Дай послушать, о чем они говорят. Ну Колька...

Наконец он сжалился и намотал на мою голову косынку. Ворчали в кустах смородины дрозды, на кося скворечне сидел толстый скворец и задумчиво смотрел на меня.

— Ну хватит! — Колька стащил с моей головы косынку. — Послушал и хватит. Понял что-нибудь?

— Ага! — сказал я и чуть не задохнулся от неожиданной догадки: ведь не случайно так смотрел на меня толстый скворец — еще мгновение, и он бы сказал что-нибудь, он явно собирался сказать что-то...

— Колька! — взмолился я. — Ну дай еще послушать!

— Хватит! — Колька засунул косынку в карман. — Давай вали отсюда и не вздумай рассказывать, что платок у меня.

Разноголосые сны слетелись ко мне в ту ночь.

До утра разговаривали со мною белогрудые ласточки, хохлатые жаворонки, взъерошенные воробьи, крепкоклювые вороны. Синицы и снегири доверчиво усаживались на плечи, а под ногами, кланяясь и переступая на тонких черных ножках, бегали каменки, торопясь рассказать о своих тайнах.

Ребята, когда я все-таки проговорился о волшебном платке, подняли меня на смех. Громче других смеялся Колька Кондров.

— А где? Где ты взял платок? — спрашивал он и буравил меня насторожёнными, несмеющимися глазами.

Жутковато стало от его взгляда, и я убежал домой, страшась, что сейчас придет птичья бабушка и будет требовать свой волшебный платок, а что, что я отвечу?

Три дня я прятался в доме, а когда не выдержал и вышел на улицу, оказалось, что уже наступило настоящее лето и никто не помнит ни о волшебном платке, ни о птичьей бабушке.

Несколько дней стояла жара, вода нагрелась, и ребята с утра до ночи пропадали на реке... А потом отпыхал алым цветом когтистый шиповник, разрослись, загустели деревья, рассыпалась на полянах

в лесу земляника, поднялась трава, начался сенокос... И я тоже позабыл и о птичьей бабушке, и о своем страхе.

Бабушка Горшкова никуда, конечно, не исчезла, она продолжала жить в поселке, но другие впечатления заслонили ее, и бабушкина сказка потускнела, рассеялась в памяти.

Эта детская сказка снова вернулась в мою жизнь, когда умерла птичья бабушка.

Я уже закончил школу и готовился к вступительным экзаменам в институт. Целыми днями сидел я над учебниками и о смерти птичьей бабушки узнал, когда после похорон в гости к отцу зашел сын бабки Горшковой. Он давно уже жил в Петрозаводске, но раньше, до города, учился у отца в школе.

Они с отцом долго сидели на кухне и разговаривали.

Горшков вспомнил о похоронах и погрустнел. Зачем-то начал рассказывать, что мало заботился о матери.

Хотя, что он мог сделать? Заготовить на зиму дров? Так у нее дров своих хватало... Во дворе стал перебирать поленицу, а дрова-то все сгнившие... А ведь еще Сашка их складывал... Сгноила старая...

— У ее каменка там жила... — прижав к губам уголок косынки, сказала моя мать. — Вот мать твою и не трогала поленицу-то...

— Вот и я говорю... — сказал Горшков. — Старая была, а жила тут без присмотра со своими птицами. И в Петрозаводск не ехала, хоть и звал ее.

Он вздохнул тяжело и принялся расспрашивать отца, не знает ли тот покупателя на дом, потому что Сашка неохоч до деревенской жизни, норовит ездить в отпуск на море, а ему тоже выбираться в поселок трудно, он уже так и решил, что увезет в город с собою бабкины иконы, а дом, дом хорошо бы продать...

Отец кивал, говорил, что это так, конечно, молодежь теперь на город глядит, а покупателя на дом найти трудно, никто теперь в поселке не хочет жить, уезжают отсюда...

— Да, это так! — соглашался Горшков. — Так... А что делать?

Покупателя Горшков так и не успел найти...

Дня через два он уехал, а после прилетели из леса дятлы, облепили дом и весело застучали клювами.

До самой темноты расклевывали они дом птичьей бабушки.

Было это, как потом объяснила мне мать, на девятый день...

С тех пор прошло много лет. Но иногда, под утро, снова слетаются птичьи сны, и снова возникает бабушка Горшкова.

Я пытаюсь разглядеть ее лицо.

Но напрасно — черты расплываются, а из зыбкого тумана сна выплывает дерево, наполненное светом и голосами птиц моего детства. Птиц, которые, кажется навсегда, исчезли после смерти птичьей бабушки...

Тадюка

Лодка бежала по заброшенной воде старого канала. Ровно и мощно подрагивая, гудел за спиной Страшникова мотор.

Было еще рано. Косые лучи солнца, насквозь пронизывая тонкие рощицы на бечевнике, бликами вспыхивали в радужной, дрожащей на дне моторки воде.

Нинка сидела впереди и, навалившись животом на борт, хватала руками бегущую воду. Сверкающие солнцем брызги летели в лицо Страшникова. Брызги были холодными и обжигали кожу, но Сенька не ругал жену.

Хорошо было...

Хорошо было ощущать мощную дрожь рукоятки двадцатисильного — ни у кого в поселке не было такого! — «Ветерка», хорошо было смотреть на жену...

Тонкое платье плотно облегалo крепко сбитое тело, а когда Нинка тянулась руками к воде, подол натягивался, обнажая молочно-белую кожу.

Отвернувшись от встречного ветра, Сенька раскурил папиросу, и синеватый дымок на мгновение окутал его, но тут же пропал, отставая от лодки. Лодка вильнула в сторону, и Страшников, выравнивая ее, старался, чтобы между приоткрывшейся молочно-белой кожей на ноге жены и синим пятном кустарника, подступающего к развалинам неведомо когда разрушенной церкви, образовалась прямая линия.

Приближаясь, кустарник стремительно менял окраску. Еще не догорела на ветру папираса, а в синеве уже проступили зеленые пятна, потом различимыми стали нежно-зеленые ветки. И в развалинах, затягиваемых землей, проступила кирпичная ржавчина...

Играя с водой, Нинка словно бы поддразнивала мужа, и он, так и не привыкший за три месяца совместной жизни к тому, что Нинка — его жена, вдруг ощутил, как сами собой сжались мускулы и, подчиняясь не уму, а инстинкту, моторка резко завернула к берегу. Страшников выплюнул за борт изжеванный окурок — прямо перед ним зазывающе ласково зеленела трава, нежно желтел прогретый солнцем песок.

— Змея! — закричала вдруг Нинка, отдергивая от воды руки.

Ближнее пространство воды было закрыто от Страшникова задравшимся носом моторки, и он чуть приподнялся, разглядывая: что там увидела жена?..

Из ровной, не потревоженной воды канала изогнутой черной проволочиной торчала гадюка.

Моторка промчалась мимо, и змея смешно закачалась на поднятой волне, задирая маленькую злую головку.

Нинка стремительно обернулась назад, платье облепило ее сильные ноги, глаза вспыхнули, и столько было в ней сейчас азарта, что Страшников, не задумываясь, развернул моторку и помчался назад, оттесняя змею от близкого берега. Лодка промчалась почти рядом со змеей, изогнувшейся на воде, как недоуменный вопрос.

— Дави! Дави ее, Сенюшка! — притоптывая от нетерпения ногами, кричала жена. — Дави, миленький!!!

И крепко сжатым кулачком она колотила по борту.

И снова, круто ложась на борт и поднимая за собою шлейф водяной пыли, развернулась моторка. Встав на ноги, чтобы точно видеть змею, вел ее Сенька.

Теперь азарт охватил и его. Глаза сузились, и весь он подобрался, сливаясь с «Ветерком», мощно гудевшим за спиной.

Моторка всей тяжестью обрушилась на змею, подминая ее под себя.

Страшников оглянулся назад. Пустая вода канала пенилась за кормой.

— Ура! — кричала Нинка и, смеясь, прыгала на носу лодки. — Мы победили, Сенечка! Ура!

И сразу же расслабились затвердевшие в азарте погони мускулы, и губы раздвинулись в счастливой улыбке — снова Сенька потянулся к жене, но тут... Что-то непоправимо чужое и черное возникло над бортом и неуклюже соскользнуло на дно моторки.

Это произошло так быстро, что Страшников, не успев испугаться, почувствовал, как противно, не совпадая с ритмом мотора, задрожала рука. Впившись глазами в извивающееся между корзинами тело змеи, Страшников сдвинул непослушной рукою рычажок скорости.

По инерции моторка пробежала несколько метров и остановилась посреди тихой воды канала. Две волны разбежались от ее носа и погасли в прибрежной траве.

— Ты что? — удивленно повернулась к Страшникову Нинка, но тут же пронзительно завизжала, заметив черную полосу, что, медленно извиваясь, двигалась к носу лодки.

Уже некуда было пятиться, и сейчас Нинка выжималась всем телом из лодки, а пальцы, вцепившиеся в железный крюк, побелели.

Если бы взяли весла... Тогда бы Страшников подцепил змею и вышвырнул за борт...

Но вёсел не было.

Страшников, еще когда возился с мотором на берегу, попросил Нинку сходить за веслами, но та не захотела возвращаться домой, и они поехали, понадеявшись на безотказный «Ветерок»... А теперь...

— Ну что ты сидишь?! Что ты сидишь?! — пытаясь прорваться в неторопливые мысли мужа, вопила на носу лодки Нинка. — Ну сделай, сделай что-нибудь!!!

Крик ее настиг Страшникова, и он, схватив топор, что лежал под кормушкой, медленно двинулся по лодке, подбираясь к змее.

Возле корзины задержался. Сообразил, что, ударив змею топором, неминуемо прошибет и днище, а тогда и лодка, и мотор — ни у кого в поселке больше нету такого! — все бесследно пропадет в мутноватой от глины воде заброшенного канала.

— Доигралась! — зло проговорил Страшников. — За веслами лень было сходить!

— Ты... Ты ее топором бей! — от страха Нинка даже не обратила внимания на упрек мужа.

— Днище прошибу... — рассудительно ответил Страшников. — Мотор потопим.

Конечно же, он сделал ошибку, заглушив мотор. Нужно было приткнуть лодку к берегу и выпрыгнуть из нее, пережидая, пока непрошенная пассажирка сама не выберется на землю. В крайнем случае, он бы срубил в кустах рогульку и спокойно придушил змею.

— А-аа-аааа! — закричала Нинка, и из глаз ее брызнули слезы. Это, помедлив, змея снова заскользила к носу лодки. — Она же уку-у-у-сит меня, миленьк-и-и-ий!

Спокойные и правильные мысли Страшникова смешались в голове от этого крика. Схватив пустую корзину, он запустил ею в змею.

Гадюка, мгновенно извернувшись, наползла на корзину и зашипела, высовывая узенький язычок, но корзина покачнулась под змеиной тяжестью и покатилась вниз с поднятого к носу днища лодки.

Страшников попятился, потому что теперь змея была рядом с ним.

Отступая, Страшников случайно взглянул на жену и поразился, как быстро она успокоилась. Она не жалась к носу лодки, а предательски спокойно поправляла платье и устраивалась, чтобы сесть поудобнее.

Мутноватая, как вода в канале, злоба захлестнула его.

— У, ду-ура! — просипел он. — Весел не могла взять!

— При чем тут весла? — с такой непростительной сейчас ленцой спросила Нинка. — И почему это именно я должна весла таскать?

— Заткнись! — оборвал ее Страшников, забираясь на корму и поджимая под себя ноги. В руке он по-прежнему сжимал шершавое топорище.

«Черт с ним, с мотором! — снова холодно и спокойно подумал он. — Буду бить... Может, и дотянем до берега. А тут по старой дороге на трассу можно выйти».

И он удобнее перехватил топорище.

— Ты что?! — отгадывая смысл его движения, закричала Нинка. — Ты дурак, да? Я же плавать не умею! Мотор потопим! Я тебе новый покупать не буду!

— Сам куплю! — коротко ответил Сенька, отводя руку с топором назад.

— Ты?! — от удивления Нинка даже позабыла, что находится в одной лодке с гадюкой, и голос ее сделался визгливым, как всегда в домашних скандалах. — Ты купишь?! Да если бы не мама, ты бы до сих пор чапал на веслах!

— Купим, — Сенька не сводил глаз со змеи. — Пальто тебе на зиму, сапоги брать не будем, вот и хватит в кредит мотор взять.

Краешком глаза он все же заметил, как сжалась при этих словах жена, как судорожно раскрыла рот, пытаясь схватить им воздух. Она была не то чтобы некрасива, нет, она была далека сейчас, и ее власть, кажется впервые за три месяца супружества, не действовала на Сеньку. И, почувствовав это, он облег-

ченно вздохнул, словно независимость от жены, так неожиданно обретенная им, делала его неуязвимым и для змеи.

Гадюка между тем доползла до воды, скопившейся в кормовом отсеке, и остановилась.

— Сейчас она к тебе поползет, назад... — задумчиво проговорил Сенька. — Так что? Проходишь без пальто зиму или нет?

И точно: полукругом наползая на борт, змея медленно развернулась.

— Подлец! — снова выжимаясь на нос лодки, быстро проговорила Нинка. — Что ты за мужик, а? Настоящий мужик давно бы эту гадину выбросил за борт. А ты... Эх ты... Правильно мне мама говорила, чтобы я за тебя замуж не шла.

— Ага! — Страшников нервно облизнул губы. — Хитрожопые вы больно со своей мамой. Пальто тебе, получается, больше меня жаль. Как же! Буду я тебя спасать, накость... Выкуси!

И, сложив пальцы в кукиш, он сунул его в сторону жены.

— Мерзавец! — ошеломленно проговорила Нинка. — Ой, какой же ты мерзавец! Да ведь ты же на коленях стоял, чтобы я замуж за тебя пошла... Что, позабыл, да?!

— Я? Я стоял?! — нестерпимым стыдом обожгло лицо Страшникова. — Да пьяный был, вот и стоял. Вы же с мамой и опоили меня. Думаешь, я не знаю, откуда у мамы твоей деньги?! Как же... Тоже мне, дурака нашли. Да и ты... Со всеми парнями спала, пока я в армии лямку тянул.

— А ты... Ты... — Нинкино лицо побелело, потом покрылось красными пятнами. — Ты... Ты... Вошь ты подрейтузная! Вот ты кто!

Страшников медленно крутанул головой, словно надеясь выскользнуть из яростного удушья, удавкой пережавшего его горло. Сейчас самое время было схватить змею, чтобы швырнуть ее в лицо этой гадине!

Медленно повел он остановившимися глазами, пытаясь нащарить ими змею. Нет! Не побоялся бы он сейчас схватить ее и голой рукой.

Но только за развалины, тонущие в земле, зацепились глаза, а змею Страшников увидел, уже когда, извиваясь, она наползла на борт и соскользнула в воду канала.

Тихий, раздался за бортом лодки всплеск.

Страшников с трудом оторвал глаза от змеи, неторопливо извивающейся в глинистой воде. Потом вытащил дрожащими пальцами папиросу, подержал, зачем-то внимательно разглядывая ее, швырнул в воду и, рванув на себя ручку стартера, запустил мощный «Ветерок».

Моторка сорвалась с места и, развернувшись, помчалась к поселку, где жили Страшниковы.

Зазывающе — только для кого? — зеленели по сторонам берега заброшенного канала...

Волшебное яблоко

В детстве я видел яблоки, только когда их привозили из Ленинграда.

В нашем поселке они тогда не росли — десятилетия, миновавшего после войны, не хватало, чтобы ожила выжженная гвардейскими минометами поселковая земля.

Правда, в окрестных деревнях яблони сохранились, но они уже окончательно одичали от непрерывной колхозной жизни, и на них росли кислые и твердые плоды, больше похожие на картофельные яблоки, чем на фрукты.

Настоящие яблоки всегда были связаны с праздником и сами были праздником.

Помню, бабушка, взяв привезенное отцом яблоко в руки, задумалась, а потом сказала, что, когда они только вернулись в Вознесенье из эвакуации, — странник у них ночевал.

— Шурка-то наша не любила странников, но она на совещание была в Ленинград уехавши, — сказала бабушка. — Вот я и пустила человека... А он, когда уходил, такое же яблоко подарил...

— Нет, мамаша... — ревниво сказал отец. — Это из Крыма яблоко... А тогда война еще не кончилась, откуда у странника такое яблоко взялось?

— Дак ведь не с Крыма, Миша... — вздохнув, согласилась бабушка. — Откуда в Крыму таким яблокам взяться? Сколько живу, а такого яблока больше не видела...

— Сладкое было? — спросил я.

— Наверное, сладкое, Миколя... — сказала бабушка. — А главное — не кончалось...

— Как это не кончалось?!

— А так, Миколя... У нас-то, хоть тебя и на свете еще не было, детей в доме не считано жило. Домов в поселке почти не осталось, вот и селили эвакуированных

друг к другу. По две, по три семьи в комнате жили. И все с ребятами... И все ребята это яблоко видели, потому что странник при всех его мне дал. Положил на стол, а сам в сторонку отошел. А детишки чего? Обступили меня и глядят на яблоко, глаз не спускают... Ну, я взяла тогда нож, и каждому по ломтику отрезала. А половинку яблока в ящик буфета убрала, на вечер... И вот вечером открываю ящик, а там целое яблоко лежит, такое же, какое и было... Подивилась я, конечно, но перекрестилась и снова половинку яблока на всех поделила, а половинку в шкаф спрятала. А утром снова целое яблоко нашла. И так я три дня дитёнков тем яблоком кормила. Иногда и по четыре раза в день им по ломтику давала, а яблоко не кончалось.

— А потом что? — спросил я. — Кончилось?

— А, не знаю, Миколя... — вздохнула бабушка. — Тогда ведь Шурка с райцентра, с совещания вернулась. Первым делом она странника, квартиранта моего, выгнала, а потом увидела, как я соседских детей яблоком одаряю, выхватила его у меня из рук.

— Совсем, — говорит, — с ума съехала, старая... Родные внучки без витаминов растут, а она чужих детей яблоками кормит...

Спрятала яблоко и больше я его не видела.

— Дак может, Люся с Галей и ели его потом? — спросил я, когда бабушка, баюкая в руках привезенное отцом яблоко, замолчала.

— Не, Миколя... — бабушка покачала головой. — Когда Шурка вечером разрежала яблоко, червивое оно оказалось. Так и пришлось выбросить...

— Что же это было?

— А не знаю, Миколя... — бабушка аккуратно положила румяное крымское яблоко в вазу. — Откуда мне знать, если Шурка говорит, что никакого ума от старости не стало... Да и на что мне ум этот?

Живуля

По вечерам коровы бродили вдоль берега по колено в неглубокой воде и мягкими губами выбирали водоросли. Дальше, по течению реки, покачивались на волне брёвна в оплотниках, а над ними, на берегу, стояла доверху заваленная пахучими опилками пилорама.

С годами все менялось.

Углубляли фарватер на реке, перестраивали лесопилку, и, когда я сдавал в школе выпускные экзамены, на месте оплотников разместились доки, а в них — большие, тысячетонные суда. И коровы уже не ели водорослей, коров стало совсем мало, и им хватало теперь травы.

А когда я учился в начальных классах, корова считалась признаком семейного благополучия — без коровы трудно было тогда прожить в нашем поселке.

Лето в те годы называлось сенокосом, а все семейные хроники отсчитывались — по коровам.

Когда мы держали Зорьку, отцу не дали учительской ставки, и целый год мы жили очень бедно. Вместе с соседкой Авдюхой мать ездила продавать молоко в леспромхозовский поселок Прорву, где жили лесорубы — денежные и беззаботные люди.

Уезжала мать утром. Они долго копошились с Авдюхиной на берегу, устанавливая в лодке бидоны, а потом, оглянувшись на дом, отталкивались от пристани.

Улочки в леспромхозовском поселке были крутые, разбитые в грязь гусеницами лесовозов, и трудно даже представить, как мать таскала здесь тяжелые бидоны, но, повторяю, мы жили в тот год очень бедно.

Обратно мать возвращалась только вечером и долго сидела у кухонного стола, уронив на колени руки с набухшими жилами.

Потом раздавалось под окном муканье Зорьки, и мать тяжело вздыхала и непослушными пальцами начинала развязывать узел платка — нужно было идти доить корову.

Когда мы держали Буренку, дела отца пошли в гору.

При его школе — он уже стал тогда директором — открылся еще и заочный консультационный пункт. Заработок стал хорошим, и можно было сократить домашнее хозяйство, но мать не желала отставать от коровы. На все наши уговоры, она мотала головой и упрямо твердила, что ей не жизнь без коровы.

И мы держали Буренку, а потом еще и Живулю.

И может быть, потому, что Живуля была нашей последней коровой, а я учился уже в старших классах, я запомнил ее лучше других коров.

Это была самая веселая корова, и держать ее было совсем легко. И я, и брат, и сестра стали уже взрослыми и сильными; отец же учил в своей школе

двоих сыновей лесничего, и тот давал нам косить сено без половины — сенокос был игрушкой для нас, и я, еще не умея размышлять, лишь удивлялся: отчего же сенокос казался мне таким долгим раньше.

И еще одно.

Живуля уже не кормила нас. В сущности, то молоко, что покупали соседи, которые сами приходили теперь по утрам к нам, занимало ничтожное место в семейном бюджете, и мы любили Живулю бескорыстнее, нежели других коров. Эта любовь напоминала любовь горожан к своим собакам и кошкам, и мы удивлялись, что мать не может привыкнуть к этому. Надо было видеть, как горевала она, когда пропадало молоко.

И все-таки, когда Живуля заболела, все мы переживали.

Грустно было еще и потому, что и отец, и я, и мать — все мы понимали, что Живуля — наша последняя корова. Закончили школу оболтусы лесничего, брат уже работал и не знал, дадут ли ему летний отпуск, сестра просилась на лето к морю, а мне нужно было сдавать вступительные экзамены в институт. Мы все понимали это, и еще мы чувствовали, что с Живулей уходит огромная прежняя жизнь, а какой будет новая, мы не знали и только хмурились, и почти ни о чем не разговаривали между собой.

Часов в пять пришел ветеринар.

Он посмотрел Живулю и сказал, что ее надо забить.

Вместе с ветеринаром ушел и отец. Он пошел договариваться с Федей, который копал всем в по-

селке могилы и забивал любую скотину. Мы остались с матерью вдвоем в доме.

На мать было больно смотреть.

Казалось, она только что вернулась из леспромхозовского поселка. Сутулясь, она сидела у стола, и лицо ее казалось совсем старым.

Начало смеркаться. Густо пошел на улице снег, засыпая кусты, припорошивая ветки деревьев в палисаднике.

Мать накинула фуфайку и вышла в коридор. Она долго ходила по сениям, что-то искала, потом вернулась назад и, прижавшись грудью к печи, заплакала.

Я сидел на кухне и читал книгу.

— Мама... — сказал я.

Мать послушно вытерла слезы и виновато вздохнула.

— Пойдем, — попросила она. — Фонарем посветишь, а я сена дам.

Я взял висевший на стене фонарь, и мы пошли в хлев. Встревоженно закудахтали разбуженные куры.

В хлеву было тесно, темно и тепло, здесь было много стаяк — когда-то мы держали и овец, и свинью. Теперь стайки пустовали, и только в самой большой, где стояла Живуля, еще теплилась настоящая хлевная жизнь.

Свет фонаря падал на Живулю и тускло поблескивал в нитях слюны, свисающих с ее больших мягких губ.

— Живуленька! — тихо позвала из темноты мать. — Не умирай, Живуля...

Живуля печально закрыла свои огромные, в мохнатых ресницах глаза и опустила тяжелую голову.

Мать принялась бестолково засовывать сено в кормушку, и так полную, потом опомнилась, как-то судорожно сглотнула вставший в горле комок и побрела, хватаясь за косяки, на улицу.

Я еще раз оглянул Живулю, попытался вздохнуть так же, как вздыхала мать, и тоже вышел из хлева.

Снегопад утих. Из темноты неба, медленно покачиваясь, падали на землю последние снежинки.

Мать не спала всю ночь.

Сквозь нехороший сон я слышал шаги на кухне. То и дело мать выходила на улицу и в коридоре скрипела дверь. И всю ночь горел в нашем доме свет.

А утром пришел дядя Федя. Вместе с отцом он долго возился во дворе, прилаживая стояки и перекладину.

Снова приходил ветеринар, он долго бубнил что-то на кухне, я в своей комнате слышал только отдельные слова: «Прободение... Язва...», мать стояла у печки, и в зеркало, что висело в большой комнате, было видно, как кривится сдерживаемым плачем ее рот. Мать не снимала с себя грязной фуфайки, и от нее пахло хлебом и талым снегом.

Потом Федя вывел из хлевушки Живулю, и мать бросилась было к окну, но тут же отпрянула назад — Живуля жалобно мукнула в последний раз и сразу же затихла под страшным ножом Феди.

Густо хлынула на молодой снег кровь.

После Федя сдирал кожу, рубил на части тушу, а мы с отцом, согнувшись, таскали в дом мясо. Половицы в коридоре тяжело скрипели под нашей тяжестью.

Во двор сбежались поселковые собаки и вначале яростно дрались над требухой. Оставляя на снегу кровавые полосы, они тащили по огороду кишки, пока другие собаки не налетали на них, и тогда сцепившийся яростный клубок катался по сугробам.

К вечеру все было кончено.

Отец, Федя и ветеринар сидели на кухне и пили водку, закусывая ее свежим поджаренным мясом. И хотя свои фуфайки они оставили в коридоре, все равно в кухне пахло кровью.

Скоро лица у мужиков покраснелись, голоса стали громкими.

Они разговаривали о том, как убивали Живулю, и Федя — здесь он был главным — все пытался объяснить какие-то физиологические особенности Живули, из-за которых он не сразу попал ножом в артерию, и Живуля успела мукнуть.

А отец, как всегда, когда выпивал, расчувствовался и начал вспоминать, как выходила Живуля во двор, как поняла, что сейчас будет, как она падала, свалившись вначале на колени.

Мать слушала эти разговоры, и лицо ее темнело.

Уже начало смеркаться, когда я увидел ее на огороде.

Проваливаясь в снегу, она бродила за домом и собирала брошенные собаками кишки.

Она вернулась домой совсем в потемках. Ветеринар и Федя уже ушли, и мы сидели на кухне вдвоем с отцом.

— Не было никакого прободения, — остановившись в дверях, сказала мать. — Не было. Наврал ветеринар.

А она-то... — голос матери пресекся. — Она-то и на шестую траву еще не ходила...

— А! — сказал отец. — Брось, Маруся.

И, вздохнув, полез в шкаф за припрятанной бутылкой.

А ночью опять шел снег. Он засыпал все кровавые пятна, и только столбы с прибитой к ним перекладной всю зиму торчали из сугробов, напоминая о случившемся. Да еще чурбак, на котором разрубали мясо, так и остался красным от впитавшейся в него крови.

А мать долго не могла простить ветеринару Живулю, и даже перед своей смертью вспоминала, что он наделал тогда...

Лесенки

Еще до войны взорвали у нас в поселке храм Вознесения Господня...

Обломками, с которых и при взрыве не осыпались фрески, замостили топкие места на дорогах, но память, память о храме так и не сумели уничтожить...

Я родился уже после войны, но запомнил, как пекли на сороковой день после Пасхи, на Вознесение Господне, «лесенки».

Это были сухие, как печенье, выпечки, изображающие лесенку с семью ступенями.

Были они необыкновенно хрупки и иногда разваливались, когда их снимали с противня.

«Лесенки» не просто ели. «Лесенками» можно было гадать.

Надо было взобраться на печь и сбросить «лесенку» на пол. Если «лесенка» останется цела, значит, все хорошо. Значит — безгрешный ты человек и живешь ты, как бабушка говорила, родителей радуешь...

Если поломается «лесенка», надо посмотреть, на какой ступеньке это произошло... Ну, а коли вдребезги разлетится «лесенка», — беда. Всерьез надо задуматься о грехах, слишком много их накопилось.

Только хрупкими были «лесенки». Не припомню я, чтобы хоть одна уцелела после падения.

— Дак это с печи так падают... — говорила бабушка. — В Остречинах-то, бывало, с колокольни бросали. С этакой вышины.

— И что, бабушка? — спрашивали мы. — Наверное, совсем на мелкие кусочки разлетались? И не собрать было?

— По-всякому бывало... — отвечала бабушка. — У некоторых робят и целыми иногда оставались.

— Так, наверно, и пекли тогда иначе... — заступалась за нас мать. — Мука-то была не теперешняя...

— Все тогда не теперешнее было... — отвечала бабушка. — Хоть и в огород выйдешь, а обязательно на храм посмотришь да и перекрестишься...

Неясны, туманны были ее слова о «нетеперешней» жизни...

А сейчас и сами «лесенки» вспоминаются туманно.

Помню только, как собирали мы с крашеного пола кусочки наших разбившихся «лесенок» — бабушка говорила, что надобно обязательно съесть их! — и как-то не по-детски печально было на душе.

Макушечка

К Новому году заносило снегом поселок, и на огородах обгрызали яблони прибежавшие из леса зайцы, а иногда, особенно в снежные зимы, появлялись на задворках и волки... Мать тогда руталась, если мы задерживались на улице, — возле баньки серели волчьи следы, величиной с наши ладошки.

Центр жизни незаметно перемещался в дом, в теплую глубину комнат.

Сюда и приносил отец елку. Обледеневшие ветки медленно оттаивали, и комнаты наполнялись запахом леса. Стоило только закрыть глаза, и казалось, что ты в лесу, не в том страшном, по-волчьи подкрадывающемся к задворкам домов, а в добром, наполненном птицами и зверятами, в просторном лесу, где хватает места для всех.

Этим лесным запахом и начинался праздник.

Можно было засесть за любимую книжку, можно было играть, но ни книжка, ни игра уже не способны были отвлечь внимания от того главного, что должно произойти...

Над головой тяжело отдавались шаги ходившего по чердаку отца. Сыпались опилки. Отец искал на чердаке крестовину для елки.

К вечеру елка стояла в комнате, и мы ждали теперь, пока освободится мать, чтобы развесить игрушки.

Синеватые сумерки, расползаясь по сугробам, скрадывали пространство.

Затекали они и в дом.

В комнатах темнело, и словно бы больше делалась елка. Теперь она заполняла все пространство.

Наконец зажигали свет, и мать, освободившись от хлопот, осторожно доставала с высокого черного шкафа картонную коробку...

Мама осторожно развертывала закутанные в вату игрушки, а мы — брат, я и сестра, сгрудившись вокруг стола, смотрели, как вспыхивают в ее руках праздничными блестками позабытые нами шарики и гирлянды.

Отец, казалось, не обращал внимания на нас, но и он, повозившись на кухне, заходил в комнату.

— Ну что? — покашливая, спрашивал он. — Наряжаете?

— Счас начнем... — отвечала мать.

— Ну-ну... — говорил отец и, взяв газету, присаживался на диван.

Игрушки вешали по очереди.

Мы принимали из рук матери сверкающие шары, домики, люстры и самовары и, стараясь не дышать, натягивали ниточки на растопыренные елочные лапки.

И всегда в мои руки попадали почему-то или бумажные звезды и лошадки, или груши и яблоки из папье-маше, а яркие, сверкающие шары из тонкого стекла развешивали брат и сестра.

Однако, нимало не подозревая подвоха, я развешивал на нижних ветках небьющиеся игрушки и был вполне счастлив этим, пока не наступала очередь макушечки.

Это была Кремлевская башня с часами, стрелки которых застыли без пяти минут двенадцать. На самом верху башни горела рубиновая звезда.

Эту макушечку и нужно было водрузить на специально подпиленную отцом верхушку елки.

Макушечка считалась у нас самой ценной игрушкой, и всегда мы упаковывали ее особенно тщательно, заворачивали в несколько слоев ваты, так что макушечка занимала почти половину коробки.

Для того чтобы водрузить макушечку, брат становился на стул, а я или сестра подавали ее. Но даже подержать макушечку в руках, отдать брату, а потом следить, как она поднимается на самый верх елки, и то было важно для нас, и мы всегда спорили, кто будет подавать ее.

Брат, готовившийся к поступлению в педагогический институт, кажется, первым нашел решение этой задачи. Макушечку должен был подавать тот, кто лучше закончил четверть. Это предложение понравилось и отцу...

Только мне было грустно. Моя сестра ходила в отличницах все годы, и понятно, что по правилу, предложенному братом, мне никогда бы и не удалось заполучить макушечку в свои руки. И редко украшение елки заканчивалось без слез.

Брат-педагог был неумолим, но мама всегда, как бы незаметно, придвигала макушечку ко мне, чтобы и я мог ее потрогать.

Однако все это было не то, ведь это совсем другое — не тайком погладить макушечку, а открыто взять в руки и передать брату...

Совсем, совсем не то...

И — случайно ли? — мне снилась по ночам макушечка, сверкающая праздничными новогодними огнями.

Кажется, учился я уже в третьем классе...

Брат приехал на два дня и сразу после праздника возвратился в город. Десятого числа, в последний день каникул, мы разбирали елку вдвоем с матерью — сестра ушла к подруге.

Сверкающие игрушки исчезали в картонной коробке, елка пустела, обнажились пожелтевшие ветви. Когда мы распутывали ниточки, иголки осыпались с веток прямо на наши руки.

Мама сняла макушечку, и тут ее окликнул из кухни отец. Когда мать вышла, дыхание у меня перехватило.

Наконец-то, столько раз сшившаяся по ночам макушечка лежала передо мною.

Осторожно я взял ее в руки.

Легкой, почти невесомой была эта башня с крепостными зубцами, с часами, остановившимися без пяти минут двенадцать.

Ярко сверкала макушечка, но — странно! — пустыми и эфемерными показались мне эти блески. Праздник закончился, пожелтела и осыпалась иголками засохшая елка, а эта макушечка фальшиво весело отражала электрический свет, словно бы праздник еще предстоял.

Сделалось грустно, и я торопливо засунул макушечку в коробку. Она ударилась о стеклянный шарик,

и, шурша, вывалился из нее кусочек стекла с циферблатом часов. Серебристая, зияющая, как тонкий ледок на реке, пустота открылась на месте стрелок, застывших перед Новым годом.

Стало страшновато. Хотя макушечка для меня уже и стала какой-то чужой, но все равно — ее любили все.

Я торопливо прикрыл макушечку слоем ваты и положил сверху стеклянные шарики. Вернулась из кухни мать.

— Корова беспокойная чего-то... — пожаловалась она и, торопливо развязывая платок, подошла к столу.

— Убрал уже?

— Убрал...

— Вот и молодец! — мать вздохнула и закрыла коробку.

Прошло еще полчаса, и отец вытащил из комнаты засохшую елку. Он воткнул ее в сугроб возле помойки.

К весне иголки с нее совсем осыпались, и только остов ее возвышался за нашим окном, пока не начали таять снега...

До самой весны помнил я о разбитой макушечке, а потом, когда с талым снегом пропала куда-то елка, позабыл.

На следующий праздник мы наряжали елку вдвоем с сестрой. Брат приехать не смог, он не успел сдать какие-то зачеты, а мать была занята. Впрочем, мы подросли за год и сами прекрасно справлялись с этим делом.

Наконец мы добрались до макушечки.

— Ой! — сказала сестра, взяв ее в руки. — Поломалась...

Макушечка переливалась яркими, праздничными блестками, и только пустота, зияющая на месте циферблата, напоминала, что праздник, хотя он еще не начался, все равно когда-то закончится, а раз так, стоит ли уж очень радоваться ему.

Смутно вдруг стало на душе. Зябким холодком шевельнулось что-то в груди.

— Да, — пытаюсь скрыть свое состояние, равнодушно сказал я. — Поломалась...

— Жалко, — вздохнула сестра. — Такая красивая макушечка была.

— Жалко, — сказал и я.

Сестра подумала, потом полезла на стул.

— Ну и ничего! — сказала она оттуда. — Теперь ведь елка у нас в углу стоит. Вот мы и повернем макушечку циферблатом к стене. Смотри оттуда: не видно дырки?

— Не видно... — сказал я.

Прозрение в осеннем лесу

И вот вспоминается сентябрьский день 1963 года.

Я учился в девятом классе. Только-только начались занятия. Я пошел с отцом за грибами в заречный лес, мы собирали грибы, и вдруг как-то сразу стали складываться стихи.

Два стихотворения я тогда и записал...

Как листья облетят с тебя все «измы»,
Но знаю, будешь ты всегда...
Россия, Родина, Отчизна...
К твоим ногам кладу я не прожитые года.

И другое...

Звезды умирают тихо.
При смерти звезды в небо не кричат.
Просто свет от звезд доходит тихо
Просто свет от звезд столетия хранят.

Стихи эти, если не по поэзии, то по мысли и сейчас кажутся мне неплохими. А тогда в лесу вдруг перехватило дыхание, как бывает всегда, когда поверх лет, поверх жизненного опыта, поверх знаний, которые еще предстоит обрести, заглядываешь в будущее.

Да...

Заглянуть, может, и мельком, но действительно удалось. И в стихах этих, если и не сказано, по крайней мере, заявлено было все, о чем я буду писать, или если смотреть из сегодняшнего дня, пишу, и даже уже успел написать в своих книгах...

Я помню охватившее меня в осеннем лесу чувство необыкновенного восторга и еще какой-то неизбывной печали. Прочитать эти стихи было некому...

Даже и вопроса не возникало, чтобы прочитать их отцу.

И не потому, что отец из всей поэзии предпочитал басни Ивана Крылова и поэму «Полтава» Александра

Пушкина. И не потому, что отец, считающий своим долгом дать всем детям образование, которое позволило бы нам обрести более или менее надежный кусок хлеба, более всего опасался наших увлечений, уводящих нас в некое незнакомое ему пространство.

Нет...

Вряд ли я понимал тогда все это так отчетливо, как сейчас, и вряд ли эти опасения остановили бы меня.

Скорее, тут сработало воспоминание, как, будучи еще дошкольником и только-только научившись читать, я приобрел в магазине свою первую книжку... Не помню ни автора книги, ни названия ее, но книга была про гражданскую войну, про юного трубача, который воюет в красноармейском отряде. По сюжету получалось, что белогвардейцы тайком подкрались к красноармейцам и только юный трубач, ходивший куда-то, обнаружил опасность. Он мог бы убежать, но ему нужно было спасать товарищей. И он вскинул трубу и затрубил тревогу.

Я еле дождался вечера, когда вернулись с работы отец и брат (он тогда работал у отца в школе преподавателем физкультуры), и, когда они сели ужинать, я прочитал самое волнующее место в книге.

Когда я читал про трубача, который не убегал от белогвардейцев, а все трубил и трубил, подавая сигнал тревоги товарищам, голос мой дрожал, слезы текли по лицу, потому что белогвардейцы в бессильной ярости все-таки зарубили юного героя, и отряд, который разбудила его труба, так и не успел спасти смельчака.

Не знаю, как обстояли дела с дикцией, потому что к концу чтения меня душили рыдания, но все равно то, что произошло, когда я замолчал, было непостижимо для меня.

Все хохотали.

Хохотал брат, смеялся отец, смеялась сестра, даже мама и то, кажется, улыбалась.

Конечно, я понимаю сейчас, что выглядел тогда со своими переживаниями по поводу судьбы юного героя крайне забавно, но все равно невозможно объяснить эту непостижимую глухоту, трудно понять, как отец — все-таки он был учителем, и как говорят, хорошим! — повел себя так непедagogично.

Может быть, он устал, может быть, такое частенько бывало с ним, был не совсем трезв, а может быть, просто сработала его потаенная ненависть к большевикам, которые так жестоко и страшно преследовали всю нашу семью в довоенные годы...

Я этого не знал, и, разумеется, даже и мыслей таких не возникало у меня, но уже тогда я понял, что столкнулся с нравственной глухотой и предательским непониманием... И это обидело меня, трещинка в отношениях с отцом тогда и появилась...

Поэтому и не стал я читать в лесу свои стихи отцу. Слишком ясно звучал в памяти тот хохот... Ну, а больше и некому было прочитать.

И вот от этого в осеннем лесу стало так грустно, так печально, как бывает человеку, оказавшемуся в чужой стране среди чужих людей...

Впрочем, так ведь и было.

Это какой-то жутковатый парадокс. Мне, русскому мальчишке, некому было прочитать в нашем русском поселке свои стихи о России.

И снова, как прозрение, возник холодноватым сквознячком страх, что так теперь будет всегда...

Помню, когда мы садились в лодку, отец заметил перемену в моем настроении.

— Чего загрустил, сынок? — спросил он. — Лето кончилось?

— Да... — ответил я, глядя на холодную воду Свири. — Да, папа... Лето кончилось...

Самовар

У нас в поселке не говорили: «обедать» или «ужинать»... Мать, собрав на стол, звала: «Идите чай пить».

Попить чаю приглашали и гостя, хотя на стол выставлялась разная еда.

Неудивительно поэтому, что самовар считался в доме самой необходимой вещью.

Первый самовар, из которого я пил чай, принадлежал бабушке.

Это было огромное темно-красное сооружение с затейливыми завитушками на ножках, специально сделанное так, чтобы стоять посреди большого стола, на виду у всех.

Самовар достался бабушке еще от родителей. Она привезла его из Остречин, сумела сохранить и в голодные годы эвакуации.

Самовар этот любили и берегли всей семьей. Даже мы, дети, понимали, что его надо беречь...

Но однажды выпивший отец позабыл долить самовар водой, и от него отвалился краник. Это было настоящей бедой, и мы две недели кипятили воду в большом черном чугуне.

Так и запомнилась — чугунно-черной! — та самоварная беда.

— Такой ведь чайный голод пристал... — часто вспоминала потом бабушка и тяжело вздыхала.

В конце концов, отец не выдержал и пошел с полочки в магазин, купил там новый, сверкающий никелем самовар.

Теперь мы уже не пользовались бабушкиным самоваром. Он стоял на комод, горделиво возвышаясь над бедной теснотой, в которой все мы тогда жили.

Он остался не у дел, этот береженный самовар, но, и попав в отставку, продолжал царить, словно бы затаив в себе ту праздничность и торжественность, которую мы связывали с чаепитиями.

Мы по-прежнему четыре раза на день пили чай, и даже побогаче стали наши чаепития, но той радости, которая овладевала нами при виде бабушкиного самовара на столе, уже не было. Может быть, не столько и виноват был его никелированный преемник, но мы уже не так относились к нему, не берегли. И как-то незаметно, за пять лет, на чердаке собралась целая коллекция изуродованных самоваров. У одного отвалились ручки, другой стоял без трубы, у третьего прогорела сетка — отец уже не ремонтировал их,

ссылаясь на то, что трудно найти припой, да и вообще гораздо проще сходить в магазин и купить новый самовар.

А потом к искореженным и заржавевшим на чердаке самоварам присоединился и совсем новый и белый — не нужен стал. Давно уже уехала из боковой комнатки бабушка — перебралась к тетке, которой дали отдельную квартиру. Поступили в институт и переехали в город брат с сестрой... Великоват стал самовар для нас. Да и вообще все в поселке пользовались уже электрическими чайниками.

А бабушка берегла свой самовар.

Он по-прежнему стоял на почетном месте, только и он теперь, окруженный непривычной городской мебелью, которой обставила тетка свою квартиру, как-то изменился. Стеснительная неуклюжесть появилась в его облике, трудно уже было разглядеть в нем того всеобщего любимца, каким я запомнил его с детства.

Таким и остался он в памяти...

Лишний и чужой — сберегаемый теперь только как память.

Жизнь сложилась так, что после смерти матери и отец перебрался в город, и мы редко и ненадолго наезжали в поселок.

Последний раз, когда я видел бабушку, она стала совсем плоха и почти не вставала с кровати.

Неловко было сидеть рядом. Стыдно было, что в своей городской жизни я почти и не вспоминал ее.

— Может, надо чего? — допытывался я. — Может, лекарство какое-нибудь дефицитное достать?

— Не... Ничего не надо... — ответила бабушка и погладила меня по руке.

— Совсем, совсем ничего? — продолжал упрямо настаивать я, словно этими словами можно было оправдать и свою забывчивость, и нынешнюю растерянность. — Ну, может быть, хоть что-нибудь надо?

— Не знаю... — бабушка улыбнулась тихо и ласково. — Не знаю... Может быть, вот чаю с того самовара попить, так полегчает немножко.

И она кивнула на старый — дорогой, еще ручной, должно быть, работы — самовар моего детства.

Словно бы сознавая свою красоту и ценность, возвышался он над аляповатым ширпотребовским сервантом.

Но и чай из родового самовара не помог бабушке.

Когда мы с теткой, добыв угли, согрели его, бабушка отпила из чашки всего два глоточка.

— Не могу уже... — отдавая тетке чашку, пожаловалась она. — Видно, весь свой чай я уже выпила.

И когда тетушка унесла чашку на кухню, бабушка попросила меня достать из-под ее подушки иконку.

Я выполнил ее просьбу, достал небольшой, еще до революции напечатанный образок Богородицы.

Бабушка, неслышно шевеля губами, долго смотрела на него, а потом закрыла глаза и то ли уснула, то ли погрузилась в забытье.

Я засунул образок назад, под подушку...

Так я и уехал тогда, а через несколько месяцев узнал, что бабушка умерла.

Умерла так же тихо и несуетливо, как и жила.

Я хотел спросить у тетки про самовар, да позабыл, а когда снова, через три года, приехал в поселок — самовара уже не было.

После похорон тетка вынесла его на чердак, и от туда он куда-то исчез.

У тихой воды

Этот старик только изредка появлялся в нашем поселке.

Он заходил на почту за пенсией, потом, не спеша, ковылял к магазину. Неторопливо наполнял там продуктами свою побелевшую от времени брезентовую суму. Потом долго сидел на крылечке магазина, тихий и лысенький, и, ласково улыбаясь, смотрел на прохожих.

Таким он и запомнился мне — тихонький старичок на крылечке. У ног брезентовая, набитая буханками хлеба сумка, на коленях обтрепанная фуражка, а в ней несколько восьмушек чая да кулек с дешевыми конфетами.

Никого не было в поселке у старика, и, кроме почты да магазина, он и не заходил никуда. Посидев на крылечке, взваливал на себя суму и брел в лес, где и жил — в доме на берегу лесного озера.

Когда-то на этом озере стояла большая деревня. Но, то ли выгорела в войну, то ли сгнила потихоньку в послевоенное десятилетие, только при мне уже ничего не осталось от нее, один стариковский дом. Да и этот дом сохранился благодаря лесничеству. Здесь, на озере, был кордон, пока не вышел старик на пенсию.

От поселка до лесного озера было недалеко, километра четыре, но редко кто выбирался сюда. Незачем было ходить...

Воды у нас и так хватало. И река, и Онежское озеро, и канал, прорытый вдоль его берега... Какая в этом водном царстве нужна еще вода?

И зачем тащиться к воде в лесную, буреломистую даль?

Нет... Никто не ходил на лесное озерко, разве что охотники, да и те только по весне, когда пробирались на глухаринные тока.

Я побывал на лесном озерке случайно.

Трава не уродилась в тот год, на отведенном участке нам было не накосить на корову, вот и припомнились отцу старые заброшенные пожни, и в разгар сенокоса мы отправились искать их.

Увы... Мы так и не нашли ничего похожего на пожни. Давно заросли, должно быть, сенокосные поляны кустарником, как заросли ольхой и осиной лесные тропинки.

Зато часа через два, вдоволь поплутав по лесу, вышли мы к домику старика, стоящему у края тихой, затянутой кувшинками воды. Озерцо зарастало,

и только посредине чернело открытое пространство.

Я уже говорил, что у нас в поселке было много воды...

Сколько я помню себя, столько помню и Свирь, текущую под окнами. Но наша вода была большой — по реке шли тяжелогружённые самоходки, а когда на моторке мы выезжали с отцом в Онежское озеро, распаивалась такая ширь, что захватывало дух...

Здесь же, впервые кажется, увидел я маленькую воду. Она была тихой и какой-то медлительной. Здесь трепетали над листьями кувшинок стрекозиные крылья, здесь бегали по воде крохотные водомерки и бегуны. Иногда бегуны сталкивались друг с другом и тут же отскакивали в разные стороны.

Но, должно быть, и здесь водилась рыба, и старик ловил ее. Возле осевшего дома уткнулась в берег камейка — два выдолбленных бревна, сколоченные между собой металлическими скобами. Только для такой вот тихой воды и годилась эта лодка, как и сам ее хозяин, который в черных подшитых валенках и пожелтевших подштанниках вышел из покосившейся избы навстречу нам.

Отец принялся расспрашивать его о пожнях, но старик никак не мог сообразить, чего нам надо, и только кряхтел и мычал в ответ... Может быть, он плохо слышал, а может, просто позабыл слова от своей бесконечной жизни у этой тихой воды и зарастал колючками междометий, как зарастало мирисой лесное озерко...

Я помню ощущение давящей духоты, которая обволакивала меня здесь. Мы стояли у самой воды, но она не смягчала июльского зноя. В тоскливой навалившейся духоте и в отце погасло желание отыскать заброшенные пожни.

Во всяком случае, больше мы не блуждали по лесу. Прямо от старика, не сговариваясь, двинулись к поселку. В лесу гудели слепни, тучами налетали с болота комары, и четыре километра пути показались бесконечными.

Тяжел был не сам путь. Давила духота, охватившая нас во время разговора со стариком.

Дома я сразу же искупался в холодной Свири, но легче не стало. Только к вечеру начал рассеиваться лесной дурман.

В тот вечер я ходил на свидание.

Со своей одноклассницей я встретился за поселком, на берегу реки, где еще с довоенных времен росли старые задичавшие яблони.

Как хорошо было, обнявшись, смотреть на проплывающие мимо теплоходы!

Мы перешли уже в десятый класс, стали почти взрослыми, и жизнь казалась простой, ясно и отчетливо виделся ее смысл. Я не знал, что и как я должен совершить в ней, но то, что я должен что-то совершить, было очевидным. Без этого и не мыслилась будущая жизнь. Впрочем, кому не знакомо это состояние, когда, ничего еще не зная о жизни, самоуверенно и своенравно примеряешь ее на себя и нетерпеливо поджидаешь срока, когда можно будет

наконец уехать, уйти, сделать, совершить; когда все кажется таким легким и простым!

И я не могу понять сейчас, почему среди этих мечтаний о будущей жизни снова вдруг вспомнились мне увиденные днем, затянутые ядовитой мирисой берега лесного озера...

Снова, как тогда днем, трудно стало дышать.

— А знаешь, что страшнее всего? — спросил я у одноклассницы. — Это когда ты совсем-совсем не нужный...

— Никому не нужный?

— Никому, ни для чего. Совсем-совсем...

— А разве так может быть? — тихо спросила одноклассница.

— Выходит, что может... — ответил я.

В последний раз я видел старика поздней осенью, когда учился на втором курсе Политехнического института.

Еще и не белило снежком землю, а ивы над рекой уже покрылись инеем и так и застыли, белые над черной, стремительно несущейся холодной водой...

Старик в фуфайке стоял посреди дороги у магазина. Не нужный, совсем никому не нужный старик...

Быстро опускались на поселок сумерки. Серые заборы сливались с облетевшими деревьями, мутью завлакивало дома.

Постояв посреди гаснущей улицы, старик медленно двинулся к пустырю.

Мне тоже нужно было выйти к каменным домам, что стояли на краю пустыря, и я видел, как медленно уходил старик из нашего, не Бог весть какого оживленного, но все-таки наполненного какой-то жизнью поселка, уходил в холодную мертвь, в лесную сумрачную пустоту. Он уходил один, и это было особенно страшно. Не отрываясь, смотрел я вслед этому нелепому старику, поскользывающемуся на заледеневших болотных кочках. Смотрел, пока сгущающиеся сумерки не проглотили его...

Много, много минуло лет, но до сих пор отчетливо вижу я сутуловатую спину человека, что, шатаясь, уходит по пустырю к темному, мертвому лесу...

И много всего случилось за эти годы.

Многое переменялось и в моей жизни. Изменился и наш поселок. Недавно я встретил ту одноклассницу, с которой целовались мы тем летом под старыми яблонями на берегу реки и разговаривали о будущей жизни, о том, как страшно оказаться никому не нужным... Одноклассница давно замужем, живет в городе, и ее старшему сыну столько же лет, сколько было тогда нам. С трудом мы и узнали друг друга.

— А помнишь, как тогда сидели под старыми яблонями? — спросил я.

Она вздохнула и ничего не ответила.

— Не помнишь? Забыла?

— Помню... — она пожала плечами. — Только там уже никаких яблонь нет. Там теперь нефтебаза.

Да, все изменилось за эти годы. Лучше иногда и не вспоминать того, что было, ни к чему это...

Я уже подходил к дому, когда меня догнал возвращающийся с дежурства Виктор, муж двоюродной сестры.

— Чего такой понурый? — спросил он.

— Так... — ответил я. — Скучно как-то...

— Отдыхай лучше, — посоветовал Виктор. — Скучать в городе будешь.

— Слушай! — сказал я. — Ты же ведь не дежуришь завтра? Может, на рыбалку выберемся?

— А! — Виктор поморщился. — Куда теперь выберешься. Моторки у меня нет, а без моторки, с берега, ты и коту ничего не наловишь.

— Да знаю я... Я другое хотел предложить. Я вспомнил сегодня: тут же недалеко, километра четыре, лесное озерко есть. Ну, знаешь, там еще старик жил... Может, туда рванем?

— Вспомнил... — насмешливо сказал Виктор. — Помер давно этот старик, а как помер, так и рыба пропала.

— Почему?

— А не стал прорубь рубить, вот и задохнулась в озерке рыба.

— Ужас какой, — растерянно проговорил я.

— Да... — вздохнул Виктор. — Морозы в ту зиму жуткие стояли... Из-за рыбы, между прочим, и узнали, что помер дед. Весной чайки на озеро слетелись и такой гвалт подняли, что и здесь слышать было. Вот мужики и сходили посмотреть. А там

берега дохлой рыбой завалены. Ну, и старик в избе мертвый...

Виктор замолчал, вытащил из кармана сигарету и закурил.

— Вот такие дела... — сказал он.

— Да, такие дела, — как эхо, откликнулся я, и, должно быть, совсем грустно прозвучал мой голос, потому что Виктор вдруг хлопнул меня по плечу и сказал:

— Да не кисни ты! Если на то пошло, достанем мы моторку.

— Достанем? — машинально переспросил я.

— Достанем!

Моторку мы действительно достали.

Жители земли

Живший в каменных домах сын Семена Порфирьевича задумал строить новую баню и попросил отца привезти шесть мешков бурого мха.

Семен Порфирьевич пообещал исполнить просьбу сына, а потом задумался. Когда строили дом, в котором и жил он сейчас, мох рвали прямо за огородом. Теперь за огородом протянулась дорога, а за дорогой стояли заводские цеха. Никакого болота там не осталось. Семен Порфирьевич вспомнил, что еще он видел мох чуть выше поселка, на озере, но и там тоже в последние годы строились. Получалось, что за мхом теперь нужно было ехать далеко за поселок, на гакручейские болота.

1

С утра, освободившись после дежурства, — Семен Порфирьевич и на пенсии все еще работал кочега-ром, — он отправился на берег наладить моторку в неблизкий путь.

Сам Семен Порфирьевич совсем уже постарел, и моторка у него тоже старая, со старым — на таких теперь и не ездит никто! — трехсильным мотором.

Вытащив из оттопырившегося кармана пиджака паклю, Семен Порфирьевич немного подконопатил щели. Лодка была старая, надо бы пошить новую, да где? Повывелись лодочные мастера с тех пор, как металлические лодки появились. Старики поумира-ли, а молодые забыли отцовские умения. Попроще жизни искали, поприбыльнее...

Конечно, мастера и сейчас можно бы найти, да, с другой стороны, к чему? Зачем, вообще-то, новая лодка? Сколько ее, этой жизни, осталось?

Думая так, подконопатил Семен Порфирьевич самые большие щели, потом забросил в лодку пу-стые мешки и, оттолкнувшись от берега, двинулся в путь.

Мотор заработал сразу. Семен Порфирьевич вырулил на фарватер и, зажав под мышкой конец рулевого шеста, похлопал себя по карманам. Дорога предстояла дальняя. Все прямо, прямо, вниз по реке, и можно было покурить, неторопливо посматривая на берега.

Вдоль берегов окнами на реку стояли дома. На-клоненные к реке, серели перед ними выкопанные

огороды. Кое-где жгли ботву, и стлался к воде синеватый дымок костров. Иногда череда домов прерывалась, и вплотную к воде подступали опаленные сентябрьским воздухом рощицы. Березки только начали светлеть, а осинки полыхали вовсю.

Еще не привык глаз к этой осенней красе. Только второй день после нескончаемых холодных дождей проглянуло солнце...

Это, как говорил вчера диктор по телевизору, зародившийся где-то у далеких Азорских островов антициклон добрался и сюда, пригрев начинающую зябнуть землю, принес с собой бабье лето...

И так светло и тихо стояли над водой опаленные сентябрем рощи, так задумчива и прозрачна была даль, что сжалось сердце Семена Порфирьевича от скоротечности этой красоты.

А мимо по реке — вверх и вниз — неслись, подпрыгивая на волнах и поднимая шлейфы водяной пыли, скоростные «Днепры» и «Прогрессы». Стремительно обгоняли они Семена Порфирьевича и исчезали из глаз, превращаясь в крохотные точки. Семен Порфирьевич понимал, конечно, почему стесняется сын ездить на его моторке, но понимал это как-то отстраненно и равнодушно. Ему самому не много оставалось пути и ни к чему было пересаживаться на другой транспорт.

Аккуратно задавив пальцами огонек докуренной сигареты, он оглянулся назад. Уже порядочно натекло воды. Вода поднялась до крутящегося маховика, и тот разбрасывал по воздуху радужную, пахнущую бензином водяную пыль. Осторожно, ступая по бортам,

перебрался Семен Порфирьевич через мотор на корму и начал вычерпывать воду. Потом той же помятой алюминиевой кастрюлькой зачерпнул воды за бортом, попил. Снова полез в карман за сигаретами.

По-прежнему тянулись дома вдоль реки. Пригретые солнышком, и они казались сейчас празднично красивыми.

— Тесним, тесним мать-природу, — пробормотал Семен Порфирьевич. — Отжимаем от реки... Мху нарвать — этаку даль надо ехать...

2

На болоте осень чувствовалась сильнее. Здешние березки прожелтели насквозь и осыпали на кочки, на изумрудный и яшмовый мох копеечки своих листьев. Этой лиственной мелочью были наполнены и бочажки с темной болотной водой. На кочках, видная издалека, словно розовые фонарики, полыхала начинающая зреть клюква. Вызревшие ягоды держались солиднее, они сливались по цвету с бурым мхом и не сразу бросались в глаза.

Болото было пусто. Подъезжая, не заметил здесь Семен Порфирьевич ни одной моторки, и потому-то, когда услышал сзади:

— Это не ты ль, Сёмушка? — не сразу обернулся.

Жутковато на пустом болоте прозвучал обращенный к нему голос.

Семен Порфирьевич внутренне замер, а рукой продолжал заталкивать в мешок мох. Потом только повернулся.

И чуть не выматюгался.

Рядом с двумя корзинами клюквы стояла его сверстница, бабка Лиза Стрешнева.

— Ой! — всплеснула руками старуха. — Сёмушка и есть. А я тебя ведь издаля заметила, только наверняка признать не могла.

— Я-то Семен, — пробурчал Семен Порфирьевич. — А тебя-то какой леший, старая, занес сюда?

— Дак клюквы побрать приехала, — кивая на корзины, отвечала старуха.

— А-а... — Семен Порфирьевич, нагнувшись, снова принялся рвать мох.

— А ты мох рвешь, Сёмушка? — не отставала бабка Лиза. — Подруб ладишь делать или так, на баньку?

Семен Порфирьевич ничего не отвечал ей, аккуратно обдирая кочку. Мох отставал легко, прядь за прядью, обнажая рыжеватую болотную землю.

— Шесть мешков тебе рвать-то? — удивилась бабка Лиза и, присев на корточки, спросила: — Помогчи, может?

— Помоги, если не шутишь.

— Помогу-помогу, — сухонькие пальцы бабки Лизы забежали по болотной кочке. — Чего ж не помочь хорошему человеку? А человек-то ты, сразу видно, хороший.

— Разглядела, что ли, теперь?

— Ага, Сёмушка, разглядела...

Семен Порфирьевич только хмыкнул, и теперь оба замолчали. Только когда наполнили мешки, —

а вдвоем-то скоро они их наполнили, — Семен Порфирьевич вытер пот и, вытащив сигарету, опустился на мешок.

— Сюды-то, как тебя занесло? — спросил он, закуривая.

Синеватым дымком сигареты заволокло на мгновение прогорающие до самого нутра березки, чистое пространство реки, но тут же дымок рассеялся, снова прозрачным стал воздух.

— Дак вот, клюкву поехала побрать, — вздохнув, ответила бабка Лиза. — Самой-то уж не до ягоды, может, и помру зимой, доче послать надо. А не принесет ведь никто, самой брать надо. Вот и пособирала.

— Да я вижу, что не грибы собирала, — усмехнулся Семен Порфирьевич. — Сюда-то как попала? Пешком, что ль, прибрела?

— Сусед взял на моторку. Трешки им с приятелем не хватало, вот и взял. На бензин, говорит. А сами-то тоже вроде как за клюквой сюда ехали.

— Отстала от них, что ли?

— Не совсем чтоб отстала, а получилось так... — виновато проговорила бабка Лиза. — Они на болото меня точно свезли. Ну, вначале тоже пособирали. По одной ласте не набрали, а уже под кустик и за бутылочку. А я знай себе собираю. Еще корзину недобрала, слышу, кричат меня. «Дак што ж это такое? — думаю. — Три рубля у меня взяли, а и корзинку насобирать не дадут». Ну и притаилась за кустиками, беру ягоды и не откликаюсь. Думаю,

подождут, тоже поберут ягод. А они поматюгались и в лодку. Я, когда мотор-то услышала, корзинку бросила да на берег. Дак куда там... Они уже, в черную точечку превратившись. И опять ведь я: не испугалась вначале. Думаю, в магазин съездят да воротятся. Мыслимое ли дело, подряженную за три рубля пассажирку на болоте бросить! А у их, видно, и совесть всю вином залило.

— Значит, бросили?

— Бросили, Сёмушка, бросили, — смахивая с глаз слезинки, отвечала бабка Лиза. — Как нелюди какие. Помирать на болоте бросили.

— Испугалась небось?

— Не знаю... — бабка Лиза вздохнула. — Ты вот мне объясни лучше, Сёмушка. Как же это так получается? Раньше против нынешнего лодок в десять раз меньше было, а на болото, бывало, съездить, дак сами звали. А теперь и лодок столько, и трешку дашь за провоз, а все равно не знать, как домой доберешься...

— Лодки другие стали, — неохотно ответил Семен Порфирьевич. — В такую лодку лишнего пассажира взять — скорость падает. А это время, ну и бензину опять же больше требуется. Вот и не берут за так пассажиров.

— Скорость... — задумчиво повторила бабка Лиза, словно бы пробуя это слово на вкус. — А на что тогда скорость-то эта, если она людей друг другу врагами делает? Если разъединение от ней одно?

Ничего не ответил на это Семен Порфирьевич.

— Ишь ты, — сказал он, вытаскивая рукой прядь мху, — добрый какой мох-то. Бревно, понимаешь ли, сгниет, а он ничего, держаться будет.

И тут же без всякого перехода добавил:

— А ты ловка, Лизавета Петровна, мох-то драть.

— С деревни сама, дак знакомое дело, — чуть зардевшись, отвечала старуха. — Это сейчас не растёт ничего. А раньше-то и лен растили. А я и его ловка драть была.

И засмеялась, прикрывая морщинистой ладошкой рот.

Потом сразу смолкла и озабоченно взглянула на Семена Порфирьевича.

— Сёмушка, — сказала она, — а у тебя-то каково на лодке со скоростью? Можно будет меня взять?

3

Назад против течения моторка ползла еще медленней, и снова загляделся Семен Порфирьевич на тихие, пригретые солнышком берега.

Ласковый ветерок дул навстречу.

Бабка Лиза, сидевшая впереди, стянула косынку, подставляясь этому теплему ветерку. Глядя на нее, расстегнул фуфайку и Семен Порфирьевич.

— Тепло-то как, а? — наклоняясь, сказал он.

— Да ведь бабье лето пришло, — ответила бабка Лиза.

— Да... — проговорил Семен Порфирьевич. — Это антициклон, Лизавета Петровна, такой. С Азорских островов нам тепло несет.

— Откуда?!

— С Азорских, говорю, островов! — крикнул Семен Порфирьевич. — В Атлантическом океане такие острова есть.

— А-а... Ну да, ну да... — закивала бабка Лиза. Потом повернулась и спросила: — А ты, Сёмушка, в кочегарке трудишься-то?

— В кочегарке, — Семен Порфирьевич пожал плечами, досадуя на свою пассажирку, перепутавшую антициклон, начавшийся на Азорских островах, с его кочегарной работой. — А что?

— Дак ничего, — отвечала бабка Лиза. — Золы-то мне не пособирали бы, Сёмушка?

— На что тебе зола, старая? — удивился Семен Порфирьевич.

— Дак огород наладить, Сёмушка, надо, — зачистила бабка, но как-то так, что и за ревом мотора ее было слышно. — Картошка-то вся фигурами какими-то расти стала. Не хватает ей питания, вот и растет так. Таки дурные картофелины попадают, что и в руки взять страшно.

Семен Порфирьевич усмехнулся.

— Лизавета Петровна, Лизавета Петровна, — проговорил он. — Смотрю я на тебя и вижу: нисколько ты не переменялась. Ты ж только что помирать собиралась на болоте. А теперь что? Полчаса прошло, а тебе золу достать приспичило.

Бабка Лиза поджала губы и принялась заматывать косынкой голову. Моторка въезжала в поселок.

Про золу старуха, однако, не позабыла.

— Так ведь надо, Сёмушка, землю устроить-то, — выбираясь на мостки, сказала она. — Я-то помру,

а земля останется. Другие люди посадят чего, а такая фигура вырастет, они и вспомнят меня добрым словом. Вот, скажут, жила умелица, землю-то довела до чего. На земле живешь, дак...

— Ладно-ладно! — замахал на нее рукой Семен Порфирьевич. — Будет тебе зола, будет. Иди давай, попадай домой.

А сам он все еще сидел в моторке, ткнувшейся носом в берег, смотрел, как ковыляет по деревянному тротуару старуха, почти волоча по земле тяжелые корзины с клюквой.

— Интересно все-таки, — пробормотал он, снова вспомнив про мужика из телевизора, который рассказывал вчера про Азорские острова, — а какие они, острова-то эти? Теплые небось, если с них такая прорва тепла выделяется...

Потом улыбнулся чему-то, встал, собираясь вычерпать из кормушки воду. Но — странно! — воды, хоть и ехали сейчас дольше, почти и не было в лодке. Должно быть, разбухла в воде пакля, прикрыла щели.

«А ничего, — вылезая из моторки, подумал Семен Порфирьевич, — ничего еще лодка-то. Можно и еще лето ездить. Выстоит...»

Старая баня

Затопил сегодня баню.

Повалил дым, но печка все-таки растопилась, хотя и не надеялся я — совсем уже старая у нас баня, еще отец ее строил...

И вот вместе с удушливым дымом откуда-то издалека, из детства, нахлынули воспоминания.

1

Тогда была весна.

Мы с сестрой жгли в костре старую ботву. Дым стлался над землей, застревая в голых прутьях малины.

Мать и тетушка копались, налаживая гряду с луком, а отец возился в бане. Слышно было, как перебирает он за тоненькой, из неструганых досок, стенкой предбанника старые веники.

— Отец! — спросила мать, прерывая работу. — Скоро баня-то?

— Уже трубу закрыл... — отец вышел из бани и помотал головой, освобождая глаза от набившегося дыма. Потом пожаловался: — Веники худые стали, лист сыплется...

— Уже год тем веникам, дак будут сыпаться... — сказала мать.

— А вовремя надо было ломать... — не удержалась и укорила отца тетушка. Оставив лопату, она развязала платок и вытерла пот с лица. — Добрые-то люди когда ломают? Когда лист потемнеть не успел. А нам некогда было, не вся водка еще была выпита.

— Глупостев-то не говори, Шура... — отец вытащил папироску и уселся на порожек бани. — А что, Маруся, не мешало бы после бани взять...

Мать смущенно посмотрела на тетушку, потом тяжело вздохнула.

— Как же это после бани не выпить? — глядя на стелющийся над огородом дым, сказал отец. — Не-е... Надо, Маруся, бутылочку взять...

— А сиди уж, бутылка! — снова не утерпела тетушка. — Тебе, Миша, только бутылки и пить.

Мы с сестрой замерли — снова начиналась ссора родителей.

2

И так отчетливо встал в памяти тот давний майский вечер, что, сидя на полу возле печки в старой бане, снова увидел я родителей, снова увидел себя, пятилетнего мальчишку, который прислушивается к разговору взрослых, уже зная все, что будет дальше...

В нашей жизни немало страшного, но *что* еще вызывает большее отчаяние, чем нежелание близких тебе людей понимать друг друга.

Наверное, у каждого из них была своя правда.

Своя правда была у тетушки, потерявшей на войне мужа и оставшейся с двумя дочерьми на руках. Тетушка уже тогда, кажется, записала всех неубитых на войне мужиков в зlostные симулянты и пьяницы. Настоящие мужики, считала она, погибли на фронте, а эти-то еще и водку хлещут в свое удовольствие...

Своя правда была и у отца. С баней у него был связан настоящий ритуал. С утра он покупал маленькую и, пока топил баню, успевал неторопливо выпить ее. Наверное, эти минуты в заросшей сажеей бане, освобожденные от шумной — трое своих и двое тетушкиных детей — семьи были долгожданными и необходимыми ему.

Он заслужил эти минуты.

Он работал учителем и каждый день с утра уезжал в свою школу в зареку, и возвращался только к вечеру, чтобы сразу браться за топор, за лопату, за вилы — мало ли в деревенском хозяйстве работы для мужика? — а потом, когда темнело, садился за проверку школьных тетрадей...

И война, которая осталась за его спиной, все еще продолжала гулять осколками по его телу...

Разумеется, своя правда была и у мамы.

Она понимала, что отец имеет право на спокойные воскресные минуты, но смириться с тем, что отец пьет, не могла. Она понимала, что сестра не права в своем ожесточении, но не могла преодолеть ни чувства сострадания к ней, ни правоты осуждения пьянства.

И самое страшное, что все эти правды не знали и не хотели знать друг друга, и скандал — так неотвратимо! — разгорался посреди теплого весеннего вечера.

3

Отец коротко матюгнулся в ответ на упрек тетушки, выбросил недокуренную папиросу и, не оглядываясь, зашагал к дому. Мать смотрела вслед, и видно было, что ей хочется извиниться перед отцом за тетушку, объяснить, что она все понимает, что, в самом деле, ничего страшного нет — выпить после бани бутылочку.

И, может быть, мать и догнала бы отца, объяснилась бы с ним, но тетушка, бросив лопату, метнулась

к бане и через мгновение выскочила из предбанника с пустой маленькой в руке.

— Вот! — торжествующе объявила она. — А ты еще, Маша, и потекаешь ему!

Мама начала говорить, что, может быть, бутылка давнишняя, что непохоже вроде, чтобы отец выпил, вроде как трезвый он сегодня...

— А и живи тогда со своим пьяницей! — перебила ее тетушка и, выронив пустую бутылку, пошла в дом.

Она обиделась на маму. Обиделась всерьез. По-своему она ведь и в самом деле жалела ее.

4

В баню в тот вечер мы так и не попали.

В доме тетушка еще что-то сказала отцу, и он ушел в поселок и все не возвращался, а первый — в первый пар! — должен был идти он, и этот обычай признавала и тетушка.

Но отца не было.

Он пришел пьяный часов в восемь вечера.

Тетушка — все ведь случилось так, как она и предсказывала! — снова принялась ругаться.

Мать закричала на тетушку, тетушка заплакала и ушла в свою комнату.

Отец, почувствовав, что мать на его стороне, попытался что-то объяснить ей, и тогда мать не выдержала, обругала отца, тот пытался что-то говорить, но мать не давала ему, отец схватил висевшее на стене ружье и убежал в баню...

5

Тогда шел пятьдесят четвертый год.

Десять лет как закончилась война, но мужики еще донашивали фронтовые гимнастерки и по пьянке порою хватались за ружья.

Минувшей осенью в Богачево забрали Толю Самылкина, который, напившись, принялся стрелять по парходам, чего, дескать, ходют тут...

А зимой один мужик с другого конца поселка застрелился в бане...

Отец из ружья не стрелял ни разу.

Как я понимаю сейчас, едва ли отец даже и спьяну подумывал о самоубийстве. В принципе, он был очень уравновешенным человеком, и подвигнуть его к каким-то резко выходящим за рамки норм поступкам было невозможно даже и пьяного. Поэтому отцовская беготня с ружьем до сих пор остается для меня загадкой.

Что мерещилось ему в пьяной тьме?

Может быть, те дни на передке, когда остатки его роты в ходе атаки попали в окружение и он чуть было не попал в плен, когда только на винтовку, как говорил он, и оставалась надежда, когда только оружие и могло помочь вернуться домой...

6

Мать долго плакала.

Потом она послала нас в баньку посмотреть, что делает отец.

Уже начало темнеть. Плескалась, в светлых ночных сумерках, река под окнами нашего дома. Освещенный нарядными яркими огнями, шел по реке теплоход.

Воздух сделался синеватым. Держась друг за друга и дрожа от страха, шли мы по огороду.

Отец спал, сидя у окна.

Мы позвали, но отец не услышал нас.

Ружье — ствол его тускло поблескивал в лунном свете — лежало на лавке.

Мы долго стояли в дверях, но так и не решились войти в заполненную страшной темнотой баню.

Это потом мать сходила и забрала ружье...

И еще она отругала нас, что мы испугались. Она редко ругала нас, а на меня, кажется, и никогда не повышала голоса, хотя ругать, конечно, было за что.

Но сейчас отругала.

И не за то, что испугались, а за то, что испугались отца. Почему-то для матери это было очень важным, чтобы мы его не боялись...

7

Как давно это было!

Выросли и стали взрослыми людьми мы с сестрой. У каждого свои дела, свои заботы.

И давно уже умерла мать, давно похоронили мы и отца.

Из нашей родни, из старшего поколения, дольше всех держалась тетушка. Она жила в своей квартире, недалеко от нашего дома, и почти до самой смерти была крепкой и деятельной, что, впрочем, не мешало ей называть себя «вдовченкой» и жаловаться, что

и дров ей привезти теперь некому, хотя дров у тетушки было заготовлено на несколько лет вперед.

И всегда, когда ходили мы с тетушкой на кладбище, она начинала плакать на могиле у матери и жаловаться, что это отец и свел ее в могилу своим пьянством.

— А отца кто свел? — спрашивал я иногда.

— Коняя-то вашего? А его тоже пьянство свело!

И что тут скажешь на это?

Я молчал, вспоминая, каким видел отца в последние годы его жизни...

После смерти матери он переехал к сестре в город и сразу сдал.

Целыми днями угрюмо сидел, как в старой бане, у окна на кухне и то ли дремал, то ли прислушивался к тому, что происходит в нем.

И свет, какой-то серый вдовцовский свет лился на него из городского пространства.

Очистив от сорняков и мусора могилу матери, тетушка переходила к могиле отца, и что-то менялось в ее лице.

Отец так и не исполнил обещания, данного матери, сойтись после ее смерти и жить с тетушкой.

— Пьянство, Миколя, пьянство его в могилу свело... — выдергивая сорняки из могилы отца, говорила тетушка. — Эх, Коняй-Коняй... Пьяница был, зарос совсем сорняками...

И не успокаивалась, пока не наводила на могиле порядок.

Арс

Иисус же, подзвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими.

Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою.

И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом...

Евангелие от Матфея (Гл. 20, 25–27)

Так называется сделанный в бичевнике пролив, в который забегают в канал с Онежского озера сердитые волны, но раньше имя это принадлежало жившему здесь одноному бакенщику.

Жил он тут всю навигацию, зажигая положенные огни озерной и канальной обстановки, здесь и умер, и здесь, возле своего дома, и похоронили его.

Теперь дома уже нет, осталась только могила, на заржавевшей табличке которой с трудом можно разобрать: «Арсений Фёдоровича Федоскин», да еще клюквенное болото вокруг.

Когда я отошел от могилы и двинулся вглубь болота, оно заохало, завсхлипывало, будто живое...

Слушая эти вздохи и всхлипы, перемежаемые тревожным шумом набегающих с озера волн, и задумался я о судьбе жившего здесь одноногого бакенщика...

Какой-то евангельский отблеск лежал на судьбе его...

Воистину: мнози же будут перви последними, а последние первыми...

Понятное дело, если бы работал неведомый мне Арсений Фёдоровича Федоскин начальником или обладал бы внушающим страх и уважение характером, наверняка и величали бы его полным именем с отчеством, но ведь тогда и пролив бы не назвали его именем.

Кто бы стал говорить: «Возле Арсения в озеро выедем»? Или: «К Фёдоровичу ходил»...

— К какому еще, — спросят, — Арсению Фёдоровичу?

А Арси — детское сокращение имени Арсений, с которым и прожил Арсений Фёдорович свою жизнь, — это и удобно, и понятно...

— Волна поднялась, хорошо успели к Арси, укрылись...

Ну, а когда умер Арсений Фёдорович Федоскин, когда исчез неведомо куда его дом и вообще только пролив Арси и остался...

И уже и не помнят многие, почему он так называется.

Знают просто, что Арси, и этого достаточно...

Когда я, вернувшись в поселок, рассказал эту историю своему соседу, тот покачал головой.

— Не знаю... — сказал он. — По-моему, тут другая версия имеется. Я слышал, что там, на Арси,

три брата сено косили. Двое родных и третий — троюродный. *Что* у них произошло, никто не знает, но родные братья убили троюродного. Один из них испугался, поплыл по каналу и утонул... Второй — повесился. Похоронили их в Шустручье, а этот памятник на страшном месте стоит. Арси называется...

— Убили... Утонул... Повесился... — сказал я. — А почему? Непонятно... И при чем тут Арси?!

— Много непонятого в нашей жизни есть... — мудро сказал сосед. — Кто мы такие, чтобы понимать всё?

С этим я не стал спорить, просто сказал, что сам видел на памятнике заржавевшую табличку «Арсений Фёдоровича Федоскин»...

Но аргумент мой не смутил соседа.

— Так это и был брат, которого убили они... — сказал он.

Бабка Таня и Машка — послушный сын

Пятерых сыновей родила бабка Таня, и всех забрала война. Съела одного за другим, и так и остались они, все пятеро, в черных рамках...

Восемь лет оплакивала их бабка Таня, а потом на сорок девятом году, когда, как подшучивали в поселке, другие старухи справки к пенсионному сроку собирают, родила шестого сына — Сашку...

Зубы у бабки Тани к тому времени совсем сносились, и шамкала она, выговаривая сыновнее имя. Так и стали звать парня — Шашка...

Рос Шашка послушным, весь в воле матери. Худого ему бабка Таня не загадывала, и пока парень учился в школе, и потом, когда стал работать мотористом на перевозном катере, всегда ходил опрятно. Жил тихо, не ввязываясь в шумные компании поселковой молодежи, хотя и умел постоять за себя. Поэтому и не могли нахвалиться старухи Шашкой, этим поздним, самым Богом дарованным, бабки Таниным сыном, но, должно быть, по этой же причине и не привлекал Шашка девчоночьего внимания, не смущал ничьего воображения.

А бабка Таня не торопила сына с женитьбой, тем более что на двадцатом году Шашкиной жизни осиротели они. Умер бабки Танин муж, оставив сыну по-старинному рубленый пятистенный дом.

Шашка служил тогда в армии, и, когда пришел вызов на похороны, вышел срок службы. Так и остался Шашка после похорон дома. По-прежнему тихо и незаметно работал на перевозном катере, и казалось, что так будет всегда.

Но через год Шашку отправили на курсы в рай-центр. И там он сошелся с дурной, как считала бабка Таня, компанией и в результате — женился.

Назад Шашка вернулся с молодой женой.

Было это зимой. Бабка Таня собиралась ложиться спать, когда заскрипел под окнами снег и кто-то брякнул в двери.

— Кто там? — спросила бабка Таня, возясь в темноте со щеколдами.

— Я, мама! — ответил из-за двери Шашкин голос. Дверь наконец открылась, бабка Таня бросилась к сыну, но тот чуть посторонился, открывая спрятавшуюся за спиной жену.

— Я не один, мама, приехал...

Так вот и появилась в доме, где кроме бабки Тани никогда не бывало женщин, черноволосая, густобровая Настёна. Красивая, с румянцем на щеках, тихо вошла она в дом, и бабке Тане сразу привиделась какая-то вкрадчивость в этой тишости.

Она встретила ее настороженно, и, хотя невестка и не выказывала строптивости, настороженность не исчезла. Все делала Настёна так, как было заведено у бабки Тани, но не прошло и месяца, а в доме все изменилось. Обедали теперь по-городскому. Редкий обед обходился без мяса, без колбасы, без других в магазине купленных кушаний. И как-то само собой получилось, что и зарплату свою да и Шашкину оставляла Настёна у себя, управляясь с нею по своему разумению. Бабке Тане не нравилась и растрачливость невестки, и это явное игнорирование ее власти, но и сказать было нечего, не подступиться было к Настёне. Бабка Таня молчала, и по-прежнему все считали в поселке, что у них в семье мир и покой, а поселковые старухи, когда жаловались у ларька на своих сынов, всегда вспоминали для примера Шашку — бабки Таниного, в родительской воле выросшего сына.

Знала об этих разговорах бабка Таня, узнала и Настёна. Теперь уже все делала она по-своему, лишь наружно выказывая бабке Тане знаки внимания и почтения.

Все терпела старуха. Только раз и попрекнула она невестку.

Случилось это вечером, когда Настёна гремела на кухне посудой, прибираясь за гостями.

— Гостей-то пореже бы вам звать надо, — попеняла тогда бабка Таня. — Ладно бы на праздники, а у вас они каждую неделю. Прямо как дом гуляний.

Ничего не ответила на это Настёна. Еще сильнее загремела посудой, и так и ушла бабка Таня спать, не поняв, удалось ли ей вразумить невестку.

А на следующий день, за обедом, Шашка сказал, отводя глаза:

— Маманя... Сегодня плотники придут, так ты не бери в голову...

— Пошто плотники-то? — удивилась бабка Таня.

— Да дверь прорубить ладим, — сказал Шашка, разглядывая что-то в дальнем углу комнаты. — Прорубим с другой стороны дверь, крылечко сделаем и будем... как это? — ну, на два входа будем жить. Гости к нам ходят, а тебе беспокойство... А так хоть тебе спокойнее будет.

Только тут и уразумела бабка Таня, что ее в родительской воле выросший сын Шашка решил разделить отцовскую пятистенную избу на две половины, решил отделиться от нее, от матери.

— Шашка! — всплеснула она руками. — Ты что удумал-то, Шашка?

— Ничего я не выдумливаю, маманя! — обиделся Шашка. — Разговору только. Придут плотники, дверь прорубят, да и дело с концом. Есть о чем разговор разговаривать. Что мы, в другой поселок уезжаем, что ли?

И, заторопившись, побежал на работу. Паромная переправа — это паромная переправа. Уже поджидали там перевоза выстроившиеся вдоль переулка грузовики.

Весть, что Шашка отделяется от матери, быстро разнеслась по поселку.

Об этом разговаривали и женщины у ларька, ожидавшие, пока продавщица закончит приемку товара, — у ларька стояла лошадь с фургоном, и черно-волосый цыган носил в магазин лотки с горячими булками.

— Не, бабы, — говорила Кланы Суткина, и ее лицо, круглое, как монетка, силилось изобразить скорбь. — Не дело это, бабы, мать старую гнать.

— Како уж тут дело, — откликнулась ей Федосеевна, бабки Танина сверстница. — Только не могу я поверить в это. В какой это книге написано, чтоб Шашка мать свою отделил?

— Да уж, видать, написано! — задорно отвечала Кланы Суткина. — Отделил ведь...

Она смолкла. Из-за фургона — никто и не видел, как она подошла, — появилась сама бабка Таня. Оглядев женщин, поздоровалась с ними и села на крылечко.

Тяжело дался ей сегодняшний разговор. Худые с набухшими жилами руки вздрагивали, бессильно сжимая ручки кошелки.

— Ты ничего, бабка Таня! Ты не переживай сильно-то! — шмыгнула носом Кланыя Суткина. — Ты на его, паразита, жалобу напиши.

Удивленно подняла бабка Таня свои печальные глаза.

— На кого?!

— Да на Шашку своего! — воскликнула Кланыя Суткина. — Нету у него таких прав, чтобы мать старую бросать. Как он смеет, паразит, а?!

— Да чего случилось-то? — снова удивилась бабка Таня, словно и в самом деле не могла уразуметь, о чем это говорит Суткина.

— Разговор, видишь, такой был... — осторожно проговорила Федосеевна. — Будто Шашка твой отделиться от тебя хочет. Ну, я не верю, конечно. Не такой человек Шашка, чтобы отделяться, а, однако, говорят все.

— Говорят? — бабка Таня тяжело вздохнула. — Знала я, бабы, что говорить будут, а только терпения моего больше не стало. Посуду Настёна помоешь, а я пить не могу, перемыть должна. Пол подметет, и тут, кажется, что сор под кровать замает. Расстраивалась так целый год, а потом и сказала: хватит, милые вы мои. Рубите двери с другой стороны и живите отдельно. До каких пор я вам помогать буду? А потом и другое дело, мало ли чего моей душеньке захочется? Шашка, дак, когда я сказала так, заплакал даже. А я не, не уступила.

— Заплакал? — переспросила Клания Суткина, и круглое лицо ее вытянулось. — Да как же ты могла-то, а? Ведь это что же получается? Что ты их и выгнала от себя, да?

— Да, видно, так и получается, — бабка Таня встала. — Не дожидаться будет магазина-то. Пойду...

— Ну и ну! — глядя ей вслед, осуждающе проговорила Клания Суткина. — Дожила, называется. Родного сына выгнала.

— Мало ли чего в жизни бывает? — вздохнула Федосеевна. — Только про Шашку я сразу сказала: никогда не поверю такому.

Так, под поселковую молву, на все лады осуждавшую бабушку Таню, и начали Настёна и Шашка жить со своего хода.

Настёна тоже быстро сообразила, как ей надо вести себя, и не упускала теперь случая пожаловаться на старуху, прогнавшую от себя сына.

Между тем так она умела поставить дело, что появились у ее Шашки друзья — все без исключения нужные люди, и как-то незаметно пошли у мужика дела в гору. На третий год после своей женитьбы Шашка определился работать на завод и выдвинулся там по профсоюзной линии.

Бабка Таня делала вид, что успехи сына не касаются ее. И хотя — это случилось сразу же после рождения Шашкиного первенца — давно отомкнули дверь между двумя большими комнатами, бабка Таня дальше детской, под которую отведена была комната на ее половине, молодых не пускала. По-прежнему жила на свой, отдельный от Шашки, ход.

Сильно постарела она за эти годы.

Уже не ходила в поселок. В сумрачные дождливые дни только изредка можно было увидеть ее в окне. Неясным пятном возникнет за стеклом лицо и снова исчезнет. И у окна трудно стало сидеть старой.

Но протаивала земля, и снова показывалась бабка на улице. Сидела на мостках, грелась на солнышке...

И каждый год казалось, что так и не успеет отогреться бабушка от зимы, но отогревалась. Через несколько дней уже тащилась к реке с тазом.

Здесь на берегу и увидел я бабуку Таню в свой последний приезд в поселок. Старуха полоскала на мелководье, у самого бережка, цветастый пододеяльник.

— Так ты еще и стираешь сама, бабушка? — удивился я.

— А кто же мне стирать будет? — ответила бабка. — Сама, сама стираю, Николя. Шашка-то ругался сегодня, когда полоскать пошла. Падешь, говорит, в воду... А я, Николя, куды умней других старух своего возраста. Я на глубокое и не иду. Тут вот полощу, возле бережка... Коли паду, так сама и выкабкаюсь.

Разговаривая так, она продолжала гонять батожком по мелководью пододеяльник, мутила воду. Действительно, только подивиться можно предусмотрительности бабушки.

— У меня сегодня еще замышлено одеяло постирать, — хитровато улыбаясь, сказала бабка. — Жду вот,

пока Шашка на работу уйдет. Тогда и замочу. А чего делать, Николая, если на чистом спать поважена? А живу-то ведь наособину от молодых. Глупая была, выгнала... Так теперь все и надо делать самой.

Она вытащила из воды пододеяльник и, отжав его, засмеялась.

— Ты не бери в голову-то, Николая, — словно бы отгадывая мои мысли, сказала она. — Тут не грязно совсем. Только видимость одна, что грязь. Высохнет и отпадет все... А Настёна-то вот вечер на быстрине полоскала, дак принесла, я видела, все белье в мазуте. Мазуту-то уж ничем не выведешь. Не отпадет сам.

Быстро взглянула она на меня выцветшими, но ожившими сейчас глазами и, по-молодому подхватив таз, зашагала к своей калитке.

— А живешь-то каково, бабушка? — крикнул я вслед ей.

— Да ведь живу, Николая, — поворачиваясь, ответила старуха. — Суседок вот только не осталось поблизости, не к кому на бесёду сходить, а так живу, слава тебе Господи! Внуков вырастила... Чего же еще?

И она скрылась за голубой калиткой, со своего, наособину хода.

Ночной гость

Первым завял иван-чай, а ромашки еще стояли — горели солнышки в белом ореоле лепестков сквозь

поникший и скукожившийся сиреневый мусор... Этот букет, который давно уже пора было выбросить, и увидел я, проснувшись посреди ночи. Проснулся от крика, раздавшегося во сне.

Кто-то кричал, кто-то звал меня, но кто? Я не мог вспомнить...

Густая, вязкая тишина стояла в отвыкшем за зиму от человеческих голосов доме, и только сердце тяжело бухало в груди, пытаюсь одолеть прорвавшийся сквозь сон крик.

Поднявшись с дивана, я прошел на кухню, вытащил из лежащей на столе пачки сигарету и закурил. В пламени спички на миг потемнело окно, но спичка погасла, и снова окно затянулось сероватым светом белой ночи. За деревьями тускло светилась речная вода.

Крик повторился снова, когда я уже докурил сигарету.

— Ну куда ты лезешь?! Куда лезешь?! — кричала на улице соседка.

Торопливо натянув штаны и накинув на плечи куртку, я выскочил из дома.

На крылечке соседнего дома, в длинной белой рубаше стояла Вера Лепешкина. А кричала она на мужика, что стоял в помятом пиджаке, в сапогах посреди капустных грядок.

Соседская собака тоже была тут. Молча, без лая, прыгала на мужика, но тот не отбивался от нее, стоял, виновато опустив голову.

— Шарик! — крикнула соседка. — Да отойди ты! Кому говорят! И ты, Иван, иди. Нет здесь никого.

Собака послушно поджала хвост и отбежала в сторону.

— Ступай домой... — повторила соседка. — Не броди тут, Иван, по ночам. Иди с Богом...

Мужик, опустив голову, послушно двинулся прочь. Прошел через огород, открыл калитку и пропал за серым неровным забором, где-то на пустыре.

— Кто это? — закуривая новую сигарету, спросил я.

— Ваня Фершуков... — ответила Вера. — Он капитаном на самоходке ходил... А позапрошлым летом поехал на моторке с семьей. В самое озеро выехавши были, а тут ветер... Волны с баньку величиной пошли, ну и перевернулась, конечно, лодка. Жена и сын потонули. Теперь вот ходит, ищет их, по домам лазает...

— А их тогда так и не удалось спасти? — спросил я.

— Какое там спасение? — вздохнула соседка. — Погода такая страшная была. Его самого без сознания на берег выкинуло. До сих пор в себя не может прийти...

Она поежилась от прохлады и, вспомнив вдруг, что на ней одна рубашка, торопливо ушла в дом. Слышно было, как брякнула задвигаемая на двери щеколда.

Я посмотрел на часы. Была половина второго. Ночь, чуть-чуть было потемневшая, когда я ложился спать, сделалась как-то просторнее, словно все клубившиеся сумерки успели отстояться в ней. Прозрач-

ной была она сейчас и бесконечно тихой. Густо пахло сиренью.

Вернувшись домой, я лег в постель, но уснуть не смог.

Дом, словно растревоженный ночным криком, был наполнен тихими шорохами, потрескиванием обоев... Казалось, что он тихо ворчит, сам себе жалуется на что-то.

Было время, когда я боялся оставаться в этом доме на ночь в одиночестве.

В тишине звуки разрастались, обретали сходство с голосами людей, казалось, все мои близкие, что жили в этом доме, собираются тут и разговаривают, но о чем? — я не мог разобрать... В полусне мешались голоса с сонными видениями. Я забывал в этой полудреме, кто жив, а кто уже давно умер, начинал разговаривать сам, и когда вдруг вспоминал, что говорю с умершей матерью или отцом, сжималось сердце от страха...

Впрочем, это было давно...

Сейчас и захочешь, а не сразу вспомнишь лицо матери, голос отца, сейчас я и сам уже вошел в возраст, в котором родители казались мне пожилыми людьми. Сейчас не так уж много мне самому осталось лет, если мерить по сроку жизней родителей...

Хотя, может быть, дело не только в возрасте.

Просто последнее время потихоньку начинаем мы приобщаться к православной жизни, «воцерковляться», как говорят батюшки, и ночные страхи отступают, рассеиваются...

Задумавшись о своем, я то ли задремал, то ли отвлекся, и пропустил момент, когда в потрескивание обоев, в шорохи, доносящиеся с чердака, вплелись другие, какие-то царапающие звуки. Вот — совершенно явственно — задребезжало стекло в боковой комнате, потом — оглушительно громко — заскрипела створка окна.

Я вскочил.

Под руку попала только кочерга, что стояла возле лежанки. С этой кочергой и вбежал в боковушку.

Темный, заслоняя собою белоночный свет, лез в комнату мужик. Створка была слишком узкой для него, и он застрял, просунув в комнату только плечо и голову. На руке, сжимавшей подоконник, темнел вытатуированный якорек.

Глупейшее положение хозяина дома, наблюдавшего за застрявшим в окне грабителем. Ударить кочергою по голове? Вытолкнуть в огород?

— Голубчик... — проговорил я. — Что ты позабыл здесь?

Ситуация была кретинская, а вопрос еще более кретинский. Мужик дернулся так, что зашатался оконный переплет. Я подумал, что мой гость вырвет сейчас его из пазов и вместе с ним рухнет в огород.

— Главное, не волнуйся! — торопливо сказал я. — Не спеши... Поаккуратнее, пожалуйста.

— Ы-ы... — промычал мужик, поднимая лицо. Оно было темным от морщин и загара. Только голубые глаза светились из его сумерек.

— Они здесь?

— Они?! — я наконец-то узнал в своем госте мужика, которого видел час назад в огороде Веры Лепешкиной. — Нет... Здесь никого нет...

— А где же они?

Я пожал плечами. Мне все-таки удалось втащить его в комнату, не поломав раму. Закрыв окно, чтобы не налетели комары, я повел незваного гостя к выходу. Когда мы шли через кухню, взгляд его задержался на миске с вареной картошкой, что стояла на столе.

— Может, ты есть хочешь? — спросил я.

Сглотнув слюну, он кивнул. Я вытащил из целофанового пакета хлеб, достал из холодильника недоеденную тушенку и уселся напротив, наблюдая, как ест мой гость.

Ел он неряшливо, жадно, пальцами запихивая в рот неочищенные картошины и обмокнутые в тушенку куски хлеба. При этом он еще и рассказывал что-то.

Он говорил про озеро, про лодку, на которой они плыли, когда налетел ветер... Про церковь, вставшую на озерном берегу. Слова мешались с чавканьем, застревали во рту, с трудом проглатывались вместе с кусками картошки...

Наконец, он наелся. Вытер рукавом пиджака рот и внимательно посмотрел на меня.

— Где же они все? — с болью спросил он. — Мы ведь плыли в одной лодке...

— Ты же сам видел — здесь никого нет, — вставая, сказал я. — Пошли. Я открою дверь.

Фершуков кивнул и, не возражая, прошел следом за мною на веранду. Вышел в распахнутую дверь.

Уже на улице он остановился.

— Мы же все были в одной лодке... — сказал он.

Здесь, на улице, мне удалось лучше, чем в домашних сумерках, разглядеть его. Исхудавшее морщинистое лицо. Порванный, испачканный пиджак болтался на его плечах, как чужой, а в голубых глазах светилось такое горе, что я отвел взгляд.

— Иди домой... — сказал я. — Иди...

Уже из окна я видел, как вышел Фершуков на дорогу и, опустив голову, медленно зашагал вдоль реки, в поселок. Я следил за ним, пока он не пропал, заслоненный стоящим на подоконнике букетом, среди скукожившихся, потемневших лепестков которого ярко горели незакатные солнышки ромашек.

Я докурил сигарету и снова улегся в постель. Странно, но это ночное приключение не развеяло сна. Удивляясь этому, я и заснул...

Мне снилось: мы плыли на лодке, когда налетел ветер... Высокие — под баньку! — пошли волны, захлестывая озерный берег, церковь, вставшую на берегу, само небо...

Рёчи вознесенские

(Картинки с натуры)

Марине Коняевой

*Душа — не печка,
вьюшкой не закроешь*

У нас в поселке одни только рёчи и живут...

И вроде бы по-русски говорят, а если не с поселка ты или отвык в городе от поселковой жизни, то ничего и не разберешь в разговоре.

Хоть соседей взять...

С утра пораньше причапает к соседской бабушке дедка Пеша, и начинается...

— Выпить бы, Дуся, надо...

— Дак выпей, Пеша, выпей...

— Дак ведь денег нет, Дуся...

— Дак ты и не пей, Пеша... Чего пить-то, коли денег нет?

— Дак ведь очень уж хочется выпить, Дуся...

— Дак и выпей, Пеша, коли очень хочется...

— Денег, Дуся, нет...

— Дак ты тогда и не пей, Пеша.

И час они так говорят и два, и ни усталости, ни раздражения ни у кого нет, мирно течет беседа.

— Надо бы, Дуся, выпить... — задумчиво говорит дедко Пеша.

— Дак выпей, Пеша, выпей... — благожелательно отвечает бабушка.

И только по оттенкам интонации и можно разобрать, что не стоит разговор на месте, а куда-то — только не понять, куда? — движется по всем правилам задушевной беседы. И только бабушкиной дочке — пенсионерке Александре Александровне — всё понятно в этой беседе и все не нравятся.

— Вот ведь собравшись две рёчи... — ругается она. — И говорят, и говорят. И конца разговору нет, и краю... Он ей так, а она ему по-прежнему. Вот рёча старая... Пенсию ей государство накинulo, дак совсем спрохвостилась. Десятку спросишь, дак у ней никогда нету, да еще разговору, дескать, необязанная она давать, мало ли чего ейной душеньке захочется. Может, прокладку какую, а может, «Орбиту» без сахара, чтобы зубы не портились. А как у ее зубы испортятся, если в стакане на буфете стоят?

— А сама тоже рёча хорошая есть... — заступается за бабушку зять Александры Александровны Коля. — Шкафов понакупала, дак проходу от них нет, весь в синяках хожу. А на кружку пива попросишь, на полдня у нее разговоров будет...

— Дак залиться тебе этой выпивкой! В прошлом-то годе самовар разварил с пьяных глаз. Ведь хоть в голос кричи было. И не знали, как жить дальше, — такой чайный голод пристал. С чайника электрического целый месяц пили...

— Вот всегда так... — вздыхает Коля. — Я им слово, а она мне три. Такая нация... Бабка думает, что у государства на иждивении живет, тёща на пенсию вышла, дак тоже на мою шею села. Жена на работе не ломается, а в дом войдешь — один медведь ногу сломит, а другой вывихнет... И денег, если похмелиться, ни у которой не допросишься. Изведут разговором.

Сам Коля не местный. Он из Петрозаводска. Но уже освоился в поселке. Даже теща за своего признала. Дня не пройдет, чтобы не услышать, как — рёча ты, рёча!.. — ругается на него.

— Ну, пойдешь ты, глаза-то нальешь, опять самовар спьяну разваришь?

— Не разварю, мамаша... — отвечает Коля. — Я к этому самовару и близко теперь не подхожу. От шкафов, которых ты понаставила, весь в синяках. Живого места не осталось.

— А глаза зальешь и разваришь... — говорит Александра Александровна. — Что я, не знаю тебя, рёча совсем становишься, когда выпьешь...

В хорошую погоду окна у соседей нараспашку, всем слышно, как рёчи там разговаривают. И конца этому разговору нет и краю.

Но приближается вечер, и, глядишь, шагает уже Коля к магазину, а следом за ним туда же ковыляет дедка Пеша.

— Душа... — говорит он, — не труба в печке. Вьюшкой ее не закроешь.

— Дак все бы ничего... — отвечает Коля. — Только вот теща шкафов понаставила, чтоб я бился об них, ходил...

Но все тише голоса.
Торопятся Коля и дедко Пеша к магазину.
Ненадолго тихо становится и в соседском доме.
Только на столбиках забора сидят соседские коты,
и глаза у них тускло-серые, как озерная вода.

Эти старушки

Из указательных местоимений употребляются: Этот для обозначения предмета, ближайшего к 1-му лицу, эстот для обозначения предмета, ближайшего ко 2-му лицу, и энто́т для обозначения предмета, ближайшего к 3-му лицу.

П.Н. Рыбников.

Об особенностях олонцкого подречья

Это теперь телевизоры в каждом доме, так и не разберешь, в поселок ты приехал или трансляцию из Москвы слушаешь...

Только и слышно на мостках:

— За энтой посудой пойдём или по регламенту пить будем?

— По-энтому, по регламенту... — отвечают. — Из горла потянем...

И дальше уже только буль-буль, как и положено...

А в прежние времена нет, в прежние времена иначе говорили. В прежние времена помнили, как надо «энтый», «эвтый» и «эстый» употреблять.

Помню, две старушки у нас, бывало, сидят на крыльечке сельповского магазина, дожидаются, пока он откроется, и беседуют неторопливо...

— Эстый парень-то с ума, што ли, совсем сбрендил? — спрашивает одна. — Вчера энту холеру городскую провожаться ходил. Эвта девка в слезах пришедши была...

И ведь посторонний человек и не разберет ничего, а второй старушке понятно, что интересуется подружка, в своем ли уме старушкин внук, который вчера не ее, подружину, внуку с танцев провожал, а какую-то городскую девку...

И главное, что без обиды спрошено, а по-простому, по-соседски...

— Эста девка много воли взяла... — по-простому и отвечает вторая старушка. — Тоже холера хорошая. Эвтому парню, пожалуй, и не нужна такая, лучше пускай с энтой девкой гуляет, может, поженятся да в город уедут. Чего ему в эвтой деревне пропадать?

Вот так, не спеша, и начинается беседа.

— Это эвта девка холера-то? — задумчиво спрашивает первая старушка.

— Эста, эста...

— Эвта, значит... Да эстый парень сам пьяница будет. Эвта-то девка и не пойдет за такого!

— Дак чего же ходить, если не зовут... Не надо и ног ломать... Ты лучше вот чего, подруженька, скажи мне... Чего эста корова в огород забравши была, да все эвтые гряды вытоптала?

— А чего на эстьх грядах и расте? Крапивы, наверно, одной и есть посажено...

И дальше уже и местному не разобрать ничего. Только и слышно:

— Эвта?

— Эста, эста! У эвтых уже и заявленье в милицию снесено есть!

— А по эстому пьянице тюрьма плачет. Пускай скорей в город едет, энти, в тюрьме которые, заждалися его.

И так пока магазин не откроют.

А как откроют, так и беседе конец. Некогда ругаться, надо в магазине и хлеба купить, и чаю, а энтие, которые разговор слушали, все равно не разобрали ничего, о каком это эвтом парне с какой эвтой девкой разговор шел, о каких эвтих грядах, о эвтой или эстой корове?

Ну, а если чужие не разобрали ничего, то между собой-то и в другой раз договорить можно, когда снова у эвтого магазина соберутся...

У ларька

Когда мексиканских сериалов по телевизору еще не показывали, бабам у нас в поселке и поговорить не о чем было. Соберутся у ларька и о Михаила Сергеича языки чешут....

— Вчера-то опять, видели? В колхозе и то мужики на работу в пинжаках ходили... Пастух и той, как положено, в пинжаке иде, а сверху зимняя шапка. А энтый-то куртку напялил, да и сел в телевизоре!

— А чего с его возьмешь, такой рёча есть дак... Только руками и знает крутить. Хорошо, хоть куртку одел...

— А не врите вы, бабы, чего не знаете! Он ведь энту куртку с Буша за гэдээрэ стрёбовал!

— Вот рёча-то...

— Да не рёча он, бабы, а простой, с комбайнеров, дак откуда уму быть?

Не выдержав бабьего разговора, вмешивается в беседу продавец Гаврила Иванович.

— Дуры вы! — говорит он и стучит пятикилограммовой гирей по прилавку. — Только в перьях и широки, а туды же, рассуждать лезете? Да где вы комбайнера дурака видели? Вы и представить не можете, какая это машина, комбайн, сложная!

— Дак, а Михаил-то Сергеевич чего? Ведь не похоже, Гаврила Иванович, чтоб умный был... Чего он куртку-то бушеву на себя напялил, если комбайнер... Обрал бы в сундук...

— А он, може, для того и сел в телевизоре, чтобы все видели — не за так отдал гэдээрэ, за куртку!

— А, може, это от пятна у него? В Ежесельге-то пастух с таким же пятном жил, дак только коровы и понимали, такой рёча был...

— Дуры! — кричит Гаврила Иванович, багровея. — Дуры набитые! Сил уже у меня никаких с вами, с дурами, жить не стало. Всё! Перерыв у меня!

И он захлопывает окошечко ларька.

— Чего это он? — удивляются бабы. — Чего закрылся-то?

— А рёча, дак чего с рёчи спрашивать... Завидно, вишь, стало, на куртку-то...

Бабушки

А бабушки у нас в поселке живут сосредоточенно и задумчиво... Конечно, есть и такие, которые сломя голову бегают, в очередях артачатся, но это и не бабушки совсем, а обыкновенные старушки. Настоящие бабушки таких старушек всячески осуждают. Недавно я слышал, как бабушка Ковригина выговаривает своей сверстнице — старушке Рыжковой:

— Ты у Мани-то чего не была, а? Даже посидеть не пришла, скаженная...

— Дак ведь некогда-т, бабушка Ивановна-т... Народу-т ведь у меня. Пока всех на дело наладишь, и вечер уже. И ноги-т не идут. А к Мане я схожу на могилку. Вот к своим пойду-т, дак и к Мане наведаюсь.

— Эх, девонька... И в прежние времена у тебя ума не много было, а сейчас и тово не осталось. Ты и смерть-то свою не разглядишь за хлопотами, как следоват. А за ради чего тебе это? Ведь на оставшуюся жизнь не настираешь им, не наготовишь.

Осуждающе покачав головой, отошла бабушка Ковригина от калитки — уселась на скамеечку под липой в глубине двора. Виногато вздохнув, пошла домой и старушка Рыжкова. Вначале степенно пошла, как все добрые бабушки ходят, а потом, вспомнив о делах, все быстрее, быстрее, побежала вприпрыжку. Только перекрестилась бабушка Ковригина: «От глупая-то!»

Сама же бабушка Ковригина всем бабушкам бабушка была. Сын ее Фёдор, сам давно уже пенсионер

и дедушка, выпивши, бродил по поселку и расхваливал мать.

— У! — говорил он. — Така старуха стала, что ни одних похорон не пропустит. На космонавтов так не тренируются, как она на тот свет.

А Федина жена, и на пенсии продолжавшая работать в столовой, тоже не могла нарадоваться на свекровь:

— Совсем из ума-то выжила. Тут недавно заявляе мне, что пенсию свою больше не будет в семью отдавать. Спрашиваю у ей: на что она деньги-то тратить будет, дак она и говорит: «А мало ли чего моей душеньке пожелается...» И по дому тоже ведь ничего не помогае. Пальцем о палец не ударит.

Но, говоря так, открыто осуждать бабушку Ковригину ни Федя, ни невестка не решались. Слишком велик авторитет был у бабушки. Бабушка даже и не сердилась на своих «молодых». Когда ей рассказывали, что они говорят про нее, только вздыхала бабушка.

— Глупые... — говорила она. — Сами того понять не могут, что для их пользы и делаю. Вся у их жизнь за материной спиной прожита, дак чего? У их и заботы иначе жить нету. А пусть-ка покажут мне напоследок, как сами жить наладятся. Когда я умру, пенсию мою им платить не будут.

— Да уж! Да уж! — кивали Ковригиной другие бабушки. — У молодых теперь никакой самостоятельности нет.

— А откуда ее взять... — защищала молодежь бабушка Ковригина. — Привыкли за спиной у родителей жить, дак откуда самостоятельности взяться?

Но хотя и славилась умом бабушка Ковригина, однако и у нее в последнее время началась в голове путаница. Когда нынешним летом приехал из городу ее внук погостить у родителей, бабушка Ковригина иначе как по имени-отчеству и не величала его. При этом не забывала учить уму-разуму и своего несмышленного сына.

— Ты слухай, слухай, Федька! — говорила она, обращаясь к сыну. — Слухай, чего Алексей-то Фёдорович рассказывает.

А рассказывал Алексей Фёдорович Ковригин, работавший начальником цеха, о своей городской жизни, о заводе, о сыне, который вместо института подался после армии в кооператоры.

И Фёдор, хотя и морщился от нарушения бабушкой семейной субординации, все-таки слушал. Больно занятные истории Алешка рассказывал. Таких, пожалуй, и по телевизору не услышишь.

— А жениться-то, стервец, не думает, а? — спрашивал он. — У нас в роду все мужики к двадцати годам очеловечившись были. Или чего думает: детишек ему в кооперативе сделают?

— Не знаю, батя! — отвечал Алексей Фёдорович. — Не знаю, чего он думает. Главное, в институт возвращаться не хочет. А у него, стервеца, ведь до армии целый курс закончен был.

Алексей Фёдорович всего недельку погостил у родителей. Пришла с работы телеграмма — его отзывали из отпуска.

— Ты, Алексей Фёдорович... — попросила, прощаясь, бабушка Ковригина, — очки-то пришли мне с городу. Не забудь свою бабку старую.

— Да я же вроде присылал год назад... — улыбнулся внук. — Или что, потеряла, бабушка?

— Ничего она не потеряла! — вмешалась мать. — Вон на телевизоре очки ейные. Не присылай и не думай. Пускай не выдумливае.

— Пришли, Алексей Фёдорович, пришли... — сказала бабушка. — Я тебе и денег дам. У меня теперь много денег-то.

— Убери! — решительно отвел ее руку Алексей Фёдорович. — Если надо, и так пришлю. Как-никак у меня сын в кооператорах. Скажи только: очки-то солить думаешь?

— Дак ведь помирать мне, Алексей Фёдорович, скоро. Надо, чтобы новые очки были. Неношенные...

— От, мать! — не выдержал Фёдор. — Ты ж совсем у нас с ума съехала. Нешто тебе в гробу очки потребуются?

— Кто его знает, чего тама потребуется... — загадочно ответила бабушка и, построжев, добавила: — Ты, Федька, запомни наказ-то. Как помру, во все новое одень, что у меня приготовлено есть. И очки положи новые.

— Неужто вы, мама, и на том свете телевизор смотреть собираетесь? — съехидничала невестка. — Так вроде туда трансляции еще не проведено.

Но бабушка Ковригина и отвечать не стала. Перекрестила на прощание внука и ушла в дом.

Очки внук прислал...

— Уж какие они легкие-то, какие светлые! — не могла нарадоваться бабушка. — Посмотришь в их, и радостней на душе и легче. Все видать.

И убрала очки в сундучок, где все уже приготовлено было.

Глядя на Ковригину, обзавелись новыми очками и другие бабушки, начисто опустошив витрину в поселковой аптеке.

Правда, многие и не знали толком: зачем нужно очки с собой туда брать? Покупали, потому что все покупают. Но некоторые знали, и бабушка Ковригина, конечно, тоже знала.

— Никакой сейчас надёжи на молодежь нету... — объясняла она. — Коли до кладбища снесут, и то, слава Богу, если не выронят где. А дальше-то своими ногами придется чапать. А сколько идти? Кто знае... А сколько там по теменкам идти, пока к свету не выбредешь?

Райцентровский батюшка, последнее время все чаще наезжавший в поселок, услышав ковригинские рассуждения, очень сильно рассердился.

— О душе надо думать, а не об очках! — строго сказал он. — Там и слепые прозреют, если душа спасена будет.

И хотя бабушка Ковригина к батюшке с уважением относилась, слова эти ей не понравились. Поджала она губы.

А когда батюшка уехал, сказала, что батюшка сегодня, не подумавши, глупостев наговорил.

— Душа... — передразнила она батюшку. — О душе у нас всю жизнь думано. Правильно батюшкой говорено: и слепой прозрее... А только ведь, подруженьки, и батюшка небось не все знае. Да и откуда знать, если он и в городе не бывае? А ко мне внук приезжал.

Такое рассказывал, что и вспомнить страшно. Все у их там перестраивают сейчас, только пыль столбом стоит. А там? Может, там тоже какие новые порядки завели? Не, подруженьки. Я думаю, надо нам очками запастись, раз мы все хорошо жить стали...

И остальные бабушки слушали Ковригину и кивали.

Таковыми они и запомнились мне.

Сидят на скамеечке, поглаживают шершавыми темными пальцами новые футляры для очков. А сами — старые все, ветхие совсем. Столько увидевшие в жизни, что и к смерти своей уже привыкшие, без страха думающие о ней, как мы думаем, например, о поездке в другой город.

А если в незнакомый город ехать, то, как же очками хорошими не запастись?

Так и стали в поселке бабушек с очками хоронить.

Надежнее все-таки, веселей с очками-то.

Девушка

Бабка Таня снова теперь девушка. Сама себя так называет...

— Надо в собес съездить! — объясняет она. — Пособие прожить девушке — получить. На десятку пенсию-то накинули, дак надо ехать.

— А кастрюлю чего везешь? — интересуются у нее. — Десятки, что ли, складывать?

— Дак грибов соленых везу. Внучат-то тоже хочется посмотреть девушке.

Девушкой бабка Таня стала недавно. Зимой стала, когда ухажер у нее — дед Егор — появился. Старуха у того померла прошлой осенью, вот дед теперь и ухаживает за бабкой Таней.

Он и сейчас ее провожает. Только с женщинами он не стоит, сразу к водителю отошел, там разговаривает.

— Крыша-то не теке? — спрашивает он, глядя на «Икарус».

— Чего ей течь, если железная... — отвечает шофёр.

— Дак бывает, что и железная, а тече... — говорит дед.

— Не теке! — успокаивает его водитель. — Езжай спокойно, не растаешь.

И, отойдя от деда, стучит каблуком по скату. «Бу-бу-бу!» — отзывается шина.

А дед Егор смотрит на него, смотрит на колесо, потом забирается в «Икарус», бабка Таня уже сидит там, у окна.

— Не боишься? — спрашивает у нее дед Егор. — Вышиня-то какая страшная.

— Дак и хорошо, что высоко... — отвечает бабка Таня. — По улице едешь — во все дворы видать, заглядывать не надо.

— Да уж... — соглашается дед. — В машине ехать, дак чего увидишь? А тут, да... тут все перед тобой, как в телевизоре... А кастрюлю-то куда, под сиденье поставила? Не опружится?

— Дак ногой держу, не опружится ведь...

Проход в «Икарусе» узкий, дед мешает другим пассажирам, но не уходит. Переминается с ноги на ногу.

— Ну, дак я тебя встретить приду...

— А приди уж... — говорит бабка Таня. — Приди, встретить девушку-то.

— Приду! — дед Егор идет к выходу, но в дверках оборачивается. — Ты не бойсь ехать-то... — говорит он. — Крыша-то не теке, спрашивал я.

— Да и слава Богу, что не теке... — отвечает бабка Таня. — Текла бы, дак и не знать было, как ехать. А так у окошечка сяду, глядишь, и доеду.

— Воротиться не забудь! — строго говорит дед Егор и сходит с автобуса.

Водитель закрывает дверку, но «Икарус» еще не трогается, стоит. Стоит, не уходит и дед Егор. Смотрит на автобус, и лицо у деда строгое, придирчивое. А с «Икаруса», с эдакой вышины, смотрит на деда бабка Таня и улыбается смущенно и ласково, ну прямо как девушка.

Лопатин

Тетушка доделала с помощью Марины пальто и сегодня пригласила нас на лепешки.

Пальто хорошее получилось.

Мы ели лепешки и хвалили обновку, а тетушка, убрав пальто, вытащила куртку и начала отпарывать кнопки.

— Пуговицы надо пришить, а то не застегиваются... — объяснила она. — Старые кнопки...

— Тетушка! — засмеялся я. — Ты чего гардероб свой налаживаешь? Не замуж ли собралась?

— Дак Лопатин-то приедет, то чего? За него и пойду. Это жених верный будет...

— Какой Лопатин?!

— Могилу-то, Николая, чем роют? Вот и Лопатин оттуда.

— Ты сама его, тетушка, придумала? — спросил я. — Или и раньше говорили так?

Тетушка задумалась. Потом вздохнула и сказала:

— А не знаю, Николая, не помню... Старая, дак вспомнишь разве чего...

Тетушка одна живет в доме. Летом приезжают дочери, приезжают внуки, а осенью и зимой — совсем одна. Вот и появляются возле нее странные, нездешние существа. То Аким Кушленский, то Лопатин этот...

Вот и сейчас, пошла пуговицы в шкафу искать, а найти не может...

— Ну что ты будешь делать? Как меня слизнул...

— Кто-кто?!

— Меня...

— Это что, мохнатенький, маленький такой?

— Ага...

— А почему: меня?

— Дак если не меня, то кто же еще будет?

И снова тяжело вздохнула.

— Не помню ничего... Все забываю, а Лопатин мой не едет чего-то.

И такой у нее нестрашный Лопатин этот, что, кажется, откроется дверь, войдет он — и не испугаешься...

Словно простой поселковый мужик зайдет...

Хозяйские люди

Бабка Лиза полоскала зимою белье в проруби, поскользнулась — и едва не упала в воду. Слава Богу, успела откинуться назад, но поясницу ушибла, ударившись спиною об лед.

Сегодня я первый раз увидел бабку Лизу, когда ездил за реку.

Она сидела во дворе на завалинке и что-то зашивала, а в раскрытом окне над нею сидел дед Василий Петрович и читал газету.

— Бабушка... — спросил я, поздоровавшись, — за брусничкой-то пойдем сейгод?

— А и не знаю, Миколя... — ответила бабка Лиза. — Я теперь подневольный человек. Это уж, как хозяйка моя захочет, так и будет...

— Какая еще хозяйка? — удивился я. — Ты же одна с дедом живешь...

— Это раньше я одна жила... А теперь с ней... — бабка Лиза похлопала себя по спине. — Сильно я ее, Миколя, зимой обидела, до сих пор сердится.

Дед Василий Петрович зимою нигде не падал, предвыборные рекламы по телевизору смотрел, но у него тоже — неприятности.

Из разговора я понял, что он тоже сам себе не хозяин — сильно ума своего опасается. Весьма объемистый ум у него выявился, в самые запредельные глубины проникающий, до самой сокровенной сути. И не важно — касается это политики или же загадок человеческого бытия.

— Я с ума, Николай Михайлович, схожу от этого понятия... — пожаловался он. — Никакой воли мне от этого ума не стало...

— Зачем же с ума сходить? — сказал я. — Известно, конечно, что горе от ума, но у вас, как я понимаю, ум не из-за границы привезен, а местного происхождения... Чего же его стесняться?

— Как вы, сильно спросив, угадали... — ответил Василий Петрович. — Я по своему возрасту, Николай Михайлович, уже не могу стесняться. Если стесняться, зачем разговор начинать было? Но человек, Николай Михайлович, рождается трезвым, а я ведь выпивать стал...

— Ага! — подтвердила бабка Лиза. — Совсем дурак стал старый.

— Отнюдь нет! — возразил Василий Петрович. — Увы, как говорится, Лизавета Ивановна. Чем больше я пью, тем сильнее у меня ум в объеме увеличивается, и от этого я еще дополнительно выпивать вынужден. А ты, дура, Лизавета Ивановна, коли не понимаешь этого.

— Я дура, конечно дело... — согласилась бабка Лиза. — Зато хозяйка у меня умная. Она мне говорит, что дождь пойдет, и если ты за водой сейчас не сходишь, нам и самовара не поставить будет.

— Какой дождь? — спросил Василий Петрович, выглядывая в окно.

— Сильный дождь...

— Нет... — покачав головою, изрёк Василий Петрович. — Это тучи местного значения, Лизавета Ивановна. На дождь они, как и ты на умное рассуждение,

не способные. Сейчас, Лизавета Ивановна, дочитаю газету и принесу воды...

— Не знаю уж, какого значения твои тучи, а хозяйка моя считает, что задожжит сейчас! — сказала бабка Лиза. — И ты, это я уж своим умом думаю, за водой пойдешь и с мокрых мостков и свалишься. Все новости твои промокнут в воде.

— Ума нет, а туда же — думает! — горестно вздохнул Василий Петрович. — Выдумала себе, понимаешь ли, хозяйку какую-то, так никакого житья не стало. Только и можно сарказм выразить. Но это ведь до поры до времени — далее может и назойливость наступить. Ты, Николай Михайлович, выдержишь это понятие?

— С трудом... — честно признался я.

— Да... — понимающе кивнул Василий Петрович. — Такое любому человеку кроме меня выдержать невозможно. Но и мне нелегко с таким умом приходится...

И загрустил он, запечалился.

Взгрустнулось и мне.

Похоже, что чайком не удастся мне нынче побаловаться в этом доме.

Не шибко-то мирно уживалась бабки Лизина хозяйка с необъятным умом Василия Петровича. И ум Василия Петровича тоже бабки Лизину хозяйку недолюбливал.

Я простился и, поскольку меня не удерживали, побрел домой.

Добрался как раз вовремя.

Тучи местного значения сгустились над поселком. Как теплоход, заревела корова за забором — началась гроза.

«Да... — думалось мне. — Нелегко, однако, Василию Петровичу, должно быть, по такой погоде идти на мостки за водой для самовара. Бедный человек... Может и поскользнуться на мокрых досках. Не дай то Бог. Такой хозяйкой обзаведется, куда необъятный ум денется»..

ЛЮБУШКИНА ДЕСЯТИНА

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.

Второе послание
апостола Павла к Тимофею



Командировка на войну

(Повесть-дневник)

Поезд «Москва—Одесса»

(4 июля 1992 года)

Еще не отъехали от Киевского вокзала, а в вагоне уже чувствуется густой эсэнгэвский колорит. Продавец газет с негодованием отверг предложенные купоны.

— Зачем они мне?! Здесь все-таки пока еще Россия! — прошел по вагону, повернулся и добавил: — Почему-то Россия еще...

Пошутил. Но грустно прозвучала шутка. Никто даже и не улыбнулся. Действительно. Москва — пока еще Россия... Почему-то...

А в тамбуре уже курят, и там тоже эсэнгэвские разговоры.

— Вот ведь петрушка какая выходит... — рассказывает мужчина в военном кителе. — Родился в Молдавии, мать с отцом в Одессе живут. Я в Москве... Кто я получаюсь?

Обвел слушателей взглядом, как бы в ожидании ответа, и вздохнул тяжело.

— Нет... — сказал. — Никогда народ не поймет, что Ельцин с Кравчуком да Шушкевичем нас поделили так.

Убежденно сказал, но — странно! — как-то впросительно прозвучала фраза...

В нашем купе — две женщины.

Одна молодая, почти девчонка. Другая — постарше. Но обе замужем, у обеих — дети. И разговоры у попутчиц понятные — про цены, про заработки мужей.

Муж молодой женщины — моряк. Корабль его приписан к Измаилу, туда и едет моя соседка. И — такой хороший, безостановочный разговор! — рассказывает молоденькая жена, что скучает без мужа, что была возможность устроиться на берегу, но она сама не согласилась... Почему?

— Ну я же не прокормлю его сейчас! Понимаете?! Не прокормлю!

И даже слезы на глазах...

— А тут еще гражданство это. Он в Измаиле прописан, а я — в Москве. Нам хотелось двойное гражданство взять, но, оказывается, нельзя. Вот гражданство Украины и гражданство Израиля можно брать, а русское и украинское — нельзя.

— Так что же вы размышляете... — улыбнулся сосед. — Зачем вам иметь разочарование в семейной жизни? Поезжайте в Израиль, и вы не будете иметь никаких проблем ни с украинским, ни с русским гражданством...

— А это можно?

Сосед только вздохнул в ответ. Что он мог сказать? Наверно, можно. В России сейчас все можно...

*Пресс-центр Правительства Приднестровской
Молдавской республики. 5 июля 1992*

По официальным сообщениям, прошедшие сутки прошли по-прежнему напряженно. Несмотря на решения глав государств в Стамбуле и изданный по согласованию с руководством ПМР приказ о прекращении огня с 19.00 4 июля, огонь продолжался со стороны Вооруженных сил Молдовы. Не прекратились обстрелы и после телефонного разговора с премьер-министром Молдовы Сангели, который подтвердил решение о прекращении огня со стороны ВС Молдовы.

Дубоссары

19.10 — обстрел автодорожного круга из гранатометов, пулеметов.

19.30 — обстрел плотины Дубоссарской ГЭС из минометов.

20.40 — с Дороцкого направления интенсивный обстрел из гранатометов и пулеметов.

23.25 — обстрелу подвергались позиции Рыбницкой гвардии.

Григориополь

19.45–20.10 — обстрел из гранатометов и минометов позиций ПМР.

С 23 часов из установок «Алазань» обстреливался город Тирасполь, позиции защитников Приднестровья на Кицканском направлении подвергались обстрелу из пулеметов.

Данные о потерях уточняются...

*Станция Раздельная
(5 июля 19.00)*

Я не доехал до Одессы.

В 19.00 сошел на Раздельной — узловой станции, от которой шли поезда на Тирасполь и дальше — на Кишинев.

Раньше шли...

Господи! Как все близко теперь!

Садись на поезд на Киевском вокзале, пересекаешь три границы, разрезающие нашу страну, и через несколько часов — уже на настоящей войне! Еще год назад, когда наши демократы торжественно провозгласили победу над путчистами, кто бы поверил в это?

— Кто бы поверил, — шутит, обращаясь к своей спутнице, сосед, — что ты, Нина, простая деревенская баба, будешь спать на тысячерублевых простынях, а дочери у тебя будут жить за границей?

Нина молчит. Что скажешь, если и три государственных границы — настоящие.

И война — тоже настоящая...

Автобус на Тирасполь (5 июля 20.00)

Автобус на Тирасполь брали штурмом.

Среди пассажиров много женщин, к тому же — с детьми. Моя соседка едет в Тирасполь из Рыбниц. Раньше эта дорога занимала не больше часа. Нынче соседка в пути уже больше суток.

В автобусе шумно. Здесь многие знакомы друг с другом. И, конечно, здороваются, конечно, спрашивают о последних новостях.

— Коля погиб... Настю убили... — прорываются сквозь гул голоса.

— Настю?! — и такая боль в этом вскрике, что смолкают все.

Такая тишина наступает, наверное, после грохота разрыва...

И мотор автобуса работает как будто ровнее и тише. Почти не слышно его, и в тишине проносятся за окном яблоневые сады, поля с подсолнухами, послушно поворачивающимися вслед за солнцем тяжелые головы... И такой покой исходит от них, что невозможно поверить, будто уже кончается мирная дорога и впереди первая остановка — война.

Пресс-центр Правительства ПМР. 5 июля 1992

Бендеры

5 июля 20.00 — обстрел в районе туберкулезной больницы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В городе, по ул. Коммунистической, БМП сил Молдовы обстрелял позиции ПМР и жилые дома.

Дубоссары

5 июля 13.40 — обстрел плотины из минометов.

16.00–19.25 — обстрел позиций у с. Лунга, автодорожного круга из минометов, пулеметов, гранатометов.

18.25, 19.25, 2.10–3.50, 5.40 — обстрел плотины из минометов и пулеметов. В результате ранен ополченец из Дубоссар Табачок Сергей.

Тирасполь
(5 июля 22.00)

А в Тирасполе, после суматошной автобусной духоты, неожиданно мирно.

Только вдалеке раздаются редкие разрывы, да еще прячутся в тяжелой южной зелени пятнистые БТРы.

В пресс-центр идти для аккредитации поздно. Иду к писателю Дрожжину, адресом которого снабдили

меня в редакции «Нашего современника». В записной книжке нарисован маршрут, и иду, сверяясь с ним, почти ни у кого не спрашивая дороги.

Я на войне...

Прихожу. Звоню в дверь...

Первая, кого увидел, Катя — дочка моего однокурсника Николая Поснова, секретаря брянской писательской организации.

— А что ты тут делаешь?!

Катя объясняет, что отец послал ее отдыхать.

— И отдыхаешь?!

— Ага... Мы на лиман каждый день ездим...

— Но тут же война...

— И война тоже... — говорит хозяин. — И лиман...

Приднестровье тут...

Тираспольское утро (6 июля 9.00)

Утром в Тирасполе по-прежнему мирно. Только, по-прежнему, вдалеке раздаются редкие разрывы, да еще необычно много людей с автоматами — на автостанциях, на улицах, в магазинах... Изредка проносятся машины скорой помощи с флагами Красного Креста на прогнувшихся от этой тяжести антеннах.

Поражает после Москвы необыкновенная чистота улиц.

Впрочем, этому секрету сразу находится объяснение.

— Блатные, ну и кооператоры тоже, как только в Бендерах началось, сразу свалили из города. Теперь на пляжах в Одессе отдыхают... — объясняет парень с автоматом за спиной.

Никто не торгует теперь на улицах, не мусорит. Чисто стало в городе. И тихо, как в давние дореформенные времена. Только из-за реки доносится редкий грохот разрывов.

Там идет война...

Пресс-центр Правительства ПМР. 6 июля 1992

По официальным сообщениям, в течение суток 5–6 июля обстановка в Приднестровье оставалась напряженной. Продолжался обстрел городов Бендеры, Дубоссары, ряда других населенных пунктов ПМР.

6 июля 4.30 — пушкой, установленной на Кишиневском направлении, обстреляны позиции народного ополчения сил Приднестровья.

4.10–5.50 — велся бой в районе с. Варница.

Кицканы

Вооруженные силы Молдовы периодически производили обстрел позиций гвардии из минометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Наиболее сильный огонь был с 14.00 до 14.35.

Григориополь

23.40 — два БТР сил Молдовы открыли огонь по позициям гвардии из минометов.

В начале было Слово *(Тирасполь, 6 июля 11.00)*

Тирасполь переполнен журналистами, но газеты приходят с опозданием или не доходят вообще, и боль-

шинство новостей жители узнают, читая надписи на броне БТРов, проходящих по улицам.

Как тираспольчанка Надя...

Она ждала жениха на свидание, но не дождалась и сердилась на него, пока через три дня — «За Лешу Шурыгина» — не прочитала его фамилию на обугленной броне.

Война ужасна всегда и всегда ожесточает людей. Дико и нелепо, когда они убивают друг друга, потому что такой приказ отдали командиры... Но еще страшнее и нелепее, когда молодые парни, сами плохо говорящие по-румынски, идут убивать своих сверстников, женщин и стариков только за то, что те не хотят говорить на чужом языке.

И вот среди трагических известий-клятв — «За Колю Белана!», «За Валеру Берзая», «За Колю Дедовича» — читаешь и такое: «Хера Снегуру и Косташу!», «Румынский не выучу только за то, что на нем разговаривал Снегур!»

Об этом ли мечтали кишиневские писатели, создавая Народный фронт Молдавии? Действительно ли они готовы давить гусеницами танков детей и стариков только за то, что те не желали читать их книжки?

Но получилось именно так... Именно за это убивают сейчас приднестровцев в Бендерах и Дубоссарах, Григориополе и Цыбулевке...

Нелепо. Дико.

Но... Вначале было слово.

— Мы долго верили Горбачеву! — говорит президент Приднестровской республики Игорь Николаевич

Смирнов. — Мы надеялись на Ельцина и Кравчука, но они отказались увидеть нашу беду. Власть имущие в Москве и Киеве предали нас — предали русских, украинцев, молдаван. И мы вынуждены были взять оружие. Нас нельзя победить!

И словно ответ на эти слова — «За погибших ребят!», «Смерть румынам!» — можно прочесть на бортах проносящихся мимо БТРов.

Пресс-центр Правительства ПМР. 6 июля 3 часа 45 мин.

Бендеры.

В районе Зопутяновки обстрел из минометов.

Началась переброска танкового батальона Т-72 на Кошницкий плацдарм. Танки имеют по два-три боекомплекта...

Военным подразделениям Молдовы дана команда гвардейцев и казаков в плен не брать, расстреливать на месте.

Помимо МИГ-29 в боевых действиях примут участие и МИ-24 румынской армии.

Богородица в расстрелянном городе (Бендеры, 6 июля 15.00)

Въезжаешь в город, и сразу, словно из фронтовой хроники, — подбитые танки, остовы сгоревших машин и автобусов, руины зданий.

Здесь шла настоящая война...

Под ногами осколки стекол, гильзы. Улицы пусты, и странно и страшно в этом безлюдье выглядят гигантские клумбы с розами. Розы засохли и как будто обуглились.

Но они стоят — тысячи умерших роз в пустом, вымершем городе.

Строг и печален лик Спасителя, Он смотрит с церковной стены на пустые улицы города. А вокруг на белой известке — оспины пуль и осколков...

За углом, в переулке, БТР, взятый в бою гвардейцами.

Теперь это их БТР.

Сами гвардейцы лежат рядом на раскладушках под деревьями. Отдыхают, обнимая во сне автоматы. Другие гвардейцы сидят вокруг трехлитровой банки с вином. Пьют вино и едят абрикосы.

Командир — красивый молдаванин Игорь. Фамилию назвать — «У меня мать в Кишиневе живет!» — отказался. Сам он из Бендер, хотя уже полтора месяца не был в своей квартире. Остальные гвардейцы — русские, украинцы, молдаване — тоже здешние...

— Что бы ни случилось, — говорят они, почти цитируя слова И.Н. Смирнова, — мы отсюда никогда не уйдем!

Две недели назад, 22 июня, когда «румыны» рвались к центру города, эти ребята встретили их. Ярость того неравного и кровопролитного боя до сих пор горит в глазах.

— Они на БТРах, на танках пришли, а у нас даже «осы» или «мухи» не было, чтобы укусить в ответ!

— Как же выстояли?

— Жадность румын спасла нас... Вместо того, чтобы всем на исполком навалиться, они магазины грабить кинулись... А нас человек двадцать в ис-

полкоме оставалось! Потом уже казаки прорвались. Помнишь, Петро?

Это Игорь адресуется к казаку, что сидит рядом и слушает наш разговор.

— Еще бы не помнить! — говорит он. — Мы им дали тогда! Эти суки румынские, как на парад, сюда приехали!

— Не страшно было?

— А чего бояться! — смеется Петро. — Смотри, что у меня есть.

И он вытягивает из ворота рубашки ладанку. На медной ладанке — Богородица. Но рельеф как-то смазан.

— Это пуля румынская в том бою прямо в ладанку ударила! — говорит Петро. — Понял?

И засовывает ладанку под рубашку.

— Скрикошетила пуля... — говорит Игорь. — Петро контузило, конечно. Когда его в исполком затащили, мы думали, что убит. А он ничего... Оклемался. Только синячище на груди — и все. Ладанка спасла.

— Богородица...

— Ну да... — соглашается Игорь. — Я и говорю, что Она...

Я смотрел на лица молодых ребят — самому старшему только еще исполнится (исполнится ли?) двадцать шесть лет — и пытался понять, как сумели они остановить до зубов вооруженную толстомордым маршалом Шапошниковым румынско-молдавскую армию...

Уже третью неделю ребята в бою, потому что и сейчас еще рвутся на улицах Бендер мины, гремят

выстрелы. И сейчас еще падают на улицах города, из которого им некуда уходить, гвардейцы, казаки, а еще чаще простые мирные жители... Падают, сраженные пулями румынских снайперов.

— В том переулке девочку четырехлетнюю вчера убили...

— Снайперы?

— Не... Румын автомат решил попробовать, вот и полоснул очередью.

— Неужели они убивают детей?!

— Еще как убивают... Вон неделю назад мальчишку десятилетнего расстреляли. Полицейский-румын спрашивает у него: «За кого ты?» — «За гвардейцев!» — мальчик отвечает. Ну, румын и застрелил мальчика...

— А почему такие жестокости?! У них ведь тоже дети! Ведь обычные люди...

— Обычные, конечно... Только Косташ им наши квартиры со всем имуществом пообещал отдать. Вот они и зверствуют, чтобы мы убежали.

Пресс-центр Правительства ПМР

По официальным сообщениям, в течение суток 6 июля обстановка в Приднестровье оставалась крайне напряженной. Несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня Вооруженные силы Молдовы продолжали обстрел территории ПМР. Главный удар нанесен по г. Дубоссары.

6 июля 15.15 — минометный обстрел позиций в районе скотного базара.

18.12 — по городу велся огонь из всех видов стрелкового оружия, минометов, крупнокалиберных пулеметов, тяжелых орудий (предположительно калибр 152 мм).

Снарядом нанесен удар по зданию горисполкома — убито 5 человек, 12 тяжело ранено, 5 из них скончались. Разрушена часть гостиницы в результате попадания двух снарядов.

Казак Петро
(Бендеры, 6 июля 19.00)

...Война и есть война.

И без образа врага, убивающего детей, пришедшего завладеть твоим имуществом, не обойтись на войне. Без этого тяжело идти в бой и убивать в бою таких же, как ты, людей.

Некоторые рассказы о зверствах румын я уже слышал... Например, о литовке, которая «тридцать шесть наших завалила», а сама перед расстрелом молила: «Не убивайте! У меня дети!» И слышал я эти рассказы от людей, непосредственно участвовавших в расстреле. Вот только с местом расстрела неувязка получалась... Одни утверждали, что это в Бендерах было, другие Дубоссары называли, третьи — лесочек вблизи Григориополя.

И о мальчишке, которого застрелили, чтобы проверить, работает ли отремонтированный автомат, я тоже уже слышал.

Но я не стал говорить об этом.

Зачем доказывать, что кишиневские сверстники моих собеседников, пришедшие сюда под румынским триколором, ничего общего не имеют с героями кочующих по всему фронту рассказов...

Да и как объяснишь, если по-прежнему каждый вечер глухой старик на тракторе собирает по всему

городу обильный урожай трупов. И в кузове его тележки и женщины, и дети...

Тут и у самого сжимаются кулаки...

— Мужики рассказывали, что мой сосед на чердак снайпера пустил... — тяжело вздохнул Игорь. — Я не знаю, что будет, когда война кончится... Как он мне в глаза посмотрит...

И это, наверное, страшнее всего.

И это, судя по тяжело повисшей тишине, понимали все.

— Пошли, я тебе «вогов» дам... — сказал, хлопнув Игоря по плечу, Петро. — Мы у румын их до хрена отобрали...

— А чего такой щедрый стал?! — подозрительно спросил Игорь.

— Да я и был добрый! — засмеялся Петро. — Пошли! Атаман сказал, что в Дубоссары будем передислоцироваться. Лишнее оставляем...

— А что такое «воги»? — прощаясь, спрашиваю я.

— Воги-то? Выстрелы... Я не знаю, как они по-русски правильно называются. Мы же не военные. Мы только свой город защищаем.

Таким и уходит.

В защитного цвета штормовке, похожей на стройотрядовскую куртку. На рукаве, как знак воинского отличия, герб Бендер — синенькая полоска Днестра, стена выстроенной Александром Васильевичем Суворовым крепости, веретено и роза.

Роза, похожая на те, что цвели в Бендерах до 22 июня 1992 года.

*Пресс-центр Правительства ПМР. Вечер 6 июля — ночь 7 июля**Дубоссары*

20.40 — обстрел плотины ГЭС и завода ЖБИ из минометов и стрелкового оружия. Погибло 2 человека, один ранен.

23.50 — на плотине разбит масляный трансформатор, идет течь масла. Турбины остановлены, стока воды нет.

22.15 — на Дороцком направлении и Кошницком направлении позиции Приднестровья обстреляны из минометов, стрелкового оружия, установок «Алазань».

00.10 — со стороны г. Кишинева в район с. Устье прибыла колонна техники — до 20 единиц танков, артиллерия.

00.15 — со стороны сёл Устье, Голерканы, Кочиеры обстрел позиций из стрелкового оружия, минометов, установок «Алазань».

00.40 — с. Цыбулевка обстреляно предположительно из установок БМ-21. Погибло 8 человек, 10 ранено. Разрушено 8 домов.

*Продолжается и продается...**(Бендеры, 7 июля)*

Пусто и тихо на улицах Бендер.

Светит солнце, отцветают розы, на стене углового здания списки погибших и раненых... Тут же и телефон службы захоронения.

Зимченко... Табак... Сороколетов... Жуков... Желток... Мокарычев... Мильцин... Рачев... Столяренко... Бодрицкий... Казиков...

Список бесконечен, — десятки листков! — и глаза выхватывают лишь немногие фамилии жителей Бендер, которые уже никогда не увидят солнца, никогда не услышат запах цветущих роз...

А рядом, на искореженной тумбе, объявления, оставшиеся еще с того времени, когда не гремели на улицах Бендер выстрелы...

«Продолжается регистрация желающих пройти курс медиативных занятий. Адрес — Пушкинская, 33»...

«Продается детская коляска»...

Рядом бесконечные списки убитых и эти, еще не пожелтевшие под жарким солнцем объявления, но кажется, между ними вместились века.

И понимая все — все равно не понимаешь, как могло случиться такое...

Не понимаешь, как несколько дней назад расстреливали на этих улицах стариков и женщин... 22 июня был выпускной вечер, и здесь тогда погибли десятки школьников...

И, непонятно откуда, доносится обрывок разговора:

— Нацики...

— Народный фронт?

— Ага... Они все знали, как будет... И уехали все...

Двадцать первого ко мне сосед-нацик приходил. Поедем, говорит, на рыбалку.

— Предупредить хотел гад...

— Ага... Я отказался. Дела, говорю... А двадцать второго и началось...

— Вот гады, а...

Глухо и страшно звучат в опустевшем притихшем городе эти слова, и в них, как и в листках с бесконечными столбцами фамилий погибших, — запах смерти...

И когда слышишь это, понимаешь, что никогда не будут Бендеры прежним, беззаботным городом...

И странно, очень странно звучат в опустевшем городе пожелтевшие объявления:

«Продается детская коляска...»

«Продолжается курс медиативных занятий...»

На том месте у церкви, где вчера стоял казачий пикет, — ополченцы. У церковной стены сидит молодой парень и набивает патронами рожок автомата...

— Перемирие заключили... — говорю я. — По радио объявляли.

— Это у них перемирие... — отвечает, не прерывая своего занятия, ополченец. — А мне пока рано мириться.

Пресс-центр Правительства ПМР

7 июля в 22.35 подписано соглашение о прекращении огня в Приднестровье полномочным представителем Президента Российской Федерации генерал-полковником Семеновым В.М., первым заместителем министра обороны Молдовы бригадным генералом Крянге П.С., начальником управления обороны Приднестровья генерал-майором Кицак С.Ф., в присутствии командующего 14-й общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Лебеда А.И.

Объявлено о прекращении огня (00 часов) из всех видов оружия, боевой и другой техники, определены районы отвода техники и вооруженных формирований противоборствующих сторон, созданы смешанные группы контроля за выполнением, соглашения.

Вместе с тем обстрелы позиций Приднестровья в течение 7 июля продолжались:

Бендеры

15.10 — обстрел площади в районе горисполкома из минометов, по ул. Комсомольской — пулеметный обстрел.

21.00 — минометный обстрел со стороны полиции ремонтного завода и железнодорожного вокзала. Стрельба из пулеметов со стороны кладбища.

Дубоссары

20.00 — позиции гвардейцев на высоте 125,7 обстреляны с Кошницкого направления из гранатометов, пулеметов, тяжелых орудий. Наиболее интенсивный огонь велся с 23.52, 4.40 по плотине, ЖБИ, метеостанции из минометов, гранатометов, стрелкового оружия. Применялись тяжелые виды оружия. Данные об убитых и раненых уточняются.

Григориополь

17.55 — интенсивному обстрелу из гранатометов и всех видов стрелкового оружия подверглись стадион и база территориально-спасательного отряда.

19.35 — произведен обстрел поселка из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Руслан

(Тирасполь, 8 июля 9.00)

— А Гошу ж убили, бля...

— Гошу?!

— Гошу, бля...

— А я и не знал... Я ж на больничном был. Вон как приложили... Снайпера сзади били...

— Самого-то задело?

— Я ж говорю, две недели на больничном сидел... Ферштей?

Так разговаривал водитель Руслан со своим приятелем, разглядывая затянутое паутиной трещин лобовое стекло газика. Чтобы трещинки не бежали дальше, пулевые пробоины аккуратно заклеили пластырем.

Газик должен был идти в Дубоссары.

Время от времени к Руслану подходили гвардейцы.

Экипировка обычная — за плечами автомат, на боку пистолетная кобура. Все — молодые.

— Вернулся?!

— А чего на больничном делать... Скука одна...

Руслан тоже молодой.

Я уже знаю, что до войны он работал мастером по пошиву верхней одежды. В гвардии — здесь он с самого начала войны! — стал водителем. Не знаю, каким был Руслан портным, но в гвардии он на месте. Коротенький автомат ловко висит за плечами и, кажется, совсем и не мешает ему возиться с машиной. Проверив мотор, Руслан снова начинает подклеивать пластырем трещинки на стекле.

Ну, вот — и часа не прошло! — появляется штабист, что поедет на газике в Дубоссары. На плечах погоны майора, но такое впечатление, что в армии майор никогда не был. Хотя все пуговицы — жара с утра! — застегнуты, в движениях и одежде — ощущение полной расхристанности...

Дождавшись, пока майор закончит разговор с Русланом, радостно сообщая майору, что еду вместе с ним в Дубоссары.

Майор подозрительно смотрит на меня.

— Это кто такой? — спрашивает у Руслана.

— Дежурный привел... — пожимает плечами Руслан. — Писатель.

— Из газеты... — говорю я и протягиваю документы.

Майор — о, как любят в Приднестровье проверять документы! — читает ох-ранную грамоту, выданную

в пресс-центре Правительства ПМР, рассматривает удостоверение газеты.

Документы у меня в порядке, и, забрав их, майор уходит в штаб.

Я иду следом.

Дежурного, сосватавшего меня на газик, к Руслану, уже нет. За пультом сидит другой офицер в подполковничьих погонах. Он тоже изучает бумаги. Потом, внимательно осмотрев меня и не заметив ничего румынского, объявляет, что я могу ехать в Дубоссары.

— Олег! — протягивает мне руку, когда выходим на улицу, майор.

— Николай! — называю себя.

— Ты извини, что так... Война...

— Я понимаю... — говорю. — Вы назад когда планируете вернуться?

— Сегодня... — говорит майор. — Хотя, как Бог даст...

И объясняет, что вообще он юрист. В Дубоссарах должен уточнить список наших, попавших в плен. Дело в том, что с начала войны шестнадцать румын взято плен, сейчас договариваются об обмене.

— Трэба проихать по частям, проверить — не забыли ли кого включить в списки.

— Так вы и к казакам заезжать будете?

— Не... — отвечает майор. — То ж не гвардия...

Руслан крутит баранку и улыбается.

Я тоже улыбаюсь, вспоминая анекдот, который рассказал Руслан, пока ждали штабиста.

Анекдот такой...

Тирасполь. Вечер. Начинается комендантский час. Патруль останавливает мужчину.

— Ваши документы!

Документа, позволяющего ходить после наступления комендантского часа, у мужчины нет.

Что ж... Делать нечего. Расстреляли мужика, идут дальше. И как раз мимо часов на почтамте проходят.

— Пэтро! — говорит один из патрульных. — Що ж мы зробі-лы?! Ще пять хвылын до наступку комендантського часу, а мы вже людину забулы...

— Нэ журысь, Васыль! — напарник отвечает. — Хиба ж я не ведаю його?! То ж мий сусид... Всэ ривно до наступку камэндантського часу не успеv бы до хаты дийты...

Юмор, конечно, черноватый, но — юмор.

В зеркальце на ветровом стекле видно лицо Руслана. Сейчас оно (мы лавируем в лабиринте бетонных блоков перед контрольно-пропускным пунктом!) сосредоточенно.

Но вот Руслан останавливает газик и, потянувшись, достает из-за щитка документы. Наши глаза встретились в зеркальце. Руслан подмигивает мне и вылезает из машины.

Пресс-центр Правительства ЛМР

Из компетентных источников сообщают:

Дубоссары

Для обстрела позиций гвардии в районе Дубоссарской ГЭС прибыло 2 установки «Ураган». Проходит усиленная концентрация

подразделений ВС Молдовы на Кочиерском и Кошницком направлениях. Их военнотружашим выдано по 2–3 боекомплекта. После пробного обстрела позиций ПМР установками «Град» ожидается массовое применение боекомплекта в количестве на 2–3 дня непрерывной стрельбы. Для корректировки огня на левый берег под видом местных жителей переброшено 2 группы с радиостанциями. Ожидается применение снарядов СШ-2 (2 тыс. убийных элементов).

Из Румынии доставлены мины-ловушки, замаскированные под детские игрушки, ручки, банки сапожного крема, консервы, магнитофоны. Они будут разбрасываться с воздуха и распространяться с участием диверсионно-разведывательных групп.

Второй батальон (8 июля 11.00)

Дисциплина в гвардии еще та...

Пока ехали по городу, субординация чувствовалась, но вот вылавировали из лабиринта бетонных блоков КПШ, и Руслан, ничего не спрашивая у майора, свернул с шоссе.

— Куда это мы? — озадаченно спросил Олег.

— Да заехать надо в одно место! Тут недалеко...

— Во второй батальон, что ли?

— Ага...

Олег приосанился.

— Да! — сказал он. — Правильно. Надо у них тоже проверить сведения.

— А как же иначе... Обязательно надо... — сказал Руслан и снова подмигнул, встретившись со мною глазами в зеркальце.

Олег то ли не заметил этого подмигивания, то ли сделал вид, что не заметил. Раскрыв лежащую на коленях папку, он сосредоточенно перебирает бумаги.

— Подожди меня здесь! — сказал он Руслану, когда газик остановился. — Я в штабе буду.

— Есть подождать! — как и положено рядовому, ответил Руслан.

А газик уже окружили гвардейцы. Они стояли и разглядывали пробойны на ветровом стекле.

— Это что! — Руслан выбрался из газика. — Он, бля, по колесам вначале бил! Ферштей?!

На металлическом диске колеса, действительно, выщерблины от пуль.

— Если бы в шину попал, не ушел бы ты, кореш... — сочувственно вздыхают гвардейцы.

— Это точно... — беззаботно отвечает Руслан. — Он, сучара, вслед бил! В брезенте я дырки заштопал, а стекло, видно, менять придется...

— Самого-то не задело?

— Как не задело... Две недели на больничном провел. Сегодня первый раз в рейс после ранения. О, Серёга!

Это адресовано гвардейцу, что, растопырив руки, шел от крыльца штаба к газику, чтобы обнять друга.

— Руслан! Живой?!

— Жив, как видишь... А я к тебе и ехал, Серёга! Сегодня только и узнал, что ты здесь...

И снова обход газика. Снова разглядывают пулевые выщерблины на колесе. Снова качают головами.

Снова рассматривают заштопанные в брезенте дырки. Останавливаются у ветрового стекла.

Через вытканную пулями паутину как-то иначе видно и этих ребят, что в расстегнутых «стройотрядовских» куртках бродят по двору, и низкий домик штаба, возле крылечка которого стоит явно «нештатный» велосипед...

Да... Анекдоты анекдотами, а все равно война, и стреляют — хотя и не густо, но иногда весьма метко.

Позавчера был орудийный обстрел Дубоссар. Всего пару раз и выстрелили из орудия, но один снаряд попал в гостиницу, а другой разорвался на крылечке горисполкома. И как раз в тот момент разорвался, когда был перерыв в совещании и директора местных предприятий вышли покурить. Пятерых положило насмерть, еще восемь человек ранены...

Война, конечно, небольшая, но смерть здесь такая же, как и на большой войне.

— Бурундук наводил! — разговаривают гвардейцы.

— Наверняка бурундук...

Это как раз о вчерашнем обстреле Дубоссар. Говорят, что кто-то корректировал огонь. Скорее всего — бурундук...

Бурундуки — это подкупленные румынами местные жители.

В Бендерах бурундуки заманивают к себе подвыпивших казаков и гвардейцев, обещая угостить вином, и умерщвляют в подвалах.

— Вот суки! — говорит один из гвардейцев.

— Конечно, суки... — миролюбиво отвечает другой. — Но яны ж гроши зарабатывают на этом добрые... Тут самому не надо ушами хлопать. Чуть что, сразу пали.

— Сразу палить?!

— А как иначе? Вон у нас случай был... Бурундук двоих наших на Коржова повел, к себе на хату. А там уже ждут... В общем, когда спохватились мы, только трупы еще теплые нашли.

— Застрелили?

— Если бы застрелили... Оба ножами исколоты были, а у одного печень вытащили...

— Пытали...

— Ага... Сколько ребята бутылок высосали, допытывались...

— Почему бутылок?

— А что еще у ребят выпытать можно? Гады такие!

— А не для того и пытали... Для своего удовольствия. Хорошо хоть бурундук не успел уйти. Мы когда обыскали его — в кармане доллары, в комок от крови слипшиеся... За наших ребят получил...

— Может, его заставили силой...

— Может, и заставили. Кто их, бурундуков, берет?

Пресс-центр Правительства ПМР

По официальным сообщениям:

8 июля 1992 года Вооруженные силы Молдовы продолжают наращивать военный потенциал, готовясь осуществить широко-

масштабную военную операцию. Приказ о прекращении огня, подписанный вчера поздно ночью, не выполняется Вооруженными силами Молдовы. Как уже сообщалось, продолжаются обстрелы позиций Приднестровья.

9.10–11.15 — осуществлялся обстрел районов ЖБИ, СПТУ, плотины Дубоссарской ГЭС из гранатометов и пулеметов.

11.00–11.45 — осуществлялась переправа личного состава и военной техники севернее с. Галерканы, на Кочиерской переправе. Техника и личный состав переправлялись на баркасах.

Таким образом, подписанное накануне очередное соглашение о прекращении огня явилось лишь формальностью. Молдова готовится нанести решительный удар по Приднестровской Молдавской Республике.

Дорога на Кошницу (8 июля 11.20)

Начало драки, увлекшись разговором о бурундуках, я пропустил.

Увидел только, как отскочил Сергей, закрывая ладонью подбитый глаз.

— Ты что? Совсем охренел?!

— Ничего! — ответил Руслан. — Я тебя как человека просил присмотреть за ней! Ферштей?

— Так я же уехал сразу после тебя!

— Ну и взял бы с собой!

— Откуда я знал, что тебя ранят? Если бы знал, конечно бы, взял с собой!

— Знал бы... — Руслан забирается в газик и с силой захлопывает дверку. — Если бы знать, я бы и сам ее с собой захватил.

Я старательно не смотрю на Руслана, но чувствую, как напряжен он. Может быть, и надо что-то сказать, но я не знаю, что в таких случаях положено говорить...

Шумно дыша, забирается в газик майор.

— Поехали... — говорит он. — Ни фиги орднунга нет.

Вытаскивает носовой платок и пытается протереть шею. Получается плохо. Носовой платок маленький, а шея толстая.

— Пришел списки уточнить! — говорит майор, поворачиваясь ко мне. — А у них ни одной фамилии нет. Из моих списков и узнали фамилии ребят, которые в плен попали. А так только по именам знали: Вася... Петя... Вот... Так и воюем...

— Война небольшая, а бардак большой... — не отрывая глаз от дороги, роняет Руслан.

Майор внимательно посмотрел на него.

— Ну да... — говорит он. — Воюем...

До Кошниц больше никто не проронил ни слова.

Молча смотрим вперед на дорогу, на взрытый разрывами мин асфальт... Руслан крутит баранку, объезжая воронки.

Пресс-центр Правительства ПМР

По официальным сообщениям:

Дубоссары

8 июля 9.10–11.15 — обстрел плотины ГЭС, ЖБИ, СПТУ-10 из гранатометов и стрелкового оружия. Отдана команда приостановить сосредоточение техники.

11.00 — в районе севернее с. Голерканы на территории ПМР осуществлялась переправа личного состава Вооруженных сил Молдовы на шести баркасах.

14.10 — со стороны с. Кочиеры позиции гвардейцев обстреляны из стрелкового оружия.

Кошницкая оборона (8 июля 14.00)

Кошницы — небольшое село на правом берегу Днестра, расположенное примерно посередине между Дубоссарами и Тирасполем.

Село захвачено румынами. Здесь накапливаются силы. Стратегически это самый опасный участок фронта. С кошницкого плацдарма легко перерезать до-рогу, соединяющую Дубоссары, Рыбницы, Григориополь, Тирасполь, а значит, и всю вытянувшуюся полоской по берегу реки Приднестровскую республику.

Я столько слышал о боях на Кошницком направлении, что сейчас напряженно вглядываюсь сквозь сотканную пулями на ветровом стекле паутину. Стараюсь не пропустить ни одной детали.

Вот врытый в землю танк... Это и есть кошницкая линия обороны. Под яблонями в траве сидят гвардейцы. За плечами — автоматы. В руках — стаканы с темно-красным вином. Трехлитровые банки — пустые и полные — тоже стоят под яблонями.

Майор начинает сопеть. Лицо его красно. Толстая шея снова покрылась потом.

— Приведите себя в порядок! — кричит он, выбравшись из газика.

Не вставая с травы, гвардейцы недоуменно и даже отчасти обалдело — что еще это такое? — смотрят на Олега.

Очень жарко.

Обстановка в такой жаре накаляется мгновенно.

Еще мгновение, и Олег начнет топтать ногами, кричать...

И наверняка отдыхающие гвардейцы пошлют его по матери.

И что будет тогда?! Я не знаю этого, но знаю, что скорее всего мы надолго застрянем здесь... Знает это и Руслан.

— Да вы ж, товарищ майор, приказ им разъясните! — говорит он, выскакивая из газика. — Здесь, хлопцы, комиссия должна сегодня проехать. Так что прибрать надо банки. Ферштей?

— Ферштей... — отвечают разомлевшие от жары и вина гвардейцы.

Словно ветерок, возникает легкое движение.

Кто-то отодвигает в густую траву банку с вином, кто-то застегивает пуговицы на рубашке, кто-то встает...

Мгновение, и исчезает веселый пикник, компания подвыпивших парней становится похожей на войсковую часть.

Если Олег и не удовлетворен таким исходом, то вида не показывает. Похоже, он и сам не знает, что произошло бы, если бы не вмешался Руслан.

— Где тут командный пункт? — бурчит он.

- Туда... — машет рукой гвардеец.
- В виноградник свернуть? — уточняет Руслан.
- Можно и в виноградник...

Пресс-центр Правительства ПМР. 8 июля

Бендеры

14.30 — интенсивному обстрелу из гранатометов, минометов, всех видов стрелкового оружия подверглись ул. Суворова, район тюрьмы и кинотеатра «Дружба».

Дубоссары

15.10 — из стрелкового оружия обстрелян детский сад и район плотины.

Вести о Найде
(Кошницы, 8 июля 14.10)

Командный пункт, хотя и не видно тут трехлитровых банок с вином, тоже напоминает пикник.

Под деревьями — две металлические кровати с панцирными сетками. Между кроватями — столик с пластиковым покрытием.

На столике разложены карты.

На картах прочерчены красным карандашом линии обороны. Поверх линий — бумаги со списками пленных. Списки эти достал Олег.

Начальник штаба батальона внимательно изучает их. Вытащив блокнот, что-то переписывает себе.

Похоже, что затеянная поездка, мало что даст Олегу. Не Олег собирает сведения о попавших в плен гвардейцах, а от него командование узнает о своих пропавших бойцах.

Олег и сам заметно сконфужен таким результатом.

— И здесь ничего не выяснили? — спрашиваю я.

— Нет... — отвечает Олег. — Может, в Дубоссарах узнаю что?

Но голос звучит неуверенно.

Вообще по мере удаления от Тирасполя мои спутники как-то заметно меняются. Олег становится задумчивее и рассеяней. Зато Руслан с каждым километром пути — все увереннее.

Здесь, на кошницкой линии обороны, он чувствует себя как рыба в воде. Сейчас стоит, окруженный гвардейцами, и разговаривает. И хотя не слышно, о чем говорят они, но видно, что разговор этот приятен и нужен и самому Руслану, и его собеседникам.

На изрешеченный пулями газик, кстати сказать, здесь никто не смотрит. Таким тут не удивишь. Здесь интересен только сам Руслан, который — слава Богу! — сумел выбраться из-под пуль снайпера...

Не спеша, Руслан возвращается к газiku.

— Говорят, ее у казаков видели, в лесничестве... — говорит он, выруливая на шоссе.

— Кого? — спрашивает Олег.

— Найду....

— А-а... — говорит Олег и чуть с запозданием спрашивает: — А кто это?

— Найда-то? Так это собак мой! Я его из Тирасполя привез, думал на фазанов натаскать, а тут меня зацепила снайпер сучара... Теперь искать надо...

И снова я обращаю внимание, каким задумчивым стал Олег.

Видно сейчас, что он пытается сообразить, как ему реагировать на слова Руслана. С одной стороны, получается, что Руслан как бы и не его везет, а свою пропавшую собаку разыскивает, а с другой, не прикажешь же прекратить расспросы о собаке.

Нелепо приказывать такое... Но еще нелепее искать Найду, когда надо заниматься поисками тех, кто попал в плен.

Двусмысленность какая-то...

— Руслан! — говорю я. — А про какую комиссию вы там, у танка, говорили?

— А черт ее знает! — пожимает плечами Руслан. — Какая-нибудь комиссия обязательно поедет, раз перемирие заключили...

Он не добавляет своего «ферштей?», но, как говорится, их бин ферштей и так... Чего тут не понять, если гвардейцы, которых видел, совсем еще молоды, почти мальчишки...

— То ж не армия, майор... — обращаясь к Олегу, тихо говорит Руслан. — То ж гвардия... Мы же не воевать пришли, а матерей своих, девчат защищать...

— Это ваше дело, зачем шли... — режет Олег. — А только, если оружие получили, дисциплину придется соблюдать.

Пресс-центр Правительства ПМР. 8 июля

По официальным сведениям, минувшие сутки в Приднестровье прошли относительно спокойно, хотя отдельные обстрелы позиций ПМР продолжались...

Румыния принимает самое активное участие по всем направлениям. Ежедневно через румынско-молдавскую границу проходит четыре-пять эшелонов с боевой техникой и боеприпасами. Непо-

далеку от Бронешты (юго-западнее города Оргеева), в полутора километрах от исправительно-трудовой колонии, накапливаются танки и орудия.

В Бронештах готовится группа из 32 человек для заброски в город Тирасполь для диверсионной работы.

Поиски Найды в лесничестве

(Дорога на Дубоссары, 8 июля 15.00)

Снова пост. Гвардеец проверяет документы, потом, вытирая со лба пот, говорит, что впереди, километрах в трех отсюда, в лесопосадке, видели людей. Гвардеец хочет уйти к товарищам, расположившимся за столиком под деревьями, но Руслан удерживает его.

— Что за люди? — спрашивает он.

— Да кто ж знает... — отвечает гвардеец. — Может, местные... А может, казачки за вином двинулись... Или — румыны... Скоро узнаем...

— Это точно, узнаете... Если румыны, то мало не покажется тому, кто встретит... Они ж, вояка, могут и сюда двинуть...

— Пускай двигают... У нас есть, чем встретить...

— Ну, а если они в засаде сели? Если на машины охотятся?

— Так я же предупредил вас!

— А объездная дорога есть? — спросил Олег.

— Объездная дорога? — гвардеец удивленно вытирается на него. — Это назад надо возвращаться...

— А еще машины проходили тут? — спросил Руслан.

— Нет... Полчаса назад проезжали, они и сказали, что каких-то людей видели, а больше не было машин. Вы первые.

Объяснив это, гвардеец поспешил отойти. Он явно не собирался решать за нас вопрос: возвращаться и ехать в объезд или попробовать проскочить.

— Чего делать будем? — безразлично спросил Руслан. Протянув руку, он поправлял отклеившийся кусочек пластыря на стекле.

— А что делать? — Олег вопросительно посмотрел на него. — Если возвращаться назад, то не успеем сегодня из Дубоссар вернуться...

— Тут ближе объезд есть... — сказал Руслан. — Через лесничество...

Олег внимательно посмотрел на него.

— Поехали! — сказал он.

И вот наш газик свернул с асфальта и, нарушая не только правила движения, но и законы физики, нырнул в кювет и тут же как-то сумел вынырнуть вверх, только уже с другой стороны дренажной траншеи. Впрочем, попытаться разобраться, как это получилось у Руслана, — было недосуг. Ухватившись за металлическую ручку на спинке сиденья, упираясь ногами, изо всех сил пытался удержаться я в безопасном отдалении от правой дверцы. Впрочем, тут же — мимо меня пролетела моя сумка с блокнотом и ручкой! — правая дверца оказалась сверху, а я начал валиться назад.

Так повторялось несколько раз, пока кювет не остался позади и наш многострадальный газик не выехал на тряскую, перевитую корнями виноградников дорогу, рассчитанную, очевидно, только на трактор...

Продолжая держаться одной рукой за дверную ручку, я начал собирать разлетевшиеся по машине пожитки. Потом был еще один нырок в кювет, и мы поднялись на вполне приличную, хотя и незаасфальтированную дорогу.

Эта дорога и привела нас к лесничеству — большому деревянному дому, на террасе которого сидел белобрысый паренек и что-то хлебал из миски. Несколько таких же белобрысых парней с автоматами возились возле сарая, распрягая лошадь.

Это были казаки.

Три собаки, высунув языки, лежали возле террасы и смотрели на паренька.

На нас ни казаки, ни собаки не обратили никакого внимания.

— Мужики! — сказал Руслан. — Я Найду ищу... Маленький такой собак... Не видели?

— Маленький? — переспросил один из казаков. — Не-е... Вроде тут не было никакой маленькой собаки.

— А мне сказали, что у вас...

— Не знаю... — пожал плечами казак. — Может, раньше была? Мы недавно сменились. Да ты бери любую собаку. Не жалко.

— Нет... Мне Найду надо. Она мне жизнь спасла...

На этом и закончился разговор о Найде.

Руслан сказал, что в том леске, который мы объехали, вроде бы видели снайперов... Казаки посмотрели в ту сторону, куда он показал, и снова принялись возиться с упряжью.

Что они там делали втроем, было непонятно.

Похоже, что они пытались постичь, как устроена упряжь... Лица были сосредоточенные, одухотворенные...

— А где тут еще ваши стоят? — как бы между прочим спросил Руслан.

— На кордоне наших трохи есть... Там, у села стоят... Хватает тут наших...

— Ну, бывайте тогда...

— Бывай и ты...

Мы двинулись в путь дальше.

— Вот порядки, а? — сказал Руслан. — Ничего не знают. Они тут сидят и, если навалятся на них, когда узнают об этом? А на кордоне даже и связи нет...

— Нет! — решительно сказал Олег. — Сейчас прямо на круг едем. Между прочим, нас не собаку искать послали.

— Да я разве говорю что? — удивился Руслан.

— И говорить не надо, если все равно не положено.

— Не положено, конечно... — соглашается Руслан. — Я имею в виду, что гвардейцу на обед не положено опаздывать.

Пресс-центр Правительства ПМР. 8 июля

15.55–17.55 — севернее Голеркан на двух баркасах осуществлена переправа личного состава Вооруженных сил Молдовы. Переправлено три БТРа.

7 июля в 21.30 было остановлено два агрегата Дубоссарской ГЭС. По результатам обследования, сегодня обнаружено попадание двух мин между трансформаторами. Ориентировочно вытекло 30 тонн трансформаторного масла.

Осмотровая бригада обстреляна из автоматического оружия. Работы прекращены.

Уровень верхнего бьефа — 27 м 19 см.

Брежневцу
(Дубоссары, 16.00)

В Дубоссарах меня потребовали к командиру батальона подполковнику Александру Алексеевичу Матвеевко.

Александр Алексеевич подполковник настоящий, из армии. На стене кабинета у него портреты Л.И. Брежнева и Ф.Э. Дзержинского.

Сам подполковник тоже чем-то похож на изображенных на этих портретах. Широкими бровями? Проницательным взглядом?

— Вы меня прямо спрашивайте! — говорит Александр Алексеевич. — А я прямо буду отвечать.

Это приятно, когда прямо говорить можно.

— Как воюет батальон? — спрашиваю. — Ведутся ли сейчас, когда заключено перемирие, боевые действия? Как попал сам Александр Алексеевич в гвардию? Как он относится к президенту ПМР Игорю Смирнову? Почему на стене висят портреты Л.И. Брежнева и Ф.Э. Дзержинского?

Подполковник отвечает прямо, но очень кратко.

— Батальон воюет хорошо. Поставленные командованием задачи решает...

— Перемирие заключено, но это эсэнгэвско-румынское перемирие. Румыны продолжают обстрел.

Батальон ведет ответный огонь, задача — подавить огневые точки противника.

— Отношение к Смирнову? У нас война, товарищ журналист. Это вы можете относиться к своему Ельцину, как хотите... А на войне так не положено. Смирнов — командующий.

— Портреты? Они здесь валялись, я приказал повесить. К Брежневу можно по-разному относиться, но такого, как нынче, при нем не было. Мирных людей из танков не убивали.

Вот такой у нас разговор получился.

Что ж... Здесь в Дубоссарах после вчерашнего — уже после заключения перемирия! — артналета, едва не уничтожившего весь городской хозактив, настроение у всех напряженное, взвинченное. Говорят, что сегодня умерло еще пятеро раненных на крыльце исполкома.

Я смотрю на портрет Брежнева — его лицо как-то и подзабылось за эти годы... — и думаю, как мне объяснить Александру Алексеевичу, что Ельцин для меня не совсем «свой».

Вернее — совсем не свой, а чужой.

Впрочем, ведь и Горбачев тоже таким был... И Леонид Ильич Брежнев, хотя и повесил товарищ подполковник его портрет на стену.

Только вряд ли удастся мне объяснить это... Не в том состоянии Александр Алексеевич, чтобы мои рассуждения слушать.

— Расскажите, — говорю, — как из 14-й армии в Приднестровскую гвардию переходят? Заявление пишут? И кому пишут? Лебедю? Министру обороны? Игорю Смирнову?

— Это кто как... — говорит Александр Алексеевич. — У нас в гвардии есть такие офицеры, которых жены ухватами на танки загоняли, чтобы воевать ехали...

— Ну, а вы, например, как? Вас ведь не ухватом жена загоняла.

— Меня нет! — говорит Александр Алексеевич и смотрит на часы. — Пошли. Обедать пора.

Обедали на улице. В старом львовском автобусе, который стоял под деревьями, женщина разливала по мискам гороховый суп. Потом в эту миску накладывала второе.

Время от времени на плотине трещали автоматные очереди, но никто не обращал внимания да них. Крутились возле автобуса раскормленные собаки.

— Война кончится, а они все равно сюда ходить будут... — говорит пожилой гвардеец, протягивая женщине миску под второе.

— Пускай ходят... — говорит женщина. — Только бы кончилась война...

Командир батальона пообедал тут же.

Когда, получив пайку, он пропустил меня вперед, я направился к столу, где были свободные места, подполковник не пошел со мною. Устроился за другим столом, где было намного теснее.

Похоже, он считал завершенной нашу беседу.

Ну что ж... У нас за столом свои разговоры...

— Я перед обедом домой ходил... — рассказывает один из гвардейцев. — Так жена показывает, смотри, говорит, что к нам залетело. А там в раме — пуля. Я говорю: дай плоски, вытащу... А она: ты что?!

Мухи залетать будут... Ну, я и не стал вытаскивать. Аккуратная такая пулька, калибр небольшой...

Посмеялись, но снова как-то невесело.

И как-то разом смолк смех, помрачнели лица гвардейцев, прислушивающихся, как затарахтели на плотине очереди.

Закурив, я отошел к Руслану, осматривающему искореженный остов машины, зачем-то затащенный на территорию батальона. Ясно было, что Руслан смотрит, нельзя ли чего переставить на свою машину... Но позаимствовать нечего.

Нагнувшись, Руслан вытащил из газика тряпку, вытер руки, а потом, швырнув тряпку назад в газик, достал сигарету.

— Побеседовал с подполом? — спрашивает он.

— Побеседовал...

— Хороший мужик. Его все любят.

— Ага... — соглашаюсь я. — Только напряженный какой-то. Лишнего слова клещами не вытянешь...

— Это верно... — соглашается со мною Руслан. — Но, говорят, он только последнее время такой. Это с Бендер у него...

— Он был тогда в Бендерах?

— Семья у него в Бендерах жила... Жена, сынишка... Никого сейчас в живых не осталось. Ферштей?

Пресс-центр Правительства ПМР

По имеющимся сведениям, в течение двух-трех дней в район Дубоссар будут переброшены свежие силы для захвата Дубоссарской ГЭС.

Подготовлена артгруппа для применения АКАЦИИ, ГРАДА, УРАГАНА. Все установки подтянуты на дубоссарское направление.

Для усиления диверсионной работы в тылу Приднестровской Республики комплектуются диверсионно-разведывательные группы, состоящие из бывших уголовников и специалистов-подрывников, оплачиваемых валютой.

В разработке плана наступления активное участие принимает генштаб румынской армии.

ПОТОПИТЬ ПМР В КРОВИ — основной замысел этого плана.

Газеты с того берега (Дубоссары, 16.40)

Подполковник, однако, не забыл про меня.

То ли замполит, то ли просто заместитель принес папку, в которую подшиты вырезки из газет.

— Что это?

— Александр Алексеевич советовал почитать.

Листаю подшивку. Вырезки — из молдавских газет, на русском языке.

Заголовки: «Освободим город Дубэсарь!», «Дьявольские когти России», «Новые злодеяния гвардейцев», «Румыния в борьбе с панславянизмом»...

Под статью заголовкам и тексты:

«Крымская краевая организация Украинской Республиканской партии резко осуждает вмешательство шовинистических имперских сил России во внутренние дела Молдовы. Искусственно созданная прокоммунистическими силами Приднестровская

республика является дестабилизирующим фактором на пути создания независимой Молдовы»...

«Не будет мира в этом уголке Европы и не будет справедливости в мире, пока не наступит справедливость для румынского народа. Ион Антонеску».

«Румыны — коренные жители территории между Днестром и Бугом».

«Будьте вы прокляты, русские ироды! Подавитесь чужой землей, чтобы и похоронить вас негде было!»

Знакомая ладанка

(Дубоссары, 17.00)

Я бы еще кое-что переписал из подборки газетных вырезок, но что-то случилось, что-то произошло...

Как магнитом, стянуло народ к воротам. Вот быстро прошел туда подполковник. Следом за ним — наш майор Олег.

Когда я протиснулся через толпу гвардейцев, увидел, что подполковник разглядывает что-то лежащее на ладони.

— Больше ничего не было, товарищ командир! — возбужденно говорил ему гвардеец в вылинявшей майке. — Ни оружия, ни документов. Только эта ладанка... Я ее взял, потому что приметная она, может, узнает кто...

— Можно посмотреть?.. — сдавленным голосом попросил я.

Подполковник чуть повернул ко мне ладонь. На ладони лежала ладанка с изображением Богородицы.

Рельеф был смазан пулей, которая не убила в Бендерах казака Петро.

— Вы знаете, чья она? — раздался голос подполковника.

Я кивнул.

— Мне ее в Бендерах казак показывал... Петро его звать. Его Игорь, из тамошнего батальона гвардейцев, хорошо знает. А где он сам?..

— Мы в фуру его засунули... — сказал гвардеец в полинявшей майке. — Чего по такой жаре возить. Они уже и так поплыли, пока в Дубоссары привезли. Куртку даже пришлось снять, пахла...

— Надо все-таки попробовать опознать... — говорит подполковник, глядя на меня. — Сможете?

— Можно попробовать... — говорю я. — А где фура эта?..

— Он покажет... — подполковник кивнул на гвардейца в майке.

Странное дело... Я и перебросился-то позавчера с этим Петром всего несколькими фразами, а ощущение такое, словно потерял близкого человека. Или, может быть, это потому, что Петр — первый убитый на этой войне, которого я знал и помню живым?

Может, и так... Но все равно оглушение не проходит. Воздух кажется вязким. Как из-за слоя ваты, доносятся приглушенные голоса...

— Не свисти! — говорит гвардейцу Руслан. — С каких это пор за три часа покойник может испортиться...

— Так, а может, его раньше шлепнули!

— С какой стати раньше, если мы в три часа там были. А они после проехали.

— Где это там? — спрашиваю я. — При чем тут мы?!

— Так их же в лесопосадке, сразу за постом, засада ждала. Если бы мы не через лесхоз поехали, как раз могли вместо казаков попасть. Ферштей?

Я качаю головой.

Нет. Такое понять невозможно.

Майор Олег, похоже, тоже не ферштейт. Он сидит и неподвижно смотрит вперед. Такое ощущение, что он ничего не слышит сейчас.

Слышит...

Он пытается прикурить и не может, руки его дрожат, и ему никак не удастся ткнуться сигаретой в огонек спички.

Петро. Оpozнание тела (Дубоссары, 18.00)

В рефрижераторах возят продукты.

Один знакомый, еще в советские времена, возил в рефрижераторе доски на дачу.

В Приднестровье в рефрижераторах хранят трупы убитых.

Дубоссарский морг давно уже не вмещает своих мертвецов...

Чтобы поддержать внутри нужную температуру, время от времени включают компрессоры. Такое ощущение, что работает мотор. Сейчас фура тронется и уедет. Но фуры неподвижно стоят на месте.

Долго искали нужное там тело. Хотя и сдали убитых казаков всего час назад, но после них были еще поступления.

Служащий морга в маске респиратора открывает нам фуру за фурой.

Из распахнутых фургонов тянет холодом и смертью.

На металлическом полу, двумя рядами, — покойники.

Одни голые. Другие — в одежде...

Голые — поцелее. В одежде — с вывалившимися кишками, с торчащими оголенными костями.

Не спрашиваю, но и так понятно, почему они не раздеты. Пропитанная кровью одежда стала частью этих трупов.

— А почему родственники не забирают тела?

— Почему не забирают? Забирают... Не успевают только...

Руслан спрыгнул с фуры.

— Нет... — сказал он. — Ничего похожего...

И снова объясняем, кого ищем. Снова совещание служителей. Совещание шло долго.

— Помнишь, в среду его привезли?

— Нет, им свежих надо, которых сегодня привезли!

— Сегодняшних мы в эту фуру складывали...

— А та фура, что до Тирасполя пошла?

— Нет, там от исполкома которые привезены были...

— А в которую смену ихних забили?..

Наконец было объявлено, что надо побачить еще в гэтой фуры. Если и здесь не будет, пойдем в морг.

Там сегодня были свободные места, может, туда положили. Точнее могли бы сказать из дневной смены, но яны сменились, сейчас вечерняя работает, вообще пошукать можно, если не найдется, придется до начальства идти, а это уже завтра...

В морг идти не пришлось.

Даже Руслану не потребовалось залезать в «гэту» фуру. Казак Петро, показывавший мне позавчера ладанку, что спасла его во время боя в Бендерах, лежал с краю.

— Ишь ты... — одобрительно проговорил служитель. — Аккуратно убили паренька... Даже и крови нет.

— Снайпер работал...

— Бачу, что снайпер...

Пресс-центр Правительства ПМР. 8 июля

Бендеры

21.10 — обстреляна из миномета территория завода «Молдавкабель». Волонтеры Молдавской армии разграбили магазин «Южный». Заминирован ряд зданий, предприятия и школа в районе шелкового комбината.

*Дубоссары—Тирасполь. Дорога
(8 июля 22.00)*

Было уже темно.

Лучи фар выхватывали из темноты пустую дорогу, изгороди, деревья...

Впереди негромко разговаривали Олег и Руслан. И следа дневной раздражительности не осталось в майоре.

Он расспрашивал Руслана о Найде.

О породе.

О возрасте.

Где ее взял Руслан?

Где теперь думает искать?

— В ум не возьму... — ответил Руслан. — Такой собак хороший. Уже второй раз жизнь спасает мне.

Но на этот раз Найда спасла жизнь не только Руслану...

О том, что из-за нашего спасения не спаслись казаки, ехавшие следом за нами, я не думаю.

Об этом, говорит Руслан, и думать нельзя. Это война. Тут у каждого своя удача, и другому она не подойдет.

Немного жутковато, когда думаешь, что если бы не эта неведомая собака Найда, — лежать бы в морозильнике рефрижератора возле дубоссарского морга. Но одновременно и весело.

Такой странный коктейль.

Жутковатое веселье... Или веселая жутковатость...

Как будто пузырьки шампанского бегут прямо по нервам. Прислушаешься к руке и чувствуешь, как начинает дрожать она...

Руслан включил тираспольское радио, но там ничего не было кроме бесконечных эстрадно-белогвардейских песен.

Странно, еще вчера, ужиная в ресторане, я с удовольствием слушал их, но сейчас, после глотка войны, песни казались какими-то придуманными.

Руслану, похоже, тоже тяжело было слушать эти песни. Не дослушав куплета про патроны, которые должен раздать поручик, он выключил радио.

— Я питерский адрес оставляю! — сказал я, протягивая Руслану и Олегу визитки. — Будете у нас, заходите.

— Ты тоже приезжай после войны! — говорит Руслан. — На лиман съездим. Ферштей?

И он диктует свой адрес.

— Фамилия как? — спрашиваю я.

— Чернявский... — отвечает Руслан.

Ночью я проснулся в номере тираспольской гостиницы от грохота взрывов.

Они гремят совсем близко и сливаются друг с другом. Только мгновение спустя я понимаю, что это гроза. Густой, как здешние сады, рушится на Тирасполь мирный дождь. Вот она первая мирная гроза, в раскатах которой пропадает громохание орудий...

Поезд «Тирасполь—Одесса» (9 июля 1992 года)

Ну что ж...

Хотя и перебиваемый разрывами мин и автоматными очередями, но мир наступает. Свидетельство — этот поезд на Одессу, который пустили после долгого перерыва.

В забитом людьми сидячем вагоне пожилой сосед рассказывает, что ездил в Бендеры.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Дорого все на Привозе... — отвечает мужчина. — Вот и решил съездить за абрикосами. Надо внуков кормить... Да и дом тоже надо было провести.

— Не тронули ничего?

— Не тронули... Я когда замок-то снял, ворота пихаю, а они не открываются. Что, думаю, ё-моё, такое... Заглянул в щелочку, а там — Боженьки вы мои! — танк стоит. Хорошо тут сосед прибежал. Извини, говорит... Это я к тебе загнал, а то у меня в ворота не проходил. Я, говорит, назад его сейчас сдам, ты и откроешь ворота...

— А пошто ему танк? — спрашивает доверчивая старушка.

— Так как это пошто? — смеется мужчина. — Танк — машина хорошая... Может, сосед на ней теперь работать будет.

Ночь. Киевский вокзал *(9 июля 1992 года)*

В Москву наш поезд пришел ночью.

Пассажиры рассосались, и скоро перрон опустел.

Ночь была теплая. Идти в помещение вокзала не хотелось, и я вышел на привокзальную площадь.

Днем здесь всегда людская сутолока. Сейчас — непривычно пусто, просторно. Площадь еще не убирали, и вся она была завалена бумажками, обертками, коробками. Порою со стороны реки набегал ветерок, и тогда мусор начинал переваливаться — казалось, что это копошится сам асфальт.

Еще неожиданней было увидеть среди вонючего мусора заплеванной привокзальной площади фигуры Горбачева и Ельцина.

Должно быть, эти манекены перетащил сюда незадачливый фотограф в надежде, что хоть кто-то из проезжих ротозеев захочет сфотографироваться с этими разрушителями страны. Но, как видно, и в вокзальной толчее желающих запечатлеться в обнимку с вождями не нашлось. И тогда махнул хозяин рукой на манекены, бросил на произвол судьбы.

Они стояли сейчас посреди площади, как бы оглядывая то, что было совершено ими, и такими откровенно ненужными выглядели, что собачонка, пробежавшая следом за своей хозяйкой, увидев их, остановилась и вначале залилась лаем, а потом завывала.

— Найда! — окликнула ее хозяйка. — Фу, Найда! Фу!

— Это ваша собака? — спросил я.

— Ага... — ответила женщина. — А что?

И она неуверенно, с какой-то полун надеждой улыбнулась мне. Женщине не было еще и сорока лет, но выглядела она старухой.

— Ничего... — сказал я. — А давно она у вас?

— Да недели две как приблудилась... Я не гоню ее. Собачка хорошая, умная...

— А почему вы зовете ее так?

— А как еще звать, если сама нашлась... Найда, конечно.

Женщина подождала немного, не предложу ли чего, потом двинулась дальше... Помахивая хвостом, собака весело побежала следом за нею.

Я смотрел вслед, пока они не скрылись из глаз.

Конечно же, это не могла быть та Найда, которую искали мы по дороге из Тирасполя в Дубоссары. Никак не попасть было той Найде через три границы в Москву...

Не хотелось идти в переполненный зал ожидания, но очень уж противно было рядом с президентами-чучелами, вставшими посреди заплыванной, замусоренной площади...

Я побрел на вокзал.

Пресс-центр Правительства ПМР

По официальным сообщениям:

В течение суток 9–10 июля обстановка в Приднестровье сохранялась относительно спокойной. Однако, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, наблюдались периодические обстрелы позиций ПМР со стороны вооруженных сил Молдовы.

Дубоссары

9 июля 11.20 — минометный обстрел плотины ГЭС и завода ЖБИ. Данный факт зафиксирован наблюдателями от трех сторон (Молдовы, 14-й армии, Приднестровья).

15.35 — осуществлялась переправа вооруженных групп Молдовы из с. Голерканы на Кочиерский плацдарм.

Бендеры

21.30 — колонна БТР Молдовы подошла к Ленинскому микрорайону.

21.40 — со стороны с. Хаджимус и кинопроката велся интенсивный обстрел из минометов, гранатометов, стрелкового оружия в районе шелкового комбината, ДОСААФ, 15-й школы, промзоне.

22.45 — в результате минометного обстрела на ул. Первомайской убит тираспольский ополченец гвардии Чернявский Руслан.

Глаза над пропастью

(Рассказы)

Любушкина десятина

Тогда многие петербуржцы ездили в Сусанино.

Здесь в станционном поселке, не доезжая Вырицы, жила Любушка.

Была Любушка старицей, многое было открыто ей, многое происходило, как говорили, по ее молитвам...

Молилась она по руке.

Ведет пальчиком по ладони и повторяет имена. Говорили, что все ее духовные чада записаны у нее на ладошке, вся Россия...

Рассказывали, как однажды на праздник Казанской иконы Божией Матери пропала Любушка из дома... Встревожились женщины, жившие со старицей. Куда пойти могла, если и по избе едва двигалась? Отправились искать и нашли в церкви.

— Добрела-то такую дорогу как? — удивлялись.

— Так не одна шла... — ответила Любушка. — Богородица пособила.

Много таких историй про Любушку рассказывали, а ездили к ней за советом, за молитвою.

Любушка послушает гостя, потом пошевелит пальцами, будто книгу листает, и ответ даст.

От многих я слышал, что советы эти помогали жизни наладиться.

Обращались к Любушке со своими бедами и мирские люди, и священники, и маститые протоиереи.

Рассказывали, что однажды привезли к Любушке девочку с сухой рукой. Никакие доктора не помогали, а старица погладила девочку по руке и восстановилась рука... Девочка потом призналась, что испытывала в эти мгновенья необычайную легкость во всем теле.

1

Однажды я тоже сподобился побывать у Любушки. В Сусанино мы с женой приехали в компании православных поэтов.

Было это зимой.

День выдался морозный, чистый. Сверкали на солнце заиндевшие ветки. Было тихо. Только громко, на все Сусанино, скрипел снег под ногами.

Дом Любушки мы нашли легко. Любушку в Сусанино знали все.

По утопанной тропиночке вошли во двор и поднялись на крыльцо.

Потом долго стояли в небольшой комнатке возле жарко натопленной печи — ждали, пока позовут к Любушке.

Женщина, назвавшая себя грешницей Анфисой, взяла продукты, которые мы принесли, и как-то сразу расположилась к нам.

— Ходят-то, ходят-то... — вздохнув, пожаловалась она. — А ведь разные люди... Матушке-то тяжело очень, когда не одни приходят...

— Так мы тоже вроде как целой компанией... — засмутились мы. — Мы не знали...

— Это ничего, что компанией... — сказала грешница Анфиса. — Главное, что — одни. А та, — она кивнула на дверь в комнату. — Не... Та не одна пришедши...

И повернувшись к иконам, перекрестилась.

Наконец, дверь в комнату, где находилась Любушка, отворилась, и из нее вышла женщина лет тридцати. На щеках — красные пятна, глаза — неспокойные.

Женщина, похоже, занималась какой-то издательской деятельностью. Порывшись в сумочке, извлекла целую пачку бумажных иконок.

— Любушке хотела оставить... — сказала она. — Наша продукция...

— Нет-нет! — замахала руками грешница Анфиса. — Заберите. Не надо нам.

Когда женщина ушла, я все-таки не удержался и спросил у Анфисы, почему отказалась от иконок. Разве иконы могут быть лишними?

— Дак не знаю... — простодушно ответила Анфиса. — Вся стена иконками увешена. Любушка у нас ведь как говорит: что вы думаете? — это нарисовано? Нет... Это не рисунки, не фотографии. Это сами святые и стоят... Это для других икона — картинка, а для Любушки нет. Сколько ни будет икон, а каждой она поклонится. Хоть и нету сил-то, и так едва на ногах стоит... Да ведь и закрепить такую иконку не знаешь

как. Того и гляди, упадет. Не знаю уж, чего бумажками иконы печатают... А Любушка плачет потом.

На этом разговор с грешницей Анфисой прервался. Меня позвали к Любушке.

2

Растерявшись, я вошел в комнату, вся стена которой действительно была завешена иконами, и увидел низенькую сгорбленную старушку.

Опираясь на клюку, неподвижно стояла она возле стула, на который мне и велела сесть присутствующая в комнате женщина.

— Вы громче спрашивайте! — сказала она. — Со-
всем плохо слышит матушка.

И совсем растерялся я.

Мне стало жалко Любушку — она напоминала больную бабушку, и только глаза были такие голубые, чистые-чистые... Такие чистые глаза, наверное, бывают у ангелов...

Но растерялся я по другой причине.

Только теперь и сообразил, что не знаю, чего спрашивать. Можно было придумать какой-нибудь праздный вопрос, только зачем спрашивать то, что самого не слишком волнует?

А что волнует?

Если честно, то больше всего занимал меня вопрос, отчего я так переживаю порою, *как* выглядел в глазах того или иного человека, и при этом почти не думаю, как выгляжу в очах Божиих?

Впрочем, и это не вопрос, поскольку ответ на него известен наперед. Понятно, что если человек живет

праведно, то ему и хочется, чтобы Бог видел его. А коли грешишь, то не только не хочется этого, но хочется, чтобы Бога как бы и не было вообще.

Нет... Что-нибудь надо было, конечно, спросить.

Я бы и спросил.

Но не сообразить было нужного вопроса в этой комнате, где, с бесчисленных икон и иконок, смотрели на тебя со стен не рисунки, не фотографии, не полиграфические воспроизведения образов, а сами святые...

— Помолитесь за меня, пожалуйста, — еле слышно проговорил я.

Что-то неразборчивое проговорила Любушка.

— Что? — спросил я.

— Имя ваше она спрашивает... — сказала женщина.

— Николай.

Любушка что-то перевернула в своей невидимой книжке и, опустив голову, беззвучно зашевелила губами.

Я вышел.

Так и осталась Любушка в памяти — сгорбленная, маленькая, с беззвучной молитвой на устах, окруженная стоящими вокруг нее святыми.

3

Многие видели Любушку такой, многие такой ее и запомнили...

Многие петербуржцы ездили к Любушке из года в год, и они рассказывали, что хотя и идут годы, а Любушка не меняется. Такое впечатление было, что уже давно она живет как бы вне нашего времени.

И казалось, что так и будет всегда, но потом вдруг уехала Любушка из Сусанино.

— Уезжаю... — как передавали, сказала она. — Никто не молится здесь, только говорят..

Последние годы блаженная Любушка, как в дни своей молодости, провела в странствиях...

Побывала она в основанной преподобным Амвросием Оптинским женской обители в Шамордино, была в Дивеево... Около года старица провела в Николо-Шартомском монастыре Ивановской области, а 29 января 1997 года перебралась блаженная Любушка в Вышний Волочек.

В свое время по ее благословению приняла здесь игумения Феодора полуразрушенный и заселённый воинской частью Казанский монастырь. Много раз опускались у нее руки, но Любушка не разрешала ей оставить начатое дело, укрепляла Феодору молитвами и советами.

И вот теперь и сама прибыла к своей духовной дочери.

— Вот я и приехала домой... — сказала она.

Игумения Феодора очень опасалась, как бы ни уехала матушка.

— Вас не будет, — говорила она Любушке, — и я не смогу без вас.

— Потерпи до лета... — отвечала блаженная.

В конце лета она начала болеть.

Ей сделали в Твери операцию, но операция не помогла.

Десятого сентября в 22 часа Любушка попросила причастить ее, и все поняли, что она готовится отойти.

Сестры начали подходить попрощаться с Любушкой.

Она у всех просила прощения и молилась за всех. Все время писала пальцем по руке.

Одиннадцатого сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, в 11 часов ее причастили в последний раз.

До последней минуты Любушка была в сознании и молилась.

Еще при жизни Любушка говорила, что Сама Матерь Божия Казанская придет за ней в белом платье, и вот за полчаса до смерти лицо ее начало просветляться.

Похоронили Любушку 13 сентября 1997 года возле Казанского собора с правой стороны алтаря.

А на следующий день 14 сентября, по старому стилю 1 сентября, наступило церковное новолетие.

Вот, оказывается, до какого лета просила блаженная потерпеть игуменью Феодору.

4

А к нам, в Санкт-Петербург, год или два только слухи и доходили о Любушке.

Один слух нелепее другого...

Как всегда бывает, когда пытаются истолковать на обычный лад святое юродство...

Знать бы, что в Вышнем Волочке, в Казанском монастыре живет Любушка, можно было бы и съездить, спросить: неужто и там, где она странствовала, тоже только говорят, а не молятся?

Теперь не спросишь уже.

Преставилась Любушка...

Жена рассказывала потом, что когда заходила к Любушке, та взяла ее за руку и долго водила так по комнате, как будто мама ребенка...

5

Ну, а мне другой момент припомнился...

На следующий день после поездки в Сусанино, собирался я в редакцию, стал рыться в карманах, а денег — ничего нет...

— Ты возьми в столе... — сказала жена.

— Как я возьму, если ты вчера последние пять тысяч из стола забрала. Давай их, я разменяю...

— А у меня нет...

— Нет?! Но ты же вроде ничего не покупала вчера...

— Не покупала...

— А те пять тысяч где? Потеряла что ли?

— Нет... Я у Любушки оставила... Ты же видел, как они живут...

Я видел, конечно...

Только и у нас эти деньги последние были.

Хотелось сказать жене что-нибудь резкое, но она так виновато смотрела на меня, что не хватило духу обругать ее.

— Ладно... — сказал я. — Займу у кого-нибудь... А там, может, за редактуру деньги подойдут...

Натянул сапоги.

Когда пальто застегивал, телефон зазвонил.

— Николай Михайлович! — раздался женский голос. — Вам надо к нам приехать, гонорар получить...

— За что?

— Вам, как консультанту, гонорар выписан...

— Да что я там консультировал? Просто поговорили...

— Я не знаю ничего... Вам пятьдесят тысяч выписано. Адрес помните?

Такой вот эпизод...

Я его про себя «Любушкиной десятиной» называю...

Индеец Кутехин

Перед ноябрьскими Серёге Кутехину приснился сон. Он был индейцем и скакал в безрадостную глубину равнинного пространства. И не было ни погони, ни перестрелки, только бесконечная, изнуряющая скачка и такая же бесконечная, заолодевшая прямо под сердцем тоска. Расстилались по сторонам присыпанные нищенским снежком поля, сбоку осталась свалка металлолома, а в другой стороне чернел облетевший осинник.

Сон не ушел из памяти, и, еще лежа в постели, Серёга усмехнулся: ну какой он к черту индеец, если всю жизнь на тракторе, и даже в детстве не садился на лошадь? Но не рассеялся с усмешкой холодок в груди. Закашлялся Кутехин и, нашарив ногами валенки, сел на кровати.

— Хреновина какая-то приснилась... — пожаловался он жене. — Понимаешь, мать, приснилось, будто индеец я... Ну и скачу, значит...

Он потер руками впалую грудь, словно надеясь растереть застоявшийся внутри холодок.

— Да ты что?! — всплеснула руками жена. — Неужто индейцем стал?! А я вчера думала, в китайское состояние превратишься. Глаза-то налил, что в разные стороны смотрели.

— Ну серьезно тебе говорю... — Кутехин взял со стола чайник и глотнул прямо из носика холодной заварки. — А вчера чего? Вчера получку давали, так что все законно, мать. Сон просто такой приснился. Скачу, понимаешь, индейцем. И такая тоска, что и сил нет. Неужто, мать, у индейцев одна тоска заместо жизни?

— Дак тебе виднее, раз ты индеец теперь у нас... В Сосновке вон, говорят, мужики нахлебались какой-то гадости, так и почернели все, будто негры.

Не любил Кутехин, когда на жену находило такое. Жалила она, язвила и не могла остановиться.

— Дура ты! — вздохнул он. — Я тебе про сон толкую, а ты пьяниц сосновских приплела. Лучше объясни: к чему такой сон привиделся, да еще перед праздниками?

— А к хотеньеву дню, наверное... — не задерживаясь, ответила жена, и от ее глухоты, от невозможности докричаться со своей тоской до самого родного человека совсем тоскливо сделалось Кутехину.

— К хотеньеву дню, говоришь? — спросил он. — Ну-ну... Может, и правда, к хотеньеву...

Кутехин посмотрел на сковородку, на которой шкворчало сало, и передумал завтракать.

— Ты куды это, не жравши?! — всполошилась жена, увидев, что муж натягивает пропитанные мазутом ватные штаны.

Но было уже поздно. Теперь уже Кутехин не хотел давать обратный ход.

— На хрена жрать! — зло ответил он. — Индейцам, может, и не положено утром жрать. Привыкать надо!

Ночью прошел снежок... Припорошил грязь на дороге, превратил в сугробчики груды битого кирпича, куски засохшего бетона... Но еще безрадостней сделалась присыпанная снегом земля. Уныло торчали из-под снега сухие палки бурьяна. Выпятился из снежной белизны покосившийся сарай, поленница дров. Тоскливо возвышалась над всем этим хозяйством кривая скворечня, в которой давно, уже которое лето, не селились птицы.

Кутехин плюнул и зашагал в сторону мехдвора.

Никто в предпраздничный день там, конечно, не работал. Механизаторы сидели в сарае мастерской и курили, обдумывая, где бы достать выпивки. Можно было, конечно, сходить к Акуле Степановне, но та драла теперь за самогонку как за настоящую водку, и ходить к ней стало накладно. Тем более что причапал в сарай и старик Летунков...

Летунков ушел с колхоза еще в конце пятидесятых. Ушел он без справки и сейчас неторопливо рассказывал про свою беспаспортную жизнь. Кутехин знал, что Летунков батрачил и в кошаре у казаха-чабана, и на винограднике у старой абхазки, — изработался совсем и, устаревший, вернулся назад в Забелье. Времена, слава Богу, изменились, и Летункову удалось даже выхлопотать пенсию, поскольку до своей беспаспортной жизни, до побега из колхоза, успел он на вполне законных основаниях повоевать и даже заслужил на фронте два ордена Славы. Определили Летункову пенсию — целых

двадцать восемь рублей. Деньги, что и говорить, немалые, но к Акуле Степановне не находишься с ними. А выпить Летунков любил... Для этого и терся возле механизаторов. Потому как хотя и очерствели сердца в развернувшейся борьбе с алкоголизмом, но окаменеть еще не успели, и наливали мужики Летункову. Не много наливали, но наливали. Уж очень жалостливо рассказывал дед про свою жизнь.

Сейчас тоже рвал Летунков сердца своих слушателей. Худой, изработанный, сидел он на старой крышке и рассказывал о своем первом хозяине.

— У его сыновья в аспирантурах учились... — слюнявя папироску, говорил Летунков. — Вот и жал он нас. Ему ж и взятки давать надо, и сыновьям на жизнь посылать. А сам работать не любил. Только водку с начальством трескал... Вот у него и постигал я свои беспаспортные права. Один раз и сказал поперек, когда тот важенок велел забить. Ну, и началась, конешное дело, наука. Приехали милиционеры якутские, связали меня и давай ногами топтать. А потом свезли на станцию и бросили. Да, ребята... Слава Богу, что не знаете вы такой жизни.

— А на хрена тебе, дед, было с колхозу бежать? — плюнув, спросил тракторист Петруха. — Жил бы здесь на законном основании.

— Ты, парень, той жизни не нюхал... — вздохнул Летунков. — Тут с голоду тогда народ пух, а на работу хуже чем в немецком концлагере гоняли. Никита Сергеевич тогда куммунизму решил построить для советского народа. Для этого и надел ярмо на русского мужика... Не, не знаешь ты, парень, этово...

— Я не знаю?! — возмутился Петруха. — Да я в армии служил. Нас по первому-то году, знаешь, как «деды» мордовали?! Ну и чего? Отплакал свое, а потом сам молодыми командовал. Тебе, дед, тоже надо было терпение проявить.

И хотя Кутехин годами недалеко обогнал Петруху, но рассердился на него за эти слова.

— Салага ты! — сказал он. — Нашел с чем сравнивать: тую жизнь и армию.

И, присев на корточки рядом с Летунковым, нагнулся, чтобы прикурить от его папироски.

— А мне, мужики, сон сегодня, между прочим, приснился... — затянувшись дымом, сказал он.

— Да ты что?! — встревоженно удивился Летунков.

— Ну... — кивнул головой Кутехин. — Приснилось, что индеец я. И скачу, значит, хрен знает куда. И так тоскливо, что хоть криком кричи, а не выкричишь.

Он замолчал и сразу почувствовал, что поняли его мужики. Молчали все. Сочувственно так молчали... Даже Петруха и тот понял. Ковырял носком сапога грязь и молчал.

— И не проходит тоска-то? — сочувственно спросил Летунков.

— Не... — ответил Кутехин. — Вона тут стоит, как будто лед положили.

И он постучал по груди.

— Тогда выпить надо... — убежденно сказал Летунков. — Тогда тебе, парень, без этого сегодня никак нельзя.

И он сделал попытку привстать, как бы показывая, что с его пенсией к Акуле Степановне не пойдешь,

а утяжелять собою компанию — не миллионеры тут собрались! — он не собирается.

— Да сиди ты! — остановил его Кутехин. — Я, мужики, заначил вчера червонец. Может, еще кто добавит, да и расколем Акулу? Чего она, солить са-могонку будет?

Дружно затянувшись табачным дымом, механизаторы зашевелились. Посыпались на ящик смятые трешницы и пятерки. Дрожащими руками Летунков собрал складчину и принялся пересчитывать деньги. Сосредоточенно следили за ним мужики, и тут, в этот волнующий момент, вдруг раздался незнакомый голос:

— А-атбой! Пельмени разлепить! Дым в трубу!

Удивленно обернулись все. В воротах стоял высокий крепкий парень в джинсах, вправленных в офицерские сапоги.

— Отбой, мужики! — весело повторил парень. — На кой вам черт мелочевка эта? Только мозги запачкаете, и все... А ежели часика два повкалываете, я вам ящик выставлю. Видите? — он вытащил из кармана бутылку водки и поднял над головой.

Чистый луч солнца сверкнул на бутылке, и она вспыхнула изнутри, как путеводная звезда во мгле холодного сарая.

— Ящик? — сглотнув слюну, спросил Петруха.

— Ящик... — усмехнулся парень. — Двадцать бутылок, мужики, ставлю.

Усмешка парня не понравилась Кутехину — какая-то обидная снисходительность была в ней.

— А что делать-то надо? — спросил он.

— Да всего чепуха работы... Три избы из Домухина надо, мужики, сюда перетащить. С вашей техникой часа за два управимся.

Словно холодным ветерком дунуло в раскрытые двери сарая. Даже Петруха, и тот отвел глаза от бутылки, узнавая парня.

Приехал этот деятель в Забелье месяца полтора назад и сразу оформил в правлении аренду на откорм бычков.

Говорили про него, что в городе он собственный ресторан держит.

Да... До сих пор об аренде слышали забельевцы только по телевизору и серьезно не соотносили ее с собой, думали, что арендаторы там, в телевизоре, и будут жить, где много чего живет, к Забелью никакого отношения не имеющего. Но не получилось...

— Чего уж... — узнав о договоре на откорм бычков, сказал тогда Кутехин жене. — Мозга у мужика, конечно, имеется.

— Мозга... — накинута на него жена. — Это у нашего председателя мозги не хватает! И дом бесплатно дали, и землю... Теперь лопатой можно гроши грести...

— А ты председателя нашего не знаешь... — усмехнулся Кутехин. — Он до обеда думает, как бы своих обжать, а после обеда — что самому украсть можно.

На этом тогда, в сентябре, разговор и кончился, тем более что новоявленный арендатор исчез, чтобы снова возникнуть в этот предпраздничный день в распахнутых воротах сарая с бутылкой в руке.

— Из Домухина? — растерянно спросил Летунков. — Так ведь там всего три избы. Хоть и не живут

в их, а все равно... Кладбище ведь... Дедка мой похоронен...

— При чем тут кладбище? — спокойно ответил парень. — Я не кладбище буду перевозить, а дома. Да вы не думайте, мужики, все на законных основаниях.

Он засунул бутылку в карман и спросил:

— Ну что? Договорились?

— Так чего уж... — как бы нехотя сказал пожилой механизатор Савушкин. — Раз у тебя с председателем договорено, то чего...

— Договорено! — твердо сказал парень, и глаза его сделались жесткими.

А Кутехина вновь охватило оцепенение.

Пока шла торговля, сидел на корточках и неподвижно смотрел перед собой, мусоля уже потухшую папироску. Не сразу даже сообразил, зачем Летунков протянул ему десятку.

— Чего уж... — отводя глаза, сказал тот. — Раз такое дело, бери назад свою заначку. Может, детям чего на праздник купишь.

И вот двинулись по подмерзшей дороге в сторону Домухина. На свежем снежке впереди четко отпечатались следы «Москвича». Как видно, с утра хозяин успел сгонять туда.

Это понравилось Кутехину, и он успокоился, но миновали заросший кустарником выгон, выехали к Домухину, и заняло сердце. Дома, что стояли здесь над рекой, были раскатаны, и возле печных труб по-свистывала поземка... Между разбросанных бревен ходили незнакомые мужики.

Давно уже не жили в Домухине, и сам Кутехин знал, что хоть озолоти его, а не пойдет он сюда жить, но все равно жалко стало. Странное было чувство. Такая вот глупость, а щемит сердце — жалко деревни.

Впрочем, не легче было и другим мужикам.

Хмуро стояли они в стороне и курили, наблюдая, как грузят незнакомые мужики на машины бревна. Чего и говорить, работать они умели. Мешал, правда, Петруха, но его прогнали, и за руль автопогрузчика сел сам хозяин.

В два часа, конечно, не уложились.

Пришлось сделать вторую ходку, кончили работу уже в сумерках... Но хозяин сверх обещанного ящика добавил еще три «сабониса», и никто не взбунтовался.

А пока загнали машины на мехдвор, уже проступили на небе редкие звездочки... Слышно было в вечерней тишине, как стучат топоры на усадьбе арендатора. Там, задавив звезды на небе, ярко горели прожекторы, и приезжие мужики торопливо складывали похожие на крепость стены будущего телятника.

— Во деловой, а! — сказал Петруха, когда выпили по первой и закурили. — Все Забелье теперь провожает. И чего только председатель думает?

— А того и думает, что сунули небось... — зло сказал Савушкин и оглянулся вокруг, словно высматривая, с кем бы сегодня подраться. Взгляд его уперся в старика Летункова. — А ты чего, дед, молчишь?

— Да ведь Домухино жалко... — ответил старик и виновато шмыгнул носом.

— Вот гадство, а! — Петруха стукнул кулаком по ящику, на котором стояла бутылка. — Ведь знал гад,

когда подъехать к нам. Все высчитал: и что после получки, и что перед праздником. Задарма, можно сказать, обтяпал дело.

— Дураки мы... — сказал Кутехин. — А на дураках все задарма ездят.

И он потер рукой впалую грудь, словно хотел растереть скопившийся там холод.

— Ладно, мужики, — вздохнул Савушкин. — Чего уж говорить теперь...

Нагнувшись, он вытащил из ящика непочатую бутылку и зубами содрал с нее пробку-«бескозырку».

— Ну что? Домухино помянем, что ли?

— Можно и помянуть... — принимая стакан, сказал Летунков. — Ишь, как повернулось — своими руками и разорили деревню...

— Не мы ее разорили, дед! — перебил его Савушкин. — До нас ее в разорение привели. Я же помню, там еще жили старики. Так они просили у председателя земли на огороды, а он не схотел, зараза. Вам, говорит, только землю дай, так вы шибко богато жить станете. И слушать никого не будете.

— Дак ведь так... — Летунков посмотрел на свой стакан и вздохнул, собираясь с духом, чтобы выпить его. — А сейчас другая установка. Сейчас наоборот считают...

— А! — очнулся от оцепенения Кутехин. — У нас все делается, чтобы не народу лучше жилось, а чтобы начальству удобнее командовать было. Не... — он отодвинул свой стакан. — Не буду больше. Не идет сегодня зараза эта.

— Это тебе, Серёга, Домухино жалко... — задумчиво сказал Летунков. — У меня самого будто комок в горле...

— А чего ее жалеть-то, прежнюю жизнь? — захохотал совсем уже захмелевший Петруха. — Вы чего, мужики? Чего в нашей жизни хорошего было, чтобы жалеть?

— Хрен его знает чего! — не ему, а самому себе ответил Кутехин. — Вроде и не было ничего хорошего, а все равно жаль.

Он встал.

— Ну, я пойду, мужики, пожалуй...

— Ты, это... — Савушкин вытащил из ящика две бутылки. — Ты долю-то свою заberi. Зря, что ли, вкалывал?

Кутехин махнул рукой, но отказываться от бутылок не стал. Засунул в карманы и молча направился к распахнутым в звездную ночь воротам сарая.

Возле переуллка, в котором находился сельповский магазин, Кутехин остановился. Вспомнил о заначенной десятке и подумал, что, правда, неплохо бы чего-нибудь детишкам к празднику купить.

Но окна сельповского магазина, несмотря на обещанную по радио предпраздничную торговлю, были закрыты ставнями, и Кутехин повернул обратно. Снова его охватило нехорошее оцепенение. Вспомнилось вдруг, как приезжала два года назад родня из города и за выпивкой двоюродный братан начал разоряться про архитектуру, ругаться, что сейчас и не разберешь, куда попал, — все везде одинаковое. Хоть на Украине, хоть и в нашей глухомани... И Ку-

техин тогда почему-то очень сильно обозлился на брата.

— А на фига нужна эта архитектура? — сказал он. — Ты в магазин к нам зайди и сразу определишь, где находишься.

— При чем тут магазин?! Я про архитектуру, голова садовая, толкую.

— А я про магазин, что ни хрена нет. Одни полки пустые! — упрямо повторил Кутехин.

Братан после драки сразу же и уехал, но Кутехин до сих пор не жалел о ссоре.

Только вот сейчас вспомнил об этом, и еще тяжелее стало.

* * *

Ночью Кутехину снова приснился уже знакомый сон. Снова переполненный жгучей индейской яростью скакал он сквозь тьму, и в руке его полыхал факел. И всё: и топот коней, и рвущийся из десятков глоток крик — сливалось в единую, бешено мчащуюся массу...

А Кутехин, вырвавшись вперед, не видел ничего, только цель, только бревенчатую крепостную стену, вставшую впереди. И, осадив у стены коня, размахнулся и швырнул вперед факел.

И, как бывает во сне, пламя сразу выросло, разбежалось по стене, залило заревом небо. А вокруг суматошно толкались кони, и Кутехин едва удержался в седле...

Кутехин открыл глаза. Его трясла жена. И лицо ее было испуганным.

— Пожар! — кричала она. — Вставай, Сережа... Деревня горит...

Кутехин вскочил. Низкие окна были залиты заревом...

В одних подштанниках, только накинув на плечи фуфайку, выскочил Кутехин на крыльцо.

— Чего горит-то?! — крикнул он пробежавшей мимо соседке.

— Да арендатора нашего, говорят, подожгли!

— Кого?! — Кутехин мотнул головой, словно отгоняя сон. — Да ты что? Нет? — и тут же вспомнил, что не к крепости скакали они, а к похожей на крепость стене телятника.

Опустив голову, Кутехин вернулся в дом.

— Ну что там? — испуганно выглянула из комнаты жена, она успокаивала проснувшихся детей.

— Арендатора подпалили... — Кутехин взял с буфета бутылку, повертел в руке и поставил на стол.

— Потушат, может... — сказала из комнаты жена.

Кутехин не ответил. Приподняв краешек занавески, выглянул на улицу. Зарево разрасталось, и на снегу в палисаднике косо лежала тень скворечни.

— Не знаю, мать, чего и делать, — сказал он. — Опять приснилось, что индеец я, ну и вообще...

— Ну чего ты? — жена вышла из комнаты и осторожно погладила Кутехина по спине. — Ну и пускай индеец... Индейцы тоже ведь как-то живут...

После праздников приехала в Забелье милиция, и молодой следователь ходил по домам, пытаясь выявить поджигателей. Подозрение падало на механизаторов, но они

все, как выяснилось, во время пожара спали у себя в постелях, и поджигателя так и не нашли, пока не заглянули в покосившуюся избенку, где жил дед Летунков.

В избе было не топлено, а на остывшей печи, мертвый, лежал хозяин. Милиционеры нашли в избе пустую канистру из-под бензина и решили, что Летунков и совершил поджог. На этом и успокоились, тем более что сам Летунков уже ничего не мог сказать в свое оправдание.

В субботу Кутехин с женой ходили на кладбище хоронить старика. Назад они возвращались вдвоем.

Снежок опять стоял, и грязно серели вокруг раскисшие поля.

Кутехин шел молча. Только чавкали выдираемые из грязи сапоги.

— А худые, мать, ноябрьские теперь стали... — неожиданно останавливаясь, сказал он.

— Так ведь худые, конечно... — вздохнула жена и тоже остановилась.

Кутехин посмотрел на нее и зашагал дальше по раскисшей дороге. Покорно зашагала за ним и жена.

А с неба, серенький, по-прежнему сеялся дождь...

1988

Следующая остановка — конечная

Все произошло мгновенно и непоправимо.

Скулов уже отчетливо различал торосы на мелководье и заледенелые корни деревьев, торчащие из

береговой кручи, когда, огибая парня в ондатровой шапке, в длинном, трепещущем на ветру шарфе, взял влево...

И тут захрустело вокруг...

Скулов подумал, что он поскользнулся, и чертыхнулся было, но отвесно вздымающийся берег накренился, словно пытаюсь сбросить на Скулова и перевернутые лодки, и вагончик, над которым весело завивался дым, — Скулов не падал, он просто погрузился в распахнувшуюся на его пути полынью.

И снова Скулов не испугался, а только пожалел, что, обходя неприятного, замotanного в длинный шарф парня, попал в такую историю, и теперь наверняка промокнет... Черт подери, что ему до этого незнакомого, вызывающе самоуверенного парня?

Скулов потянулся было к льдине, но лед разошелся под его рукой, и Скулов понял, что не надо бояться промокнуть, не нужно бояться замерзнуть — он не успеет замерзнуть... И это было последнее, что успел он подумать. Последнее, что успел сам почувствовать... Дальше все самое главное происходило как бы независимо от него...

Вначале зачем-то крутанулся в памяти занесенный снегом памятник Ленину, что стоял на пустыре перед похожим на сарай кинотеатром, мимо которого пробежал Скулов, спеша на первую электричку в метро... Потом тот увесистый подлещик, которого — не часто бывает такая удача! — он поднял из лунки... Еще возник в памяти парень в длинном шарфе, вернее, вспомнилось, как он, Скулов, спросил, где это достал парень такой замечательный титановый бур... Парень

не ответил ничего, только презрительно посмотрел на Скулова и склонился над своей лункой, словно и не слышал вопроса.

Погружаясь в воду, Скулов подумал, что нелепо вспоминать сейчас похожий на привидение памятник Ленину, глупо думать о парне в вызывающе длинном шарфе, но это не Скулов вспоминал, не Скулов думал... Это не он, уже не ощущая ничего, кроме разрывающего желания жить, выплевывая изо рта ледяную воду, бешено колотил руками, пытаясь опереться на непрочные, скользкие куски льда, плавающие в полынье, это не он рванулся смертельным криком к крохотным, черневшим вдалеке на белом поле фигуркам людей...

Скулов не слышал своего крика, не видел, и не мог ничего видеть, потому что его снова поволокло вниз, в смертельно холодную воду, но он еще раз вынырнул, в последний раз схватил ртом смешанный с водою и криком воздух, в последний раз увидел черные фигурки людей, которые хотя и бежали к нему, но странно бежали, неподвижно застыв на месте.

И, отчетливо понимая, что всё: и глоток смешанного с криком воздуха, и неподвижные фигурки людей — всё это в последний раз, Скулов даже не испугался.

Странное — такое бывает только во сне или в кино — движение возникло в нем. Стремительно понеслись назад удачи и неудачи последних месяцев, огорчения и расстройства, а вместо этого крупно, ярко и необыкновенно ясно стало видно, что все очень хорошо было в его жизни: жена, которую так сильно любил он; сын, которого до обидного мало — всего

четыре года — видел; квартира, на кухне которой так замечательно, когда теща усядется к телевизору, сидеть и пить чай из своей с шахматными фигурками на боку кружки...

Всё это: жена, сын, квартира, теща, кружка с шахматными фигурками на боку, всё было у него, а он нервничал, злился, торопился куда-то, не понимая, что ничего лучшего не будет и не может быть...

Скулов никогда раньше не думал так, но сейчас эти мысли ворвались в него, вытесняя даже страх. И такими огромными оказались они, что и жалости к себе не осталось, исчезла даже обида на внезапно подстерёгшую его смерть.

Господи! Да как же прекрасно, как счастливо он жил!

И в последнее оставшееся мгновение жизни Скулов подумал, что ничего и не надо, только выбраться из смертной пучины на самое крохотное мгновение, снова оказаться в убогом, застроенном кооперативными коробками микрорайоне, войти в квартиру и сказать, что все это — и квартира с крохотной кухней, и микрорайон, где в плохую погоду вспоминается самое неприятное, что было в жизни, — все это и есть счастье, и больше его не бывает! Да, только бы сказать это...

Скулов не почувствовал, как что-то хлестнуло его по обожженному лицу, не успел разглядеть, уходя в последний раз с головой под воду, он просто вцепился в *это*, хлестнувшее его по лицу, просто прилип к шарфу, один конец которого держал в своих руках парень в ондатровой шапке. Скулов не думал, *как* и *что* надо делать сейчас, он просто сам превратился

в продолжение шарфа и не смог разжать руки, даже когда его вытащили на лед.

Всего несколько минут провел Скулов в полынье, но ему казалось, что прошли долгие часы, и так же, как быстро выросший подросток, еще не освоившийся толком со своим большим телом, натывается на мебель в сделавшейся вдруг тесной квартире, так и Скулов, заглянувший в замороженное в полынье время, не мог соразмериться с временем, что текло наверху. По-прежнему он не мог понять, почему неподвижно застыли на белом снегу, сделавшись, правда, крупнее, фигурки бегущих людей, почему так медленно движется его спасатель — парень в ондатровой шапке.

И только, когда тот начал срывать со Скулова одежду, вынырнул Скулов из полыньи, из застывшего времени, и неподвижные фигурки людей вдруг рванулись к нему. Скулов видел их трясущимися кусками, он уже и сам лихорадочно срывал с себя одежду и снова отчаянно, как там, в полынье, размахивал руками.

А парень стащил с себя полушубок, и Скулов, не задумываясь, нырнул в спасительное тепло, запрыгал босыми ногами по снегу, несвязно выкрикивал что-то, а сбжавшиеся рыбаки тормозили его, терли снегом, кричали что-то, не понимая, что Скулов уже давно очнулся и только не может попасть в их ритм, не может соразмерить себя с обыкновенным, ровно текущим для всех временем.

— Ишь ты... — сказал мужик в одной легкой фуфайке. — Ишь, как его заколодило...

И он подтолкнул Скулова, заставляя куда-то бежать, и Скулов побежал, хотя и не понимал, куда заставляют

его бежать, он бежал, и на бегу, не проговаривая слова, кричал, что у него есть жена, есть сын, он сам живой, он будет жить и вернется в свою квартиру!

Наверное, мужичок в фуфайке не понимал его, но он подталкивал Скулова, заставлял бежать. И Скулов бежал и на бегу пытался рассказать мужику то, что мог не успеть рассказать.

Очнулся Скулов уже в вагончике, когда мужик протянул ему стакан.

Скулов послушно выпил. В стакане была водка. Вначале она клубком застряла в горле, но Скулов с усилием проглотил ее и сразу забылся, жадно ощущая вливающееся в тело тепло.

Забытьё было дремотным и долгим.

Скулов лежал на топчане, напротив гудящей, рождающей тепло печки и, закрыв глаза, видел, будто бы со стороны, как, не зажигая света, на ощупь одевается он, стараясь не загреметь, не разбудить жену, как на цыпочках выходит в коридор, засовывает ноги в валенки, накидывает полушубок и с тяжелым ящиком идет к двери, возится с замками и, наконец, выскальзывает на лестничную площадку. Здесь закидывает на спину ящик и, уже не таясь от никого, спускается по лестнице. Лампочки горят не везде, кругом сумрак, густые тени, голые прутья перил, синяя казенная краска на стенах...

И так ясно увидел всё это Скулов, так отчетливо пахнуло вьюгой в лицо, что показалось — он сейчас и спустился по лестнице и только-только распахнул дверь парадного.

Скулов открыл глаза.

Гудела, наполняющаяся теплом печка, из небольшого окошка струился свет. Тепла и света было много, даже с избытком, в этом тоже присутствовала огромность и неисчерпаемость, еще быть может и не осознанная, но уже прочувствованная Скуловым.

Приподнявшись на локте, он осторожно выглянул в окно, неясно предчувствуя, что мир не ограничен в щедрости тепла и света, а таит и другие богатства.

Так и было.

Вагончик стоял на краю обрыва. Недалеко от крылечка торчала вмерзшая в лед скомканная пачка «Беломорканала», дальше лежала перевернутая лодка, под сосной с вздрагивающими на ветру ветками стоял мужичок в фуфайке — хозяин вагончика.

— Ну и сука же ты, Бобби, хоть и кобель! — выговаривал он собаке, преданно смотрящей на него. — Ох и сука!

Дальше расстиралось белое поле с чернеющей посреди него полыньей.

Скулов торопливо отвернулся от ударившей по глазам черноты, снова сполз на топчан к струящемуся от печи теплу...

Бесконечно долго можно было лежать так и думать.

Раньше Скулов тоже думал о жизни, но у него постоянно не хватало времени, он всегда торопился, и только сейчас, после полыньи, понял, что понять, *как* и *зачем* он живет, — самое важное. Куда важнее и неотложнее, чем самые спешные, связанные с продвижением по службе дела.

И, пытаясь восстановить остроту и огромность своей мысли о счастье человека, Скулов закрыл глаза, шаг за шагом повторяя утренний путь.

Утро закончилось бесконечно давно, но удивительно — и из такого далека Скулов отчетливо помнил, как вышел из квартиры и в ядовито-синем свете на лестничной площадке вскинул на плечи фанерный ящик; помнил, как брел напрямик через пустырь, посреди которого стоял похожий на сарай кинотеатр, а возле кинотеатра — всегда неожиданно встающий на пути, как добрый молодец из подворотни, — памятник Ленину. Из-за кинотеатра дул темный с колючим снегом ветер, возле валенок змеилась серая позёмка...

Пробираясь через пустырь, Скулов, все еще ёжась после памятника, — ну зачем? зачем его оставили такого, словно он с тебя шапку сорвет или вообще зарежет? — подумал, что сейчас с разных концов города двинутся сквозь темную вьюгу такие же, как он, неповоротливые от тяжелой одежды люди с фанерными ящиками за спиной.

Скулов отчетливо помнил, что от этой мысли стало как-то спокойнее. Неужели уже тогда ощущал он опасность притаившейся и поджидающей свою жертву полыньи, и оттого, что людей, из которых должна была полынья выбрать жертву, так много, опасность уменьшалась?..

А что? Может, и так. Ведь были, были предостережения...

Когда открылось метро, и все рванули внутрь, он не успел забросить за плечи фанерный ящик, и в

турникете его защемило, лязгнув, больно ударили по ноге заслонки — его не пускали, метро не пропускало его к полынье. И очень даже может быть, что Скулов, пока, ожидая электрички, топтался на платформе среди неуклюжих с фанерными ящиками рыбаков, уже тогда думал об этом.

Ну конечно!

Ведь и жена вчера упёрлась, не пуская его на эту рыбалку. А почему? Вот в чем вопрос! Это ведь тоже не случайно. Это ведь тоже предостережение, просто утром он *не так* понял его.

Но сейчас, впитывая в себя печное тепло, Скулов перебирал знаки, явленные по дороге к полынье, и ему было приятно, что о нем так заботились.

Предостережений было много, пожалуй, даже слишком много... И бур сломался ни с того ни с сего — это тоже был знак!

Скулов уже не чувствовал себя таким бесконечно одиноким, как там, в черноте полыньи. Вся эта жизнь, весь мир были наполнены неясным значением, которое хоть и нельзя постигнуть, но можно почувствовать, если не спешить, если не бежать вперед сломя голову. Или... Или, может быть, не замечая столь явных знаков, остерегающих его, подсознательно руководствовался Скулов другой, болсе высокой целью — шел к полынье вполне сознательно, ибо только там и мог понять смысл жизни, смысл существования...

И снова Скулов словно бы задремал, погружаясь в бесконечность открывшейся мысли, а очнулся, когда громко заговорили на улице.

— Ну как там крестник мой? Оклемался?

— Спит... — отвечал недовольный голос, бранивший недавно собаку. — Вот ведь кобель у меня сука, а? Всю веревку на санках изгрыз!

— Плюнь. Как говорится, наши все равно победят. Можно посмотреть-то на крестника?

— Смотри. Не убудет небось от него... — ответил недовольный голос. — Ох и Бобби. Ну и сука же ты, хоть и кобель.

Дверь распахнулась, и вместе с облаком морозного белого воздуха в вагончик втиснулся парень в ондатровой шапке. Озорные глаза остановились на Скулове.

— А! Да ты и не спишь, оказывается?

— Не сплю... — Скулов сел на топчане. Улыбнулся.

— Ну и правильно... — парень снова открыл дверь и выглянул на улицу. — Михалыч! Ты что, надеешься, что Бобби тебе родит веревку? Сам же говоришь, что кобель он...

Захлопнув дверь, парень прошел к столу и, поставив на него свой ящик, открыл его.

Хмурый, вошел в вагончик хозяин — мужичок в фуфайке. Хмуро взглянул на Скулова, но тут же лицо его просветлело — парень вытащил из ящика и поставил на стол бутылку водки.

— Искусство жить — это умение пить с перспективой! — сказал парень, подмигивая Скулову. — Ты чего, крестник, там сидишь? Давай двигайся к столу.

Вначале Скулову показалось, что, если он выпьет сейчас, то его мысли могут погаснуть, и он подумал, что не

надо бы пить, но парень смотрел так дружелюбно, а Михалыч так добродушно хлопотал возле стола, выставляя кастрюлю с картошкой, миску с огурцами, сковородку с жареной рыбой, что невозможно было отказаться...

Парень уже разлил водку по стопкам.

— Как я его, Михалыч, вытащил, а? — сказал он, улыбаясь. — Я и сам не понимаю, как про этот шарф вспомнил. Прямо осенило вдруг. Ничего нет под руками, а ты уж тонешь совсем. И вдруг шарф! А! Наши все равно победят.

Чокнулись и выпили.

Выпил и Скулов. Не имел права не выпить. С мыслями ничего не стало. Все они остались, никуда не исчезли. Даже еще как бы значительнее сделались.

— Спасибо! — сказал он. — Спасибо, мужики. Это ж ведь черт знает что такое. Я уже и с белым светом простился... Спасибо.

Нужно было как-то иначе сказать это...

Скулов сразу почувствовал. Тон был правильный, смысл правильный, а слова... Слова не те. Но мужики промолчали уважительно.

— Чего тут говорить... — вздохнул Михалыч. — Дело такое.

— Ну! — поддержал его парень. — Еще чуть-чуть, как говорится, и Сталинград наш. Поехали, что ли?

И он снова наполнил стопки.

— Нет... — сказал Скулов, понимая, что лучше бы и не трогать это, но как же так — не говорить? Как же промолчать, если в нем происходит такое?

— Нет! — повторил он. — Я вот думаю, такой ведь, понимаете ли, день. Знаете ли, как я утром уходил?

Свет не зажигал, в одних носках на лестницу выскочил, чтобы жену не разбудить...

— Не пускала, что ли?

— Не пускала, мужики. Вечером просто истерику закатила, что я на рыбалку собрался...

— Они все такие... — разбирая плотичку, проговорил Михалыч. — Баба — она как старшина в армии. Ты ей и на хрен не нужен, а все равно — стой у тумбочки на всякий случай.

— Да нет, мужики! — сказал Скулов. — Вы не поняли меня. У меня жена что надо. Мы пять лет вместе уже, и вы не поверите, но я и сейчас ее люблю. Ей-богу! И покладистая она. Никогда слова поперёк не скажет. Просто, что я хотел сказать, чувствовала она беду, вот в чем дело! Это мы с вами твердолобые, а бабы нет. Баба, когда любит, она все наперед чувствует, а ума нет, вот и не может сказать, чего психует. Нет, мужики... Вы кем угодно меня считайте, а мне это большой урок. Я ее теперь всегда слушать буду.

— Ну, так что? — промолчав, сказал парень. — За твою жену, что ли? Раз она такая у тебя, то можно и выпить.

— Да... — согласился Михалыч. — Бывают женщины. Что же говорить? Если у тебя нет, это не значит, что их вообще не встречается.

Он прикрыл глаза и выпил.

— А кем ты работаешь? — роясь вилкой в сковородке с рыбой, спросил парень.

Спросил небрежно, как бы между делом, как бы невзначай, показывая, что ради такой чепухи, ради такого пустяка не стоило и прерывать интересный

разговор о настоящих женщинах, которые не только в беде тебя не бросят, но и сами, глядишь, еще отведут от тебя беду. И конечно, не смотрел он на Скулова, рылся в сковородке с рыбой, показывая, что если Скулов не хочет отвечать, и не надо.

Но потому, что он спросил невзначай, между делом, и почувствовал Скулов — нельзя, никак нельзя признаваться, что работает он инженером, ну пусть не простым инженером, а начальником лаборатории, но все равно не звучало это, принижало, и принижало не самого Скулова, а его необыкновенную жену...

— В одном совместном предприятии работаю... — небрежно и тоже как бы между делом, как бы показывая, что никакого это значения не имеет, ответил Скулов. — Заместителем директора.

Он тут же и пожалел, что соврал, нельзя было врать сегодня даже и между делом, нехорошо было кривить душой, хотя... хотя, если разобраться, — парень быстро посмотрел на него, и чувствовалось, что взгляд его стал внимательнее, пристальнее — ну да, если разобраться, то никакой неправды в словах Скулова не было.

Они уже несколько раз выполняли договорные работы для шведов, и давно уже ходили разговоры, что пора на базе хиреющего НИИ создать совместное предприятие... Ну, а поскольку при такой реорганизации неизбежны кадровые подвижки, то вполне возможно, что как раз он, Скулов, и станет замом по науке. Это вполне реально и, кстати, разговор такой уже был. Не официальный, конечно, но вполне серьезный... Так что все нормально. Никакого вранья тут нет.

А впечатление это произвело... Как-то уважительно притихли мужики. Да... Может быть, и не нужно было говорить, но ведь и парню не нужно было спрашивать. Пока не спросил, сидели они как люди, а спросил, и сразу получается, что вроде он и не человека спас, а обыкновенного инженера. Какое-то обесценивание сразу получилось.

Что же, рассказывать, что ты простой инженер? Нет, правильно Скулов ответил, тем более что все это самая настоящая правда и есть. Ну, пусть не сейчас, пусть в будущем... Какое это имеет значение?

— А что, мужики? — чувствуя себя уже утвержденным заместителем директора совместного предприятия, спросил Скулов. — Может, разольем это, да и подскочим ко мне. Отметим, так сказать, мое возвращение с того света?

— А что у тебя дома? — быстро взглянув на Скулова, спросил Михалыч.

— Дома-то? — спросил Скулов. — Дома, мужики, дом у меня...

Вот так он ответил, сам не понимая, как это он сумел так здорово ответить. А главное, что точно ответил. Дело ведь не в том, чтобы достать бутылку или две. И не в том, где и кем ты работаешь. Нет... Все это, как говорится, фигушки-завитушки. Есть и поважнее вещи, настолько важнее, что все остальное по сравнению с ними — пыль, чепуха.

И тут-то увидел Скулов, что и Михалыч, и парень всерьез поверили ему. То есть они поверили сразу. Сегодня все они, что ни говори, а были выше повседневной обыденности, и унизиться до подозрительности

или недоверчивости просто не могли. Это значило бы перешагнуть через что-то самое главное... После того, что случилось сегодня, нельзя обманывать... По крайней мере, сегодня нельзя. Но все-таки по-настоящему мужики поверили ему только сейчас.

— Ну так что? — в упор, глаза в глаза, спросил Скулов у Михалыча. — Поедем?

— Ну поедем, коли действительно приглашаешь... — ответил тот. — А что, Серёга? Давай посидим с товарищем. Когда еще снова-то свидимся?

— Поехали! — парень улыбнулся. — Мне чего? Я человек вольный.

Со Скуловым всегда так бывало.

С незнакомыми людьми он мялся, путался в словах, но стоило только компании проявить к нему внимание, — и откуда только что бралось? — Скулов становился разговорчивым, умным, все понимал и все чувствовал, а главное — умел проявить это и высказать.

И сейчас, чувствуя, что собеседники внимательно слушают его, Скулов говорил. Говорил о том, что молодость — это готовность в любое мгновение начать строить свою жизнь заново, а как только человек выучится, обзаведется семьей, пристроится — молодость кончается, потому что на все это и уходит большая часть жизненной энергии... Но так и должно быть, и это по-своему прекрасно. Зачем горевать о том, чего у тебя нет? Нет... Надо радоваться, что у тебя так много всего есть. Просто в обыденности, в суете мы привыкаем к тому, что имеем, перестаем ценить и, только потеряв, понимаем, *что* потеряли...

Скулов говорил и сам чувствовал, что если не в словах, то хотя бы в интонации ему удастся выразить то главное, что он сегодня понял. Он видел, что собеседники понимают его и даже чуть-чуть завидуют, но не так, как завидуют начальнику, например, или какому-нибудь «прушнику», а просто, как счастливому человеку. Очень сочувственно завидовали они, и от этого Скулову становилось еще уютнее в их компании...

И если он и придумывал что, вернее не придумывал, а малость забывал, то ведь он сам искренне не помнил того плохого, что все-таки было в его счастливой жизни, и только когда электричка остановилась у платформы Финляндского вокзала и все пассажиры, как-то сразу посерев от привычной торопливости, устремились к выходам, Скулов вдруг с ужасом почувствовал, что бесконечно далеко остались мысли и ощущения, которые возникли в нем *там*, в полынье.

Сообразив это, он замолчал так внезапно, что напугал спутников.

— Володька! — воскликнул Серёга. — Что с тобой, Володька? Сердце, что ли?

— Сейчас пройдет... — ответил Скулов и потер грудь, словно у него действительно заболело сердце.

Давно погас свет в вагоне.

Огни с перрона жиденько растекались по пустым скамейкам, тускло отсвечивали на металлических скобах. Друзья чуть поддерживали Скулова, когда он выходил из вагона. Поддерживали очень деликатно, как бы и не поддерживая при этом, а просто оберегая товарища, чтобы его не толкнули невзначай. И шли они нарочно медленно, не давая Скулову торопиться.

Хотя, наверное, и они почувствовали, как размывается в вокзальной толкотне и обыденности то, что там, на берегу залива, казалось самым главным и важным.

На эскалаторе в метро Сергей вдруг стащил с себя ондатровую шапку и, повертев в руках, спросил, стараясь не смотреть на Скулова:

— А может, мы разбежимся, мужики, а?

И Скулов, который тоже сейчас хмурился, не умея удержаться в этом потоке людей на самом большом и главном, и который тоже сейчас думал, что самое лучшее — разбежаться, вдруг понял, что если он промолчит, если они «разбегутся», то тогда и пропадет навсегда главное, и уже и самому не поверить будет в то, что произошло с ним сегодня на рыбалке.

Он сам поможет обыденности победить, затоптать в своей душе то главное, что есть — а это есть! есть! он твердо теперь знает, что есть! — в человеке...

Усилием воли подавив малодушное желание «разбежаться», Скулов укоризненно сказал:

— Ребята... Что вы, в самом деле?

Но хотя он и сказал так, неуверенность не рассеялась.

Более того, когда, миновав пустырь с похожим на сарай кинотеатром, подошли наконец к дому, Скулова охватило смятение.

Что-то невпопад отвечал он друзьям, поддерживая разговор, а сам во все глаза смотрел по сторонам и ничего не понимал: ничего не изменилось, все осталось таким же, каким было... Так же подстерегал на пустыре одиноких прохожих памятник, так же

кричали на катке дети... Вот какой-то мальчишка прокатился мимо на финках и прошуршали по мокрому крошеву льда металлические полозья... Женщины с разбухшими продуктовыми сумками прошли по тротуару...

А во дворе сосед Егорычев так же, как каждое воскресенье, выбивал ковры, и гулкое эхо разносилось между домами.

Увидев Скулова, Егорычев прервал работу.

— Ну как рыбалка, сосед?

— Нормально... — ответил Скулов и испуганно оглянулся на спутников, понимая, что *так* нельзя говорить, что *это* и есть предательство того, что было сегодня.

Но спутники и сами чувствовали себя неудобно и не заметили, или сделали вид, что не заметили, промашки. Провожаемый недоуменным взглядом Егорычева, Скулов провел друзей к парадному.

— Вот и пришли... — облегчённо проговорил он.

Глупо было объяснять на улице, что случилось, а здесь, дома, не только можно было объяснить, но просто необходимо. Здесь был дом Скулова, тот дом, который он вспоминал *там*, в полынье, когда уже и надеяться перестал на спасение.

В дверь Скулов, хотя у него были свои ключи, позвонил.

Это была ошибка, потому что открыла теща.

Открыла дверь и, как всегда — о, это она умела! — не посторонилась, чтобы пропустить Скулова, а встала прямо в двери, разглядывая его спутников.

— Познакомьтесь, Александра Григорьевна... — с трудом сдерживая себя, сказал Скулов. — Это мои друзья...

— Я вижу, вижу, какие это друзья! — не уходя из дверей, сказала теща, и Скулов, чтобы освободить наконец проход, чтобы прекратить гнусную и унижительную сцену, устраивать которые такая мастерица была теща, шагнул прямо на нее.

— Кто пришел, мама? — раздался из кухни голос жены, и Скулов заторопился туда, чтобы ей, родной и любимой, рассказать и то, что он думал в полынье, и то, что он чувствовал, пока добирался до дома... Жена бы поняла все, но Скулов не успел рассказать. Его опередил голос тещи, раздавшийся из-за спины:

— А ты иди, иди сюда, Люсенька! Полюбуйся сама. Еще и дружков привел, пьяниц!

Навстречу Скулову, на ходу обтирая тряпкой мокрые руки, выбежала из кухни жена.

— Напился?! Опять напился, да?!

Слова ее ударили в Скулова, оглушая его.

Он остановился, он все еще улыбался, но улыбка тоже сделалась ненужной, просто Скулов позабыл про нее, и она бессмысленно, по-пьяному, блуждала по лицу.

Скулов ничего не мог понять.

Он не слышал, что кричит из-за его спины теща, он просто смотрел, как размахивает тряпкой жена, и ничего не мог понять. И когда почувствовал, что тряпка больно шлепнула его по лицу, уже окончательно позабыл обо всем. Вырвав из рук жены тряпку, швырнул ее на пол и, круто повернувшись, шагнул к комнате.

Не видя ничего, сгрёб с полки серванта книги. Книги посыпались на пол, но Скулов не видел и этого. Выхватил из второго ряда книг третий том собрания сочинений А.П. Чехова, в котором хранил — полгода назад тайком от жены и тещи он начал откладывать на машину — деньги.

Что-то кричала жена, но Скулов оттолкнул ее и, не обернувшись: куда она упала — выскочил в коридор.

— Пьяницы! — кричала вслед теща. — Чтоб вы подошли все, алкоголики несчастные!

Своих спасителей Скулов догнал уже внизу.

— Постойте! — задыхаясь от бега, крикнул он.

Сергей оглянулся на него, и Скулов поразился — снова глаза его были такими же холодными и равнодушными, как утром, когда он спросил у него титановый бур.

— Бывай, крестник! — сказал Сергей, неприятно улыбнувшись. — Возвращайся домой и не глупи.

— Да вы что, мужики! — отчаянно закричал Скулов. — Я же свои деньги взял. Что вы, зря что ли, ехали?

Сергей явно хотел уйти. И он ушел бы, но Михалыч затоптался возле парадного.

— Куда сейчас идти? Поздно уже... Небось никуда и не пустят в нашем обмундировании...

— Есть куда идти! — твердо сказал Скулов.

Всё исчезло в нем. И мысли, которые возникли в нем сегодня, и даже сожаление о том, что они исчезли. Ничего не было.

Ну и пусть. И не надо. Скулов чувствовал только ожесточение. Такое бывало с ним. И всегда, когда на-

ходило это ожесточение, все получалось. Движения, действия Скулова становились твердыми, безошибочными. Вот уж, подумаешь, проблема — взять водку.

Он уверенно шагнул к соседу, выбивавшему ковры.

— Егорычев! Тут такое дело. Выручай.

Какое дело — Егорычев не стал спрашивать. Взял у Скулова сто рублей и кивнул на свой гараж.

— Идите туда. Там открыто!

И, размахивая на ходу пластмассовой выбивалкой, не спеша зашагал к дому.

Через пять минут он вошел в полутемный, освещенный слабой лампочкой гараж, с хозяйственной сумкой. В сумке оказались три бутылки водки, несколько банок консервов, круг варено-копченой колбасы и буханка хлеба и несколько яблок.

— Хоть бы стаканы захватил, отец... — усмехнулся Сергей, наблюдая, как выкладывает Егорычев это добро на ящик, стоящий в углу гаража.

— Стаканы на месте, — скупно ответил Егорычев. Он аккуратно закрыл сумку. — Ну, вы отдыхайте здесь, а мне ковры надо домой затащить.

По первому стакану выпили молча, каждый посвоему отходя от пережитого на квартире Скулова разочарования. Скулов тоже выпил, хотя и знал, что, когда на него находит такое ожесточение, водка все равно не поможет, не возьмет. Обычно Скулов сразу и внезапно проваливался в темную бездну и, что было дальше, уже не помнил.

Мужики же, выпив, помягчили.

Вытащили сигареты и закурили. Сергей протянул свою пачку Скулову. Тот не курил, но дрожащими пальцами взял сигарету, неумело раскурил ее.

— Хорошо сидим! — сказал Сергей и подмигнул Скулову. — Ладно. Хватит тебе. Все путём.

— Путём? — переспросил Скулов.

— Ну! — сказал Сергей. — А что?

— Не дергай ты его... — проговорил Михалыч. — Пусть посидит, отойдет...

И хотя они говорили дружелюбно, Скулов почувствовал вдруг тихое раздражение...

Что путём?

Что могло наладиться, если он не нужен даже жене, если даже она не могла понять его, если даже ей не нужно то главное, что есть в нем.

Не-ет... Ни фига не наладится. Нет!

И он с ненавистью взглянул на своих спасителей.

Михалыч, не дожидаясь приглашения, снова наполнил стаканы по половинке. Выпили, заговорили о чем-то своем, о каких-то моторках, словно Скулова и не было рядом.

А он был. Он сидел тут же. Чуть наклонившись вперед, зачем-то напряженно вслушиваясь в разговор.

— Нет! — мотнув головой, вдруг сказал он. — Нет, ребята. «Пэлла-фиорд» лучше.

Зачем он сказал это, Скулов и сам не знал. Просто, раз спорили о моторках, он должен был что-то сказать. А из лодок он слышал только про пэллу-фиорд.

Спасители удивленно посмотрели на него, замолчали, и тогда Скулов начал торопливо убеждать их, что лодка «Пэлла-фиорд», конечно же, лучше.

Сам Скулов, правда, никогда не имел такой лодки, даже не видел ее, но она была у Валерия Петровича Сурова, и Валерий Петрович очень даже хвалил свою лодку, а Валерию Петровичу Скулов верил.

Разумеется, он не сказал об этом своим друзьям.

Зачем? Он просто очень подробно, хотя и путано, пересказал им то, что слышал от Валерия Петровича.

— А ты сам-то видел эту «Пэллу-фиорд»? — нехорошо усмехнувшись, спросил вдруг Сергей.

— Я?! — возмутился было Скулов, но тут же замолчал.

Он знал за собой эту нелепейшую черту.

Он запоминал что-то, что говорили ему, или он случайно слышал, а потом, привыкнув к чужому мнению, полностью усваивал как свое и яростно отстаивал.

Это было глупо и даже неблагоразумно, потому что, если поразмыслить, мысли и мнения, которые он отстаивал, иногда были противны ему самому. И часто, очень часто он попадал впросак из-за этой дурной привычки, в весьма щекотливых положениях оказывался, но избавиться от вредной привычки не мог. Особенно часто залетал он, когда начинал вдруг хвалить книгу, которую не читал, но слышал от кого-то, что книга хорошая. Сегодня залетел вот с этой «Пэллой».

Он поднял глаза на Сергея.

Неприятно улыбаясь, тот смотрел на него и ждал ответа.

— Ты-ты...! — сказал он.

— Слушай... — сказал Скулов. — Слушай... Ты зачем меня спас, а?

Но парень не растерялся.

Не дожидаясь никого, плеснул себе водки в стакан и выпил.

Михалыч упреждающе положил свою ладонь на его руку, но парень был спокоен.

— Зачем? — спросил он раздумчиво. — А хрен его знает зачем...

Михалыч, не удержавшись, хрипловато засмеялся.

— Ладно, мужики! — сказал он. — Только не заводиться... Не для того мы к тебе тащились, чтобы мордобоем заниматься в чужом гараже... Ша! Давай допьем, и мне к себе попадать надо, у меня там Бобби некормленный.

Скулов смотрел, как разливает Михалыч водку, и как-то очень трезво думал, что вот еще недавно в вагончике на берегу ему было так хорошо, а сейчас...

Но как-то странно эта трезвая мысль уживалась в нем с пьяной, распирающей его злостью. И если там, в вагончике, он чуть-чуть привирал, стараясь показаться значительнее, то сейчас ему, наоборот, хотелось показаться еще ничтожнее, чем он был на самом деле.

— Морды ни к чему бить... — трезвым голосом сказал он и, повернувшись к парню, добавил: — Только и ты со мной не мудри. Я тебе это прямо скажу. Я ведь простой инженер. У меня что внутри, то и снаружи. Чего мне скрывать?

И он приветственно поднял свой стакан.

Сергей пожал плечами, но промолчал. Как только выпили, сразу и поднялись.

Скулов, хотя и уговаривали его вернуться домой, отправился провожать друзей до метро.

Правда, непонятно было, кто кого провожает. Как и на перроне Финляндского вокзала, Михалыч и Сергей шли с боков, только теперь уже не предохраняли Скулова от нежелательных толчков, а, вцепившись под руки, не давали ему упасть.

А хмель уже всю разбушевался в Скулове, и он долго и путано объяснял, что, когда корабль уходит в плавание, его обматывают проводами... Зачем? А затем, чтобы с правильного курса не сбивался. Ясно?

Всем было ясно.

Но Скулов не понимал: зачем живет человек? И Михалыч втолковывал, что вообще-то человек живет только для того, чтобы родить сына, дочь, чтобы дальше продолжалась жизнь, и что Скулов ее правильно прожил — у него ведь есть сын, а может, и еще кто родится... Так что не надо самому себя грызть на закуску...

— Да нет! — кричал Скулов. — Я не об этом. Понимаешь, мы все ужасно боимся смерти. Ты умираешь и всё, тебя нет. Ты был, и вдруг тебя нет. Понимаешь? Есть только пшик, а не жизнь! Понимаешь? Ведь это страшно! Страшно!

— Ну ты, парень, даешь... Ты уж больно много о себе думаешь. Ежели так сильно себя ощущать, любому страшно станет... — сказал Михалыч и даже отпустил, чтобы объяснить это, руку Скулова.

Скулов сразу же поскользнулся и упал, а сверху на него свалился Сергей. А пока поднимались, Скулов как-то и позабыл, что стоят они на пустыре возле кинотеатра и как раз напротив — памятник. Черт знает,

то ли его поставили неудачно, то ли он задуман был так, но всегда Скулову казалось в первое мгновение, когда он видел памятник, что тот сейчас или по уху даст, или, того хуже, — шапку отберет... Но сейчас они были втроем, и Скулов не испугался, наоборот, озлобился вдруг и рванулся к памятнику, и друзьям силой пришлось оттаскивать его.

И это было последнее, что еще помнил Скулов. Все остальное возникало кусками.

Куда-то пропали спасители, Скулов сидел на скамейке и пересчитывал деньги, а рядом сидел какой-то мужичонка и бубнил, что знает верную квартиру, где и выпивка есть, и вообще хорошо. Скулов пересчитывал деньги и подозрительно смотрел на мужичка, но лица его никак не мог разглядеть, словно у мужичка и не было лица.

Вообще не понятно, что было... Была какая-то квартира с огромным замусоренным коридором, кому-то давал Скулов деньги, и пили, действительно пили водку, но сколько ни присматривался Скулов, лиц окружающих не различал, потом ему надоело все, и он решил уйти, вспомнив вдруг, что, наверное, дома уже все легли и он может сесть на кухне и пить холодный чай из своей кружки с нарисованными на ней шахматными фигурками. Очень хотелось чаю, и Скулов встал, но его не пускали, и Скулов очень долго убегал, его догоняли, он прятался в подъездах и снова убегал, бежал мимо незнакомых, чужих домов, а потом очнулся вдруг в метро.

Вагон был пустой, только в дальнем конце его толпилась у дверей какая-то компания.

Скулов очнулся как раз в тот самый момент, когда звучал записанный на пленку голос: «Граждане пассажиры! У нас принято уступать места женщинам, инвалидам и пассажирам с детьми...»

— Где женщина?! — изумленно закричал Скулов, уставившись мутными глазами на пустое сиденье напротив. — Я ей жизнь уступил, а вы говорите, место!

Но уже отзвучал записанный на пленку голос. Никто не ответил Скулову, только в компании, толпившейся у дверей, загоготали все, нехорошо поглядывая на Скулова.

И всё. К следующей станции мчался пустой вагон.

— Следующая станция — конечная! — прозвучал из динамика голос. — Дальше поезд не пойдет. Просьба освободить вагоны.

Вьюга

В воскресенье бабка Роза решила сбродить на кладбище.

С утра протопила печь, поела картошки с солеными грибами и, облачившись в фуфайку, а сверху — обмотавшись платком, вышла во двор.

Мороз немного ослаб, задувал ветерок, но небо по-прежнему было синим, чистым.

Во дворе у соседей трещала бензопила «Дружба». Это сосед Фёдор в одном пиджаке пилил замерзшую лосиную ногу. Сыпались на снег кровавые опилки.

Увидев бабку Розу, Фёдор заглушил пилу и, поставив ее на утоптаный снег, поздоровался.

— Далёко ли собралась, тёта?

— Старика проводить хочу... — ответила бабка. — Как он один там?

Фёдор похлопал себя по карманам, вытащил папироску и закурил.

— Погода сегодня не нравится чего-то... — сказал он. — Не вьюга ли будет?

— Может, не завьюжит? — глядя на синюю, несущуюся по верхам сугробов позёмку, вздохнула бабка Роза. — Снегом-то занесет кладбище, дак и могилку не найти станет...

— Это да... — Фёдор глубоко затянулся дымом, потом швырнул на кровавой снег папироску и нагнулся к пиле. Дернул за ручку стартера, и из-под зубьев цепи белой струйкою брызнул снег.

Фёдор что-то сказал, но за ревом мотора бабка Роза не разобрала.

Она полюбовалась, как легко, словно коробку спичек, поднял Фёдор пилу и, держа ее на весу, валенком поправил на козлах лосиную ногу, и вздохнула.

Ее-то старик тоже с бензопилой ходил. Он даже и папироску не выплевывал. Сам пилит, а папироска из рта торчит.

Огибая высокий сугроб, наметённый посреди огорода, бабка пробралась к забору и, отвернув прясло, вышла на пустырь. Проваливаясь в снегу, побрела к дороге.

По обеим сторонам шоссе, за лесопосадками, сиротливо белели поля, а сам поселок, опутанный проводами, остался в стороне.

С дороги бабка Роза видела только белые, занесенные снегом крыши да серые, утонувшие в сугробах заборы... Печи в домах уже протопили, нигде не видно было дымов, и поселок с дороги казался неживым...

А поземка здесь, на открытом ветру пространстве, сделалась сильнее, слышно стало, как, серая, шуршит она по сухому снегу.

Бабка Роза вспомнила вдруг, как бегала в Семёновку в кино, когда гуляла в девках...

Только дороги этой не было тогда...

Зато сейчас и Семёновки нет.

Осталось от деревни одно кладбище, а центральная усадьба теперь у них в поселке... И снова сама бабка Роза в поселке живет, а ее Петрович — там, в Семёновке, из которого бегал он к ней, бывало, каждый вечер... Только теперь не придет уже больше он навестить свою зазнобушку, никогда не придет...

Мысль об этом промелькнула сама собою, но как-то даже жутковато стало на пустой дороге.

Бабка Роза ускорила шаги, и сама не заметила, как отмахала два километра по шоссе. У столба с оторванным от него указателем — только уголок синего железа торчал из-под снега — свернула направо, забирая к реке.

Там и была в прежние времена Семёновка...

С трудом поднялась бабка Роза на обледенелый пригорок.

Сухим снегом сыпануло в лицо — здесь, у реки, завиваясь в клубы, уже гуляла настоящая метель,

и черный зареченский лес мутновато затягивало снеговой пеленой.

Дорогу к кладбищу тоже перемело сугробами и, хотя и не боялась бабка Роза потерять ее — каждая травиночка, каждый бугорочек, каждое деревце знакомо тут, а все равно облегченно вздохнула, когда увидела чуть в стороне за кладбищенской оградой — она-то к могиле Петровича напрямик заходила! — двух мужиков.

И хоть и не очень далеко было, а не стала разглядывать, заметила только, что один так вроде знакомый. И полушубок с красной заплатой на рукаве где-то она видела, и подшитые валенки с черной кожаной пяткой тоже показались знакомыми, и шапка рыжая...

Вот только лица не разглядела...

Можно было, конечно, подойти, поздороваться, да не сообразила сразу, а возвращаться назад показалось неловким, так и прошла мимо, напрямик к своей могилке...

Но все равно спокойнее на душе стало. Все-таки не одна на кладбище...

Большое кладбище теперь в Семёновке...

Вокруг поселки, деревеньки хиреют, одно только кладбище разрастается вширь и вглубь... Месяц не сходишь на могилку — а тут уже столько новых носилок из земли торчит, и только ветер гремит в жестяных венках...

А один раз, когда в больнице три месяца провалялась, думала и не найти будет свою могилку. Но тогда три с лишком месяца прошло, а сейчас-то чего?

Прошла раз, прошла другой...

Да что ж это такое-то? Куда это подевалась с простым деревянным крестом могилка, где ее Петрович лежит... Нешто у мужиков тех дорогу к могиле спрашивать идти?

Да уж... Подумают еще — от толку ли старуха-то будет? Особенно тот, знакомый, в полушубке с красной заплатой на рукаве, как у ее Петровича...

И подумать не успела до конца бабка Роза, а уже обомлела вся... Подкосились ноги... Схватилась за березку, чтобы не упасть.

Страх-то какой, Господи!

Ведь и полушубок с заплатой на рукаве, и валенки подшитые, и шапка рыжая — Петровичевы были. И человек в них сутулился, как Петрович... И папирску, как Петрович, смолил...

И верила и не верила бабка Роза в смертные страхи.

Девчонкой еще, замирая от ужаса, слушала рассказы городской подружки про три розы, что росли в саду... Красная роза росла, желтая и белая. А мать уходила на работу и предупредила дочку: «Не ломай розы, а то упадешь»... Но пошла дочка играть в сад и сломала желтую розу. И тут же упала... Пришла мать — худая вся, с трудом подняла дочь с земли. А на следующий день сломала девочка белую розу... А мать уже здесь — желтая вся, худая, как скелет. «Ты зачем, доча, сорвала белую розу?» Но сорвет девочка и красную розу и увидит гроб, и в гробе мать, и встает мать из гроба...

И сама тогда в ответ рассказывала, как летом бежали они по лугу и вдруг увидели девочку, которая уже месяц как умерла. Но детишки малые — что тогда понимали? — играли с ней и окликали по-прежнему, а когда пришла мать девочки на пригорок, превратилась девочка в клочок сена, который и унесло ветром по лугу...

И верила Роза, и не верила...

И когда про розы слушала, и когда про девочку рассказывала, не знала даже, то ли было это на самом деле, то ли от других, от старших ребят услышала историю...

А теперь на старости такой страх...

Сама не зная зачем, замирая от страха, двинулась бабка Роза к тому месту, где мужики стояли.

Только не было уже никого там.

«Привиделось... — подумала бабка Роза. — Примерещилось. Надуло глаза ветром, вот и примерещилось...»

И тут же увидела на снегу следы. И тут же окурок папироски с мундштуком заломленным, как Петрович заламывал, на снегу лежит и вроде как и дымится еще...

Не помнила бабка Роза, как бежала к реке от кладбища, как, путаясь в сугробах, выбиралась на шоссе, как по шоссе летела сквозь вьюгу, словно ее ветром несло.

И только когда добралась до отвёрнутого прясла, тогда и опаматовалась... Вспомнила, что даже и не перекрестилась тогда, и наложила на себя крестное знамение...

Сразу и страх развеялся, только сердце в груди ухает, да воздуха, сколько его ни хватай, все равно не наглотаться никак... Но за хлебом, в затишке, отдышалась вроде и к крылечку подошла, как будто и не бежала сломя голову пять километров от кладбища.

Еще светло было.

Белел припорошенный свежим снежком двор, и только на крылечке — бабка Роза сразу их узнала — те следы от валенок с кладбища темнели...

Видно было, что топтались здесь, дергали закрытую дверь.

Но теперь даже и не испугалась бабка Роза.

Твердо знала еще от бабки своей, если блазнится чего и после крестного знамения, — неминуемое то.

Вошла в дом бабка Роза. Не развязывая платка, не скинув фуфайки, села у стола на кухне, глядя на входную, крашеную мертво-бурой краской дверь.

Сумрачно было.

Какой-то последний, тухловатый свет сочился в окошко, и от этого света пахло на кухне покойником.

Не крестилась бабка Роза.

Знала, что все равно не загородиться от неминуемого, да и что загораживаться, если больше самого большого страха боялась, что не случится ничего...

Но недолго пришлось ждать.

Заскрипел снег на крылечке, грохнула дверь в сенях.

Скрипнули половицы, и вот, крашенная в бурый мертвенный цвет, дверь подалась назад, дернули ее из сеней.

Темнотой и холодом потянуло в щель, и из этой темноты и холода выступил Петрович.

— Ты что ли? — едва слышно проговорила бабка Роза, и эти слова ее были последними...

— Я... — ответил сосед Фёдор, подходя к столу. — Мяса вот тебе принес, тёта. Час назад заходил, да тебя не было... А чего ты в темноте-то сидишь?

И он положил на стол завернутый в газету кусок мяса.

Посмотрел на молчашую соседку.

— Да ты чего, тёта? — спросил. — Чего смотришь-то так...

И осекся под неподвижным взглядом мертвых глаз...

Глаза эти закрыли медными пятаками, когда обмывали соседки Розу и положили на столе в большой комнате выставшего старухина дома.

А вьюга мела все три дня, и хоронить тоже пришлось во вьюге...

Уже на поминках, захмелевший Фёдор рассказывал: «Это ты?» — спросила.

«Я, — отвечаю, — мяса тебе принес...»

А она мертвая уже, и только смотрит на меня. Уже оттуда...

И он тяжело вздыхал.

Сын бабки Розы уважительно кивал и — Фёдор сильно помог с похоронами, без него и могилу бы не выкопать по такой погоде! — тотчас же наполнял заново его стопку.

— Надо же, как получилось... — говорил Фёдор и недоумевающе смотрел на свою наполненную стопку, а потом выпивал ее и, не глядя, — «Ты закусывай, закусывай, Федя!» — придвигал к нему тарелку бабки Розин сын — тыкался вилкой в жареную лосятину...

А на другой день после похорон стихла вьюга, опять ударил морозец, и солнце весело заиграло искорками на снегу, на изморози покрывшей жестяные венки на бабки Розиной могиле.

В конце времени

До электрички оставалось еще десять минут, и пригородная платформа была пуста. Свет горел только возле окошечка касс, а дальше перрон пропадал в сумерках снегопада.

Посмотрев на часы, Иван Сергеевич натянул на голову капюшон куртки и побрел в сторону остановки головного вагона.

Скрылось в снеговых сумерках неможное зарево электрического света. По обе стороны от путей стоял заснеженный лес. Еловые лапы прогибались под тяжестью налипшего снега, пока он не соскальзывал с ветвей, и тогда ветви покачивались в пропитанном сумерками воздухе. Казалось, кто-то невидимый ходит по лесу...

Иван Сергеевич вздохнул.

Похоже, ни к чему было проявлять принципиальность, можно было вернуться в город на машине, которую предлагал вызвать хозяин. Как-то даже дико-

вато выглядит в наше время подобная щепетильность, могут и понять неправильно...

А вообще странно получается. Какое бы время ни наступало, кто бы ни вставал у руля страны, очень многое решалось на здешних дачах. Говорят, еще во времена Иосифа Виссарионовича сюда ездили. Сам Иван Сергеевич только при Леониде Ильиче на дачи попал. Ну, а потом и при Борисе Николаевиче удостоился приглашения...

Хотя это, если быть честным, не совсем так.

Это раньше, при коммунистах, привлекали, вызывали, уговаривали, чтобы ты сказал что-нибудь нужное им. А ты торговался, кривил нос...

Теперь иначе. Теперь, чтобы лизнуть задницу большому начальнику, самому надо проталкиваться через толпу утонченно-цепких, рафинированно-бескомпромиссных деятелей культуры.

Правда, и торговаться нынче ни к чему. Если пробился к нужной части тела начальника — сразу тебе всё. Ордена, реклама на телевидении, деньги, много денег...

Что хочешь, выбирай, полная демократия...

А что? Время такое. Всё на продажу. Рынок...

— Не скажете, — раздался тут из-за спины голос, — какое время сейчас?

— Семнадцать двадцать! — поднося к глазам руку с часами, проговорил Иван Сергеевич.

— Уже столько! — сокрушенно прозвучал голос. — Совсем времени не осталось...

— Почему? — Иван Сергеевич повернулся к собеседнику. — В семнадцать тридцать только электричка.

Он смолк на полуслове.

Никого не было рядом...

Присыпанный снегом перрон был пуст, и только цепочка следов, оставленных самим Иваном Сергеевичем, темнела на нетронутой белизне. Неподвижный, стоял с двух сторон путей лес.

Стало зябко.

Иван Сергеевич пожал плечами и обеспокоенно подумал, что, пожалуй, он ошибся с машиной. Погорячился он. Отказываться было нельзя. Эту щепетильность наверняка неправильно поняли, и теперь он дорого может заплатить за ошибку. Теперь его снова могут оттеснить в толпе деятелей культуры, рвущихся к начальству.

— Черт меня дернул! — забывшись, выругался Иван Сергеевич.

Впрочем, тут же взял себя в руки.

Строго и неподкупно огляделся вокруг.

Но никого не было рядом...

Только, засыпанный снегом, неподвижно стоял лес. Порою еловые ветви прогибались под тяжестью налипшего снега, пока он не соскальзывал, и тогда ветви долго покачивались в пропитанном сгущающимися сумерками воздухе.

Казалось, кто-то невидимый ходит там и не может найти пути.

Господи, помилуй

В поселке Вознесенье, где я родился, церкви закрыли еще до войны, а при Никите Сергеевиче — динамиту тогда у нас уже хватало — взорвали последнюю.

Но Веру, но Надежду на спасение души нельзя ни закрыть, ни взорвать, и православие тоже не исчезло никуда, а, напротив, оставшись без храмов, приобрело порою даже какую-то изначальную перво-христианскую простоту и ясность.

1

Вот и бабушка моя глубоко и искренне верила, что достаточно прошептать перед смертью: «Господи, помилуй!» — и душа будет спасена для вечной жизни.

— И что же? — спрашивал я. — И молиться не надо? И Евангелие читать не надо?

— Почему не надо? — отвечала бабушка. — И молись, и читай... Только, главное, не забудь, когда придет час помирать, «Господи, помилуй!» попросить...

Я уже прочитал к тому времени несколько духовных книг, по поселковым меркам считался начитанным молодым человеком, и потому с упорством, достойным советского школьника, всячески пытался разубедить бабушку.

— Как же так? — доказывал я. — Один человек, бабушка, живет, как праведник, терпеливо сносит все лишения... А другой — мерзавец, готовый совершить любую подлость, чтобы достичь выгоды... И что же? По-твоему, и ему достаточно только попросить Бога помиловать его, и Бог спасет его, как и праведника? Ведь это же бессмыслица...

— Нашего смыслу тут нет... — соглашалась бабушка. — А Бог все равно спасет. Он каждого спасет. Если, конечно, останется еще в человеке, что спасать...

2

Если останется в человеке, что спасать...

Только с годами, постепенно открывалась вся страшная глубина этих простых слов. В семидесятые, восьмидесятые годы, когда в безхрамовом пространстве начала иссякать инерция православного движения, когда закончились веками накапливаемые в языке, в самой генетической памяти запасы духовности, — какими страшными, почти непотребными сделались поселковые смерти!

Зимою шла старушка с автобуса в Чашеручей, а через неделю нашли ее без пенсии, в проруби на реке...

Или другая старушка: напекла калиток и пропала куда-то, целый год искали, пока не нашли косточки на болоте у маяка. И сразу слухи поползли осеннею непогодой: не иначе, сын с невесткой ей помогли...

Впрочем, молодые помирали еще страшнее.

Я был в поселке, когда хоронили молодого шофёра.

Он возился с папироской в моторе, от огненных табачных крошек вспыхнула ветошь, а потом загорелась и промасленная фуфайка. Парень упал на землю, начал кататься, пытаясь сбить огонь, но тут подбежал на помощь другой мужик. Увидел стоящее возле машины ведро и, не задумываясь, вылил на парня. Думал, что в ведре вода, а оказался — бензин.

Заживо сгорел парень...

И понятно, что случайность, что пьянство, что низкая культура труда... Но все равно не вмещается

в эти слова такая жуткая смерть. И такая в ней безысходность поздней осени, что кончается, кажется, и свет на земле, и тоскливо и глухо шумят, стонут над могилами деревья, и тонет в растоптанной грязи дорога на кладбище.

А ведет эта дорога мимо прежнего погоста, где стояла когда-то церковь Покрова Богородицы. Этот храм взорвали еще в тридцатые годы, а вместе с церковью уничтожили и погост. Теперь здесь детский садик, и вот — уже сколько десятилетий подряд! — пересыпают могильный песочек дети, ничего не знающие ни о кладбище, ни о Покрове Богородицы, простертом над нашей землей.

3

Покров Божией Матери...

Когда долго и пристально вглядываешься в глубину нашей истории, кажется, почти визуально начинаешь различать Его над нашим Отечеством...

Сохранилось предание, что в раннее летнее утро церковного сторожа во Владимире разбудил необыкновенный грохот. Когда перепуганный сторож подбежал к собору, то увидел, что двери храма распахнулись и из них, осиянный дивным светом, вышел на паперть святой князь Александр Невский... Этот день и считается днем обретения мощей святого, а в тот, 1380 год, всего несколько дней оставалось до 8 сентября, когда сошлись на поле Куликовом русские ратники с полчищами Мамай.

Русские святые всегда являлись, когда без них уже не выстоять было нам. Так было прежде, еще при

земной жизни князя Александра Невского, когда со словами: «Поможем родственнику нашему Александру!» — спешила к Невской битве небесная ладья со святыми мучениками Борисом и Глебом. Так было и после, в тяжкие дни испытаний...

Ничего не происходило и не происходит вопреки воле Божией...

И Дмитрий Донской, и Куликовская битва занимают совершенно особое место в нашей духовной истории.

Даже с точки зрения завзятого материалиста 8 сентября 1380 года — необъяснимое Чудо. Ибо известно, что освободительные войны происходят тогда и тогда увенчиваются победой, когда появятся для того общественно-экономические условия. А при Дмитрии Донском таких условий еще не было. Русь еще не готова была сбросить татаро-монгольское иго, еще сто лет после великолепной Победы несла она на себе это бремя.

Поэтому-то и невозможно объяснить победу в Куликовской битве никакими изменившимися социально-экономическими предпосылками. Это в чистом виде Божие Чудо, явленное нам по молитвам преподобного Сергия Радонежского, воплощенное волею святого князя Дмитрия Донского.

4

Чудо...

И порою мелькает странная мысль... Может, и сейчас, когда снова переживает наша Родина страшную годину испытаний, не случайно так много появляется

в газетах и журналах очерков и статей о Русских святых? Может, не только одним интересом к церковной тематике продиктовано оно, а нечто большее стоит за этим?

Обратите внимание: не только на страницах патристических изданий, но и в официозной прессе, как яркий свет из унылых сумерек вранья, возникают сияющие и величественные образы Русских святых...

И вот уж воистину: «Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, Господи Боже наш; не сохранихом заповедей Твоих, не соблюдохом повелений Твоих, но возжелахом ходити в волях сердец наших. Не хранили мы первой любви к Тебе, жениху душ наших, нашему Владыце и Благодетелю, к матери нашей Церкви Православной и ея уставам, ко Отечеству нашему, Святой Руси, и ее святыням, к памяти отцев наших и благочестивым обычаям и заветам предков...»

Повторяешь эти слова и веришь, — так хочется верить! — что и в наши страшные времена неслучайно явилась нам светлая рать Небесных Заступников, что это Божия Матерь, простершая покров над нашей Родиной, посылает их к нам. И, может быть, не так уж далеко и наше Поле Куликово, и снова, уже в который раз, будет явлено Чудо, и из праха и унижения вновь восстанет наша страна, сильною и могучей...

5

Я уезжал из Вознесенья вскоре после похорон сгоревшего в бензиновом пламени шофёра...

В тот день я проснулся рано утром от стука дятла в облетающем саду. Приглушённый двойной рамой,

стук этот был похож на тиканье часов, отмеряющих наше земное время.

Сколько его осталось до нашего Поля Куликова? Или, может быть, его хватит лишь, чтобы произнести эти два слова: «Господи, помилуй»?

Последний бой

Может, и странно, только чего же удивляться, если жизнь такая, если и про Сталина, и про Берию все позабыто, а сколько бутылка водки стоила — помнится. Да и зачем про Сталина вспоминать, если и при Хрущеве не шибко-то сладко народу жилось. Не так плохо, конечно, как в нынешние лихие времена, но и после Сталина жали, жали простой народ. Только при Брежневе и вздохнули немного...

Но главное-то не в этом...

Главное, что помоложе тогда был, оттого и сравнение не в пользу нынешнего... Ну, а водка... Как это, при чем тут водка? Пустяки, говорите? Ну, это ведь как сказать... Может, для некоторых, которые в казенных квартирах поселившись, и пустяки... А вот, если своим домом живешь? Если без пол-литры тебе ничего не сделают? Да если к тому же и сам-то в нынешние до озверения, можно сказать, новые времена, не шибко много работы осилишь? Тогда как? Это еще пораскинуть надо мозгами, когда тяжелей жилось... Тогда или сейчас... Нынче про Сталина, конечно, уже многое известно, и антиалкогольную компанию тоже разоблачили, зато цены в магазинах такие, что, если не

воруешь, то хоть зубы на полку клади. И ведь, что еще характерно, неизвестно ведь вообще, как дальше-то жизнь повернется... А разговоры что? Порассуждать, конечно, имеем право, но одними разговорами сыт не будешь, и основательности в жизни тоже от разговоров никогда не прибывало...

Так говорил, а вернее, сменяя слова и путаясь, бормотал Петр Александрович Криницин, а генерал, что сидел впереди, рядом с водителем — Криницин видел только морщинистую, торчащую из широких погон шею, — рассказывал о поездке на полигон, где уничтожали ракетные установки.

Рассказ этот Петр Александрович первый раз лет пять назад услышал, но и еще послушал бы, как ходил генерал возле ракет, которые должны были превратиться в груды никому не нужного металла, и думал, какая это грозная сила, если бы двинулась в бой. Отчего же не послушать?..

Но сейчас мешал Гоха. Он сидел рядом с Кринициным, на сиденье военкоматовской «Волги», и рылся в сумке с приклеенной на нее аппликацией теннисной ракетки, отвлекал...

— А народ... — говорил генерал, глядя прямо перед собой на дорогу. — Какой народ сейчас в армии? Они и войны-то не видели, ничего не нюхали, кроме Чечни да Афгана... Молодые еще, что они знают? И мне, понимаешь... — генерал повернулся к Петру Александровичу. — Ты вот, солдат, обязательно меня понять должен... Понимаешь, мне жалко этого оружия было. Ведь столько в него человеческого труда вложено! И что же? Все без толку! Ну пусть ну хотя

бы один бой, понимаешь? Ну, чтобы бессмысленно не гиб этот гигантский труд! А они, нет... Молодые не понимают этого... Им все равно. Приказали уничтожать и уничтожают. Ты понимаешь, солдат, о чем я говорю?

И Петр Александрович хотел уже ответить: «Так точно!» — как всегда, получая приказ, отвечал на фронте. Да и что другое ответишь? У солдата ведь не спрашивают, понимаешь ты или нет. На то и солдат, чтобы понимать, если даже ни фига не понимаешь. Приказано в атаку идти, и идешь, и не рассуждаешь, есть у тебя винтовка или так и не успели выдать. И, возможно, так, по-фронтовому, и ответил бы Петр Александрович Криницин, но тут неожиданно подумал, что генерал большую звезду на погоны уже после войны получил, а тогда, на фронте, может, в одних чинах и воевал с ним на войне.

Да... Когда же они встретились все-таки? В шестьдесят пятом это случилось, кажется...

Да... Точно — в шестьдесят пятом...

Хрущева уже сняли тогда. Вот ведь как — даже год запомнился, хотя и не было в нем ничего необычного...

Лето тогда, кажется, стояло жаркое.

Леса горели...

Но так, обычный, в общем-то, год. И все равно запомнился. В то лето Петр Александрович отобрал у сына свои ордена и, разложив на столе, задумался... А о чем — уже и не вспомнить сейчас. Зато дальше все хорошо помнится. Спрятал ордена в ящик комода и ушел из дома, чтобы не видеть обиженных сыновьях глаз.

Вот ведь стервец рос... Цапки у него отобрали, так и обиделся.

И выпил, точно выпил тогда Петр Александрович. Тогда водка еще дешевая была. Два восемьдесят семь пол-литра. А про закуску и говорить нечего. На последние копейки купил хлеба и кусок ливерной колбасы — сейчас-то, небось, многие тыщи бы потребовались... — и пошел к другу, такому же как он солдату, Гохе.

Зачем вспомнил все это сейчас Петр Александрович, зачем начал рассказывать, он и сам не знал. Должно быть, годы, должно быть, маразм... Ведь давно все отошло. Вырос, выучился в институте обиженный сын.

Такой фирмач стал, что и не подступись к нему, ездит на иномарке, торгует чем-то. К родителю своему — жена у Петра Александровича три года назад померла — если два раза в год заедет, то и хорошо.

А тогда они, понимаете ли, с Гохой этим, выпили, конечно. Ну, а выпив, рассказал Петр Александрович про ордена, что у сына отобрал, и в комод спрятал.

— Ну и правильно... — похвалил Гоха. — Я бы тоже так сделал, да мои хулиганы, понимаешь, давно уже их потеряли...

И так тогда хорошо разговорились, что оказалось — сослуживцы они, тоже однополчане. Нет-нет... Не здесь служили. Это уже в сорок четвертом пути пересеклись. В одной армии служили. Да... Это в Прибалтике уже... Что? Зачем он это рассказывает? Ну как зачем? Живет старый солдат, воевал, честно свой долг исполнял, кровь проливал, награды бое-

вые имел, а сейчас ему на праздник Победы кроме юбилейных медалей и нацепить нечего... Да нет, кто ж об этом говорит, назад не едят, как говорится. Сам посеял ордена и медали, сам и виноват... Чего уж тут говорить? Просто нехорошо получается... При Хрущеве многие так поступили... Ну, и сейчас тоже не лучше. Он, Петр Александрович, одного фронтовика знает, который две Славы своих спекулянту продал... Да-да, такие вот времена наступили. Сволочные, в общем, товарищ генерал, времена. А Гоха, что? Очень, понимаете ли, товарищ генерал, Гоху жалко...

— Правильно ты все, солдат, понимаешь... — сказал генерал и, обхватив руками Криницина за шею, притянул к себе и поцеловал в губы. — Такое ведь дело это. Столько труда бессмысленно пропадает...

— Да... — кивнув, вздохнул Петр Александрович. — Что и говорить. Нам бы, в сорок первом, эти ракеты, да... Ведь с винтовками на танки ходили, да и то, не у каждого была. Столько народу положили. Вот вы, товарищ генерал, хоть у Гохи спросите... Нет... Он не здесь воевал, но тоже войны вдосталь хлебнул, мало не показалось.

И Петр Александрович снова принялся рассказывать о Гохе, о том, как решил приобщить старого солдата к их ветеранским встречам, рассказал, что на прошлый день рождения сам Гохе наградные колодки купил — всё, как положено, в военторговском магазине подобрал, а потом собственноручно к Гохиному пиджаку прикрепил, чтобы видно было, какой это боевой мужик был, сколько орденов и медалей имел, пока сынишка не заиграл их.

И хотя и увлечен был генерал воспоминаниями о полигоне, хотя и на него, похоже, выпивка подействовала, но сообразил наконец, о ком и для чего рассказывает ему Криничин. Взглянул на Гоху, который продолжал рыться в своей сумке.

— Правильно... — сказал он. — Нам своих наград стыдиться нечего. На Великой войне их заслужили, не то что некоторые.

Но Гоха-то, Гоха-то — даже неловко Криничину стало за своего приятеля — даже и не почувствовал, что это обращаясь к нему генерал говорит. Так и не поднял голову от своей сумки.

Генералу это тоже не понравилось. Нахмурился он.

— Ты чего ищешь там, солдат? — строго спросил он.

— Дак бутылка куда-то пропала... — ответил Гоха. — Помню, что была тут в сумке у меня, а потерялась куда-то...

Генерал сморщил лоб, видимо, обдумывая, рассердиться ли за такое или не заметить. В конце-то концов, не кадровые это люди, можно и снисхождение сделать на некадровость... Морщины на лбу генерала разгладились, и он усмехнулся.

— Эх, солдат, солдат... — сказал он. — Прибалтику мы потеряли, Украину, можно сказать, в НАТО отдали, а ты насчет потерянной бутылки расстраиваешься. Да есть, есть у нас еще чего выпить!

Водитель, военкоматовский прапорщик, не выдержал и улыбнулся.

— Далеко еще ехать, товарищ генерал?

— Нет... — ответил за генерала Криницин. — Станцию уже проехали. Километра два еще до обелиска, не больше. А дальше все равно придется пешком идти. Нету дальше дороги...

И замолчал, оглядываясь по сторонам. Справа — чернело огромное поле с пирамидами сложенных там ящиков, с грузовиком, застрявшим вдалеке. По другую сторону от шоссе росли кусты, а дальше начинался сосновый лес. Там, у реки, и стояли тогда в сорок первом, а со стороны поля шли, прорываясь к переправе, немцы.

— Значит, здесь и воевали? — заметив что-то в глазах Криницина, спросил прапорщик.

— Ага... — кивнул тот. — Здесь...

— Страшные, говорят, тут бои были... — уважительно проговорил прапорщик. — Вы долго тут были?

— Так часов у меня не было... — усмехнулся Криницин. — Откуда знать, сколько времени. Может, сутки... А может, и больше. Как привезли нас со станции, немцы сразу и поперли, мы даже по траншеям еще разбежаться не успели. А потом уже все — отвоевался.

— Н-да... — прапорщик покачал головой. — В войну у нас солдатами воевали, а не машинами. Нет, товарищ генерал, не думали все-таки тогда у нас о людях, не думали...

Генерал пожал плечами, и Криницин как-то очень трезво сообразил вдруг, что действительно генерал тогда, на войне, в лучшем случае лейтенантиком был, так что тоже небось хлебнул этой самой войны полной ложкой.

— Машины... — проговорил он. — На станции-то, когда сгружали нас, на полуторки посадили. Так наш шофер всю дорогу сокрушался, что зря на грузовике поехали, разобьют машину... А потом, когда уже санитары меня волокли, я этот грузовик снова увидел. И, понимаешь, все кругом снарядами изрыто, а грузовик стоит хоть бы что... Даже я удивился.

— Получается, что тогда люди крепче металла считались? — спросил прапорщик.

— Да... — рассеянно ответил Петр Александрович. — Так и было... Кто на войне не бывал, тот и горя не видал...

Помаргивая, он смотрел по сторонам, и ему было досадно, что он не может вспомнить себя в том бою. Это здесь, где-то здесь было, вот уже и памятник показался, значит, здесь и сидел он на корточках в неглубокой траншее, глядя, как выползают из-за склона холма немецкие танки...

— Здесь остановиться? — спросил водитель, сбавляя скорость. Впереди, возле гранитной стеллы, застыли бронзовые солдаты.

— А это что? — Петр Александрович кивнул на асфальтовую свертку. — Чего-то я не помню этой дороги.

— Значит, построили... — ответил водитель. — Сейчас много чего строят.

— Попробуй, двинься туда немножко. Нам в ту сторону и надо, к братским могилам. Это ведь обелиск здесь для митингов, а сами могилы дальше...

Водитель завернул машину, выруливая на новую, недавно заасфальтированную дорогу.

Два года назад этой дороги не было. Это Криницин точно помнил. Он приезжал тогда на праздник Победы, и к братским могилам пришлось добираться пешком, по тонущей в грязи тропиночке, что извивалась среди сосен.

— Нет! Вы посмотрите, товарищ генерал, какие молодцы! — сказал он. — Сколько ведь раз мы от ветеранов говорили, что надо бы не только к памятнику, а и к кладбищу дорогу проложить. А нам все отвечали, что денег нет. А сейчас, видите, отыскали все-таки...

— Н-да... — неопределенно проговорил генерал, а водитель как-то странно взглянул на Криницина и тут же отвернулся, глядя прямо перед собой на дорогу.

— Это не к могилам, батя, дорога... — сказал он. — Это к особнякам проложили.

— К каким особнякам?! — удивился Петр Александрович. — Я же вижу, что к могилам.

— На указателе было написано, что частное владение там...

— А-а! — сказал генерал. — Ну, да... Я вспоминаю, вспоминаю. Глава администрации что-то рассказывал. Здесь на реке, в стороне от кладбища, как раз по правую руку, землю под коттеджи продают...

— Под коттеджи? — переспросил Петр Александрович. — Ну и правильно... Вот и дорогу построили... И могилы теперь под приглядом будут... Правда ведь, Георгий...

И он толкнул в бок задремавшего Гоху.

— Что? — спросил тот, открывая глаза.

Криницин не ответил. Машина въехала на пригорок, и внизу, на сбегавшем к реке склоне, открылась

картина стройки. Здесь поднимались двух- и трехэтажные особняки какой-то причудливой архитектуры. Некоторые были уже достроены, возле других еще вовсю кипела работа.

Водитель остановил машину, и Петр Александрович вылез из «Волги».

— Где это мы? — спросил выбравшийся следом Гоха.

Где они находились, Криницин не понимал и сам. Серела внизу, под обрывом, речная вода. Какое-то судно шло по фарватеру, но отсюда казалось, что оно замерло на месте.

Странно, но обрыв, и даже судно, Петр Александрович помнил совершенно отчетливо. Помнил еще из того, военного года. Они, раненые, лежали тогда на берегу и смотрели на катер, который медленно, словно застыв на месте, выполз из-за поворота реки. Только тогда вокруг катера рвались снаряды, и белые столбы разрывов поднимались из речной воды, да еще тяжело шлепали по воде осколки. А пароход так и не сумел подойти к берегу, прорвался только в темноте. Криницин очнулся от боли, когда его подняли на носилках и понесли по трапу наверх.

Запомнилось — дул с реки холодный, как сегодня, ветер. В огне разрывов на берегу мелькали маленькие, почти игрушечные фигурки солдат... Шел бой...

Сейчас на месте разрывов стояли многоэтажные особняки, и ревел на краю дачного поселка бульдозер. Окутанный синеватыми выхлопами, он толкал перед собою желтоватую землю, вместе с зацепившейся за нее березкой, вместе с накренившейся вверх жестяной

тумбочкой с красной звездой. Бульдозер ревел как тот танк, вползавший перед Петром Александровичем на бруствер.

Криницин не помнил, как оказался перед бульдозером.

Встал, пригнувшись, как тогда, перед танком, только теперь в его руке была не граната, а камень, который он неизвестно где успел подобрать. Впрочем, Петр Александрович и не помнил, что это камень, размахнулся и швырнул его в надвигающийся бульдозер. Но сила была уже не та. Камень упал, угодив прямо в могильную тумбочку со звездой.

Но рёв бульдозера вдруг оборвался. Водитель заметил, должно быть, Петра Александровича.

— Дед?! — распахивая дверку, закричал он. — Ты охерел совсем, что ли?! Куда ты лезешь?!

Криницин не слышал его. Прямо под гусеницами увидел он смятые черные кости, и словно бы едким запахом тола ударило в лицо. Он схватил водителя — здорового, плечистого парня за ворот кожаной куртки, повис на нем.

— Ты пьяный, что ли, дед?! — отрывая Петра Александровича от себя, закричал парень. — Я же тебе ноги пообрываю сейчас...

Но тут боковым зрением увидел генерала, спешащего на выручку Криницину, и осторожно поставил Петра Александровича на землю.

— Ты что делаешь, мерзавец, а? — задыхаясь от быстрой ходьбы и гнева, выкрикнул генерал. — Ты что могилы срываешь, а? Ты знаешь, кто тут похоронен?!

Погоны на плечах генерала, его командирский, разбухающий гневом голос, озадачили парня. Видно было, что он струсил.

— А чего я? Чего я? — пробормотал он. — Мне приказали, я и рою... Вон хозяин, с ним и базарьте...

И водитель кивнул на группу молодых, восточного вида парней, стоящих у тойоты. Они наблюдали за событиями.

Высокий молодой парень в темном пальто и белых брюках, отделился от группы и, не спеша, пошел в их сторону.

Холодно оглянул Криницина, Гоху, не задержался взглядом и на генерале — повернулся к водителю бульдозера.

— Почему остановился? — спросил он. — В чем проблемы?

— Да они вот... — парень кивнул на ветеранов. — Наезжают вроде...

— Эти? — холодный взгляд парня снова, не задерживаясь, скользнул по лицам ветеранов. — Сейчас разберемся. Кто такие?

— Это вы кто такие? — запальчиво ответил тот. — Вы что, не видите, что братское кладбище срыгаете?

— Значит, так... — сказал восточный парень. — Никакое это не кладбище, а моя земля. Я ее купил! Ясно? И вы сейчас грузитесь в свою тачку и делаете нам ручкой.

— Сопляк! — вскипел генерал. — Да я...

— Жора! — парень кивнул охранникам. — Помогите дедушкам в тачку сесть.

Жора, такой же мордovorот, как хозяин, как-то очень ловко подхватил генерала под мышку и двинулся с ним к машине. Засунул в открытую дверку. Другой парень проделал то же самое с Кринициным. Гоха, не дожидаясь пока с ним поступят так же, сам затрусил к «Волге».

— Поедем, что ли? — спросил прапорщик, старательно смотря в сторону.

— Куда же мы уедем, если они могилы срывают! — воскликнул весь красный от пережитого позора Криницин. — Вы что?!

— Ты, батя, как хочешь... — не поворачивая головы, сказал прапорщик. — А я здесь не останусь. Мне начальник велел прокатить вас, как заслуженных ветеранов. А разборками заниматься с азерами — не мое дело. Они сейчас машину изуродуют и что? Потом я за свой счет отремонтирую ее?!

— Да... — неожиданно проговорил генерал. — Думается, не на таком уровне вопрос нужно решать. Надо ехать.

Он тоже говорил, не поворачиваясь к Криницину, и тот только сейчас заметил, как, болтаясь на жилистой шее, торчит из широких генеральских погон словно бы усохшая голова.

— Нет! — сказал Криницин. — Я в сорок первом отсюда не ушел и сейчас убежать не буду...

Генерал промолчал. Только еще ниже опустил голову. А прапорщик вдруг стукнул кулаком по баранке и заговорил обиженно:

— Вам хорошо — вы на пенсии... И офицеру еще ничего. А прапорщик залетел в комендатуру и все — иди, верти колесо индустрии, если устроиться сможет

куда. Нет, вы как хотите, а я с этими беспроblemными ребятами связываться не буду.

— Я остаюсь! — Петр Александрович рванул ручку на дверке и выбрался из машины.

— Подожди... — сказал Гоха. — Я тоже остаюсь.

— Мы вернемся сейчас! — пообещал генерал.

Опустив стекло, он как-то очень внимательно и печально смотрел на Гоху и Петра Александровича.

— Я весь город на ноги подниму, а вы — вы держите пока тут оборону.

— Мы мигом! — обрадованный, что так хорошо все кончилось, воскликнул прапорщик. — На всю железку жать буду!

Так уже было когда-то, но Петру Александровичу не захотелось ворошить в памяти былое, и он только усмехнулся.

— Продержимся... — сказал он. — Против немцев устояли, а уж против уродов этих как-нибудь выстоим!

Он проводил взглядом рванувшуюся с места «Волгу», и только потом повернулся лицом к врагу. Молодые, здоровые парни выжидающе смотрели на них.

— Пошли, Гоха... — сказал Петр Александрович. — Позицию занимать будем.

Молча, прошли мимо хозяина, окруженного притихшими охранниками, и, увязая в желтоватой земле, по щиколотку, взобрались к накренившейся жестяной тумбочке. Уселись здесь, на мягкой могильной земле.

— Вы что, деды?! — спросил снизу Жора. — Вы что тут выпендриваетесь, а? Если немцы вас не доби́ли, то я ведь не такой добренький.

И он потянулся было к ноге Криницина, намереваясь сдернуть Петра Александровича с могильной замли, но тот отдернул ногу, а рукою швырнул прямо в Жорино лицо горсть песка.

— Ах вы суки! — заорал тот, хватаясь за глаза. — Хватай их, мужики!

— Стоять! — вскакивая на ноги и хватаясь, чтобы удержаться за тумбочку со звездой, воскликнул Криницин. — Вы что этого ублюдка слушаете?! Не видели, генерал за милицией поехал! С милицией тоже воевать будете?! Вы что думаете, за осквернение могил статьи нет?!

Слова его попали в цель. Охранники остановились.

И тут на бесстыдно гладком лице хозяина впервые заполыхали красные пятна.

Он что-то приказал водителю бульдозера, но тот и не двинулся.

— Садись в бульдозер! — приказал хозяин, и пятна еще гуще налились краснотой на лице.

— Да пошел ты! — ответил водитель. — Я тебе людей давить не нанимался!

— Ну смотри... — угрожающе сказал парень и, круто повернувшись, не разбирая дороги, забрызгивая грязью белые брюки, пошел к тойоте.

Помявшись, охранники двинулись следом за ним.

Водитель бульдозера посмотрел им вслед и, присев на вывороченный пень, вытащил из кармана пачку сигарет. Руки его, когда он закуривал, дрожали.

— Что? — насмешливо спросил Петр Александрович. — Говнюка этого испугался? Не бойсь. На зоне небось еще хуже будет.

— Заткнись ты, отец... — сказал водитель. — Ты еще не знаешь их. У них же все схвачено тут. Им и не таких, как вы, приходилось обламывать.

— Посмотрим... — ответил Петр Александрович. — Бодливой корове, говорят, Бог рогов не дал. Генерал придет, посмотрим, как он запоет.

— Отвяжись, отец... — повторил водитель и отшвырнул недокуренную сигарету. — Такой большой, а в сказки веришь.

Он встал и пошел к речному обрыву.

Петр Александрович чуть поежился. Только сейчас он почувствовал знобящую сырость земли. Только сейчас он осознал, что фактически кладбище уже снесено. Осталось лишь несколько братских могил, а там, где были основные захоронения, поднимались особняки.

Больно сжалось сердце. Петра Александровича обдало вдруг такой глухой тоской, что захотелось заплакать.

— Что же это за люди такие? — тихо проговорил он. — Ведь не все же чеченцы да азеры тут. Есть и русские?

— Ага... — ответил Гоха, роясь в своей сумке. — Новые. Нация у них так называется — новые русские.

И он вытащил из сумки бутылку водки.

— Нашел, что ли? — спросил Петр Александрович.

— Главное, что вовремя нашел... — ответил Гоха. — Да ты не смотри. У меня и закуска есть.

И он принялся вытаскивать из сумки разные мешки и баночки.

В полиэтиленовом мешке у него была кислая капуста. Гоха развернул мешок и осторожно понюхал.

— Вроде бы и запахи нормальный, а нет, души нет... Не та капуста стала...

И лицо у него было при этом грустное, растерянное.

— Значит, говоришь, нация такая?.. — спросил Петр Александрович. — Н-да... Придумали же, новые русские... Ну ладно. Давай за то выпьем, что и против них, Гоха, как против немцев выстояли, выстоим!

— Давай... — покладисто согласился Гоха. Выпил. Пожевал капусты, потом засмеялся тихо.

— Ты чего? — спросил Петр Александрович.

— Так... — ответил Гоха. — Помнишь, когда мы с тобой разговорились в первый раз по-хорошему, ты все жалел, что на фронте с тобой не встретились...

— Так я и сейчас жалею... Вместе же, рядом почти воевали, а познакомились только двадцать лет спустя. Чего тут смешного?

— Нет... Я ведь тоже сожалел. Обидно, конечно... Но сейчас, видишь, вроде как, получается, на одной высотке рядом сидим...

— А верно! — обрадовался Криницин. — Слушай, а какой молодец ты, что ублюдков этих не испугался.

— Так чего же не испугался? — Гоха пожал плечами. — Очень даже и страшно. Пожалуй, только на фронте страшнее бывало.

— А чего же не уехал тогда?

— Да ты что?! За кого меня держишь? Если, думаешь, с тобой на фронте не встречался, так и страху

меньше испытал? Ты знаешь, я же три раза, можно сказать, чудом от смерти уходил! Самому просто не верится, как везло там. Не веришь?

— Почему не верю... На войне, Георгий, нам всем ужасно везло. Тем, кто вернулся, конечно. А тем, кому не повезло, те там и остались... Как вот эти наши ребята...

И он провел рукою по накренившейся набок тумбочке со звездой.

— Помянем их, Петро... — с всхлипом проговорил Гоха. — Только не знаю, что и говорить еще, если так нечеловечат вокруг.

— Просто помянем, Гоха... — Криницин, не морщась, выпил, а потом, мотнув головой, спросил. — Эти-то там стоят еще?

— Да нет... — отламывая корочку хлеба, ответил Гоха. — В дом ушли.

— Вот суки! — выругался Кринипин. — Измором решили взять? Ждут, когда тут от холода околеем совсем.

— Ну, этого они не дождутся... — сказал Гоха. — А вообще, Петро, ты прав. Давай-ка костерок запалим.

Костер запалили невдалеке от бульдозера, чуть в стороне от оставшихся могил. Когда запылали ветки, как-то сразу стало темнее вокруг. Уже наступали сумерки. С реки дул ветер, и над головами, в черноте неба, шумели верхушки сосен.

Задумавшись, Петр Александрович смотрел на языки пламени, а Гоха подбрасывал в огонь ветки. Тучи искр взвивались тогда над головой. Они быстро гасли

в темноте неба, а потом медленными серыми хлопьями падали на руки.

Светом костра заливало стекла бульдозера и казалось, что там, в кабине, бьется огонь.

А вокруг уже совсем стемнело, только в доме, возле которого стояла тойота, горел свет. Сквозь незашторенные окна Петр Александрович видел своих обидчиков, они сидели все у стола и, видимо, выпивали.

— Холодно... — проговорил Гоха. Он тоже смотрел на освещенный особняк.

— У тебя там ничего не осталось больше в сумке? — спросил Криничин.

— Откуда... Выпили всё... А что, думаешь, генерал не приедет?

— Откуда я знаю... — ответил Петр Александрович. — Он же начальников разыскивать поехал... А начальники сейчас, сам знаешь, какие в администрации. Сидят небось, обсуждают, кого еще по разнарядке миллионерами назначить.

— Бутылку-то мог бы и нам оставить... — глядя на огонь костра, сказал Гоха.

— Позабыл... — вздохнул Криничин. — Ты знаешь, Георгий, раньше я никогда темноты не боялся, а теперь, когда жена умерла, страшно порою, жутковато становится...

— Ночью всегда страшно...

— Ага... И страшно умереть ночью...

И снова замолчали они, глядя на пляшущие языки пламени. Начал накрапывать дождь. Сосны шумели над головами в высокой темноте неба.

— Ну чего, отцы! — раздался за спиной голос. — Не окочурились еще?

Петр Александрович оглянулся.

Перед ними в свете костра стоял ухмыляющийся бульдозерист.

— Сидим, как видишь... — ответил Кринипин.

— Ну и дураки, значит, — бульдозерист поставил на землю звякнувший полиэтиленовый пакет и присел на корточки. — Я чего вам сказать хотел. В темноте я все равно работать не буду, так что поймите в виду: надо ли вам тут мерзнуть всю ночь? А раньше утра и в городе генерал до начальства не добьется.

— Чего-то ты больно добренький стал... — подозрительно глядя на бульдозериста, проговорил Гоха. — С чего бы это?

— Так у меня у самого дед воевал... — отводя глаза в сторону, проговорил парень. — Чего же сволочиться нам?

— А чего же ты раньше деда своего не вспомнил, когда братские могилы срывал? — с яростью спросил Кринипин. — Память отшибло?!

— А ты чего опять за старое? — ответил парень. — Я что, это кладбище под участки нарезал? Мне приказал хозяин рыть, я и рою...

— Сука у тебя хозяин, — сказал Петр Александрович. — Выблядок какой-то. Нелюдь!

— А! — бульдозерист махнул рукой. — Это тебе, отец, только показалось так. Вообще-то он мужик ничего, если разобраться. Да... Он же это велел вам передать... Смотрите...

И начал извлекать из полиэтиленового пакета бутылку, какие-то свертки, банки... Аккуратно расставил все возле Криницина, скомкал пакет и отшвырнул в сторону.

— Во... — сказал он. — А вы его сволочите. Он же сам и велел мне отнести. Отнеси, говорит, Колян, пускай отцы тоже погреются... Ну ладно, мужики. Посидите тут и идите домой, с Богом. А утром, если получится чего, приезжайте. В общем, пока. Приятного аппетита.

— Ты аппетит свой сам забирай! — зло ответил Петр Александрович. — Передай, что нам евовных подачек не надо. На!

И он отпихнул ногой бутылку и свертки.

— Дурак ты, папаша! — сказал бульдозерист. — К тебе, как к человеку, а ты... Ну и психуй дальше, если как человек жить не хочешь.

Он повернулся и исчез в темноте.

— Ты смотри, водка какая... — разглядывая бутылку, проговорил Гоха. — Я и не видал такой. Может, попробуем?

— Брось... — коротко ответил Криницин.

— Бросить, конечно, можно... — Гоха отложил бутылку в сторону. — Только ты, Петро, вспомни сам. Если в наступлении, бывало, попадала в трофей бутылка, ведь пили...

— Это же — не трофеем. Подачка это.

— Тоже верно... — вздохнул Гоха. — Так и у нас вроде еще пока не война тут... Может быть, миром как-то уладить можно?

— Тут хуже, чем война...

— Почему?

— Потому что не разобрать, где линия фронта проходит. И кто против тебя, тоже ничего не разобрать.

— Это точно... — согласился Гоха. — Тут сам-то ты где — тоже порой не разобрать бывает... Так что, генерала с подкреплением ждать будем?

— Не знаю... — Петр Александрович опустил голову. — Ничего я не знаю, Георгий. Может, и прав этот хлыщ — не приедет никто. Какой это генерал, если у него только погоны одни генеральские...

— Тогда решать что-то надо... — сказал Гоха. — Ты, как хошь про меня думай, а только я скажу, что до утра нам даже и под эту бутылку у костра не высидеть будет. Для этого экипировка другая требуется.

— Ну... И что же ты предлагаешь?

— А что тут можно предложить. По темноте они все равно рыть не будут. Выйдем на шоссе, на попутку какую-нибудь сядем. А дома, сам же рассказывал, какие ветераны у вас, звонить надо.

— Пошли! — Петр Александрович встал.

— Так, а бутылку здесь, значит, оставим? — медля, спросил Гоха.

— Не трогай ее... — сказал Петр Александрович. — Мы себе сами водки купим. А этой пускай подавятся они.

— Ну смотри... — вздохнув, Гоха встал. — Потопали тогда?

— Пошли...

Лес был мокрый и темный.

Натыкаясь на корневища, медленно брели они в сторону автострады, откуда доносился порой шум

проходящих машин. Глухо шумели над головами сонны, осыпая дождем плечи и спины.

И снова, оказавшись в темноте, так ясно вспомнил Криницин бои на здешнем плацдарме, что даже заломило в ушах от буксующего воя заходящих в пике немецких самолетов, снова, как бы со стороны, увидел себя, вжавшегося в траншею, на которой мела мертвенно светящаяся пурга пулеметных очередей. А он вжимался, вжимался в землю, но, яркий, бился в глаза свет, и всё разрывающий грохот уже ворвался внутрь, разрывая и его, солдата, — Петра Александровича Криницина...

— Петро! Петро! — наклонился к упавшему Криницину Гоха. — Вставай, Петро... Видишь, что гады придумали! Вставай, Петя!

И он схватил руками обмякшие плечи товарища и силился оторвать его от сырой земли, но в ярком, пробивающемся и сюда, в лес, свете вспыхнувших на дачном участке прожекторов, видел, как заливаются смертной темнотой глаза с остановившимися зрачками. И все равно прижимался к губам Петра Александровича ухом, стараясь услышать хоть какое-нибудь слово, но что можно было услышать в рёве бульдозера, работавшего на бывшем братском кладбище.

И что еще мог сказать, так и не выживший на этой войне Криницин?

На какое чудо рассчитывал Гоха?

Когда, шатаясь под тяжестью Криницина, Гоха выбрался из зарослей кустарника на автостраду — шоссе было пустым.

Встав на колени, Гоха осторожно свалил на асфальт мертвое тело Криницина и аккуратно сложил на его груди руки. И замер, вглядываясь в прикрытое темнотой лицо товарища.

Сколько так прошло времени, Гоха не знал. Но вот скользнул по лицу отблеск света, еще мгновение, и светом фар идущей машины залило все лицо. Гоха вскочил, выбросил вперед руку, пытаясь остановить машину, и черная тойота вильнула и помчалась, не останавливаясь, дальше, оставляя в глухой осенней темноте плачущего над телом убитого товарища солдата...

1995

По вере вашей

— На Полтавщине это было... — начал свой рассказ отец Святослав. — Я только еще начинал тогда прислуживать в алтаре. Так вот... Дьякон батюшку там из храма выжить пытался. У дьякона сын семинарию заканчивал, он хотел его в наш храм определить, вот и устраивал разные каверзы. Другой настоятель давно бы выгнал такого дьякона, а наш, как ангел небесный был, терпел все... И до чего дело дошло. Отравить дьякон решил батюшку... И ведь вот что удумал...

Уже заканчивалась обедня...

Уже занесли после причастия Чашу со Святыми Дарами в алтарь, уже прочитана была — Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною,

молитвами Твоих святых... — молитва, и священник вышел из алтаря, когда случилось это.

Дьякон поднял покровец, лежащий на Чаше, и сыпанул купороса в Святые Дары.

— Чего это он? — спросил у меня псаломщик. — Чего сделал?

— Ты на лицо его посмотри... — говорю.

А лицо у дьякона в эту минуту и впрямь такое жуткое было, что и думать нечего, чего он насыпал в Чашу со Святыми Дарами.

— Надо, — говорит псаломщик, — батюшку предупредить. Пускай дьякона и заставит потребить Святые Дары, коли такую пакость сотворить удумал.

Уж не знаю, то ли слышал дьякон наш разговор, то ли самому страшно стало, только задрожал весь и, пятясь, из алтаря выскочил. Я выглянул вслед, а его уже и в храме нет, убежал куда-то...

А тут и батюшка, прочитав отпуст, в алтарь вернулся. И сразу, как и положено, к Чаше — потребить подобает иерею оставшиеся Святые Дары. Нельзя оставлять...

Мы с псаломщиком путь батюшке загородили.

— Так, мол, и так... — говорим. — Вот что злодей-дьякон, батюшка, со Святыми Дарами сотворил. Вы, батюшка, разыскать его пошлите, да ему и скормите, злыденю такому!

Как лучше хотели, а батюшка рассердился.

— Изыдите! — говорит. — В своих ли умах будете, про Святые Дары такое молоть?!

Перекрестился и взял Чашу в руки.

— Сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов, — произнес он.

— Аминь! — говорим мы, а у самих слезы текут по щекам.

— Сия есть кровь Моя Новага Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов, — проговорил батюшка и, зачерпнув лжицею Святые Дары, вкушать стал.

И все потребил, как положено.

— Вот такой батюшка был, — завершая свой рассказ, проговорил отец Святослав. — Такую веру имел, что никакая отравка не могла подействовать.

— Так, может, это и не яд был? — сказал я. — Может, показалось вам, что дьякон подсыпал чего-то в потир...

— Нет, не показалось! — покачал головой отец Святослав. — У зловерного дьякона того на лице зеленые пятна проступили. Утром пришел, покаялся, что купороса в потир насыпал. Пятна эти долго у него с лица не сходили, а батюшка ничего, здоров остался...

Нацпроект

Помню с детства страшную историю, как волки пришли в соседнюю с нашим поселком деревню, зарезали в хлевушках несколько овец, порвали двух собак...

И людей совсем не боялись.

Наш одноклассник Саша Фанькин три дня тогда не ходил в школу, а когда пришел, рассказал, что волки всю дорогу за ним, как собаки, бежали...

— Как же ты прорвался? — замирая от страха, спрашивали мы. — Они ведь и загрызть тебя могли...

— Я этого... — сказал Фанькин, — «Отче наш» всю дорогу читал...

— А что это? — не поняли мы.

— Ну, молитва такая... — объяснил Фанькин. — Бабка меня научила, чтобы я до школы дошел...

Рассказ этот поразил меня, и я часто представлял себе занесённую снегом деревню, волков, бегающих в огородах по сугробам, Фанькина, который, читая «Отче наш», бредет по лесной дороге в школу.

Потом эта история позабылась, а снова всплыла в памяти, уже в наши годы, когда я ехал к приятелю попариться в баньке в его деревенско-дачном доме.

Уже наступали сумерки, когда мы свернули с го-страссы, на не тронутый асфальтом проселок.

Снег тут был чистым, даже и у дороги.

— Что это за чудеса у вас? — спросил я, когда мы въехали в совершенно безлюдную деревню. — Вроде следы кругом, тропинки протоптаны, а людей никого не видно.

— И не увидишь теперь... — вздохнул приятель. — Прячутся все...

— Прячутся? От кого?!

— От банков... — сказал приятель. — Банки на нас напали... Вначале, понимаешь, здешним мужикам

кредиты предлагать стали... Первое время по глупости несколько человек взяли по пятьдесят тысяч, а потом, когда расплатились, оказалось, что им еще по сто тысяч отдать надо...

— Н-да... — сказал я. — Такое и в городе бывает... Попали, что называется... Но другие-то поумнее оказались? Не брали больше таких кредитов?

— Не брали, конечно... Только от банков этих куда денешься? Разослали, понимаешь, всем карточки с деньгами как бы в подарок, а тоже, как кредиты оформили. В общем, сейчас у нас в деревне редко кто меньше миллиона банкам должен...

— Да ну тебя... — сказал я. — На кой хрен банкам эти развалюхи нужны...

— Не знаю... — сказал приятель. — Говорят, таджиками наши деревни заселять собираются... Или китайцами... В общем, такой вот у нас деревенский нацпроект осуществляется... В райцентре уже и судебных исполнителей завели. Теперь местные прячутся все, боятся, что приедут из райцентра и из домов выгонят...

— Но ведь это же мошенничество... — сказал я. — В суде можно доказать, что кредит обманом оформлен... Да и из жилища не имеют права выселять судебных исполнители... Тоже можно в суд обратиться...

— Можно, — согласился приятель. — Если у тебя деньги есть, можно и того, что ты на самом деле должен заплатить, не платить... Ну, а без денег, без адвоката, чего же в теперешнем суде докажешь?

На это мне возразить было нечего...

Молча смотрел я на пустынную деревенскую улочку, на темные окна деревенских домов.

Вот и улица кончилась, потянулись вдоль дороги корпуса ферм. Ослепшими глазницами выбитых окон смотрели они на междвор, где темнели в сумерках заржавевшие остовы тракторов и комбайнов.

И горький комок встал в горле...

Ну, да...

Можно, конечно, подобно нашим депутатам-либералам, рассуждать о русском разгильдяйстве и пьянстве... Только ведь деревенским разгильдяям и пьяницам в одиночку не сотворить было такого. Тут надобно было условия создать, чтобы пьянство и разгильдяйство в такую силу вошло. И кто же, спрашивается, условия эти создал? И где, не среди же местных, прячущихся от банков мужиков, искать подлинных виновников этой разрухи?

— В Москву надо ехать, эту нелюдь искать... — сказал приятель, словно услышав меня.

— Наверное... — согласился я. — Только чего же в такую даль дорогу мять... Телевизор включи и увидишь...

— Не-е... — приятель покачал головой. — В телевизоре этого не видно. Телевизор любую нелюдь как людей показывает... Ни за что не отличишь, если по телевизору смотреть...

Я не стал спорить.

— Отче наш, Иже еси на небесех! — вспоминая своего одноклассника Фанькина, проговорил я. — Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...

Тяжелая сырая темень уже лежала по обе стороны дороги.

Лишь изредка вспыхивали в этой тьме слабые огоньки недогрызенных русских деревень...

Изуродованное лицо

— Не знаю, как и назвать то, что я видел тут... — проговорил мой собеседник, пожилой, довольно представительный мужчина. — Я и сейчас себя верующим человеком не считаю, а тогда и вообще не задумывался об этих вещах... Но вот что было... Приезжал я тогда на Валаам по командировочным делам... Больше десяти лет с тех пор прошло... Монастыря тогда еще не было, только музей...

Управившись с делами, я пошел вечером осмотреть природу и местные достопримечательности. Забрел, конечно, и на территорию самого монастыря. Долго бродил здесь, пока не столкнулся со своим соседом по гостиничному номеру. Сосед у меня хороший мужик был, только уж очень страшный. Все лицо — в чудовищных шрамах. И днем на него смотреть нелегко, а тут, в сумерках, среди сырости храма — просто как током меня ударило. Отшатнулся даже.

— О, Господи! — говорю. — Извините, пожалуйста...

Но сосед не обиделся.

— Не берите в голову, — говорит. — Другие в обморок падали, бывало.

— Где это вас? На Невском пяточке, вы говорили?

— Можно сказать, что на Невском пяточке...

— Простите... А почему так неопределенно?

— Потому что, если разобраться, то раньше это произошло. Еще здесь, на Валааме...

— Как это? — спросил я. — Ничего не понимаю...

— Это верно... — сказал сосед. — Понять тут действительно ничего невозможно. Я ведь, дорогой товарищ, в морской школе учился. Как взяли мы Валаам у финнов, монахи сбежали, а в монастыре казармы сделали и нас сюда на практику привозили... И все как положено было. Учеба... Строевая подготовка... Политзанятия... Еще комиссар, его Исаак Львовичем почему-то звали, на атеистическую подготовку нас водил. Выдаст каждому по кошке... Это такая проволока, на швабру намотанная, и ведет в храм. Лики святых со стен сдирать. А нам что? Мы же краснофлотцы будущие! Так шаркаем по стенам швабрами, что до кирпича побелку сдираем.

И вот однажды привел нас Исаак Львович сюда.

— По свя-ятым разойдись! — командует. — Приступить к уничтожению!

Мне преподобные Сергей и Герман достались.

Я кошку в руки взял, проверил — хорошо ли проволока держится, потом преподобных оглядел, прикидывая, откуда ловчей к уничтожению приступить.

И вот тут, понимаешь, с глазами Сергея встретился...

Смотрит он на меня, как будто живой. И главное, без страха смотрит, а задумчиво так, словно высмотреть пытаюсь, что я за человек. И я...

Ты понимаешь, я и сам, как будто не на него, а на себя смотрю... И тоже сообразить пытаюсь, что я за человек...

Сколько я простоял так, не знаю. Тут комиссар, Исаак Львович, ко мне подлетает.

— Юнга Иванов!!! — кричит. — В чем дело?

— Не знаю, — говорю, — Исаак Львович... Чего-то странно мне.

— Странно?! — закричал комиссар. — А ну, швабру в руки, юнга Иванов! Выполнять приказ! Предрассудок уничтожить!!!

Он кричит так, а изо рта слюна прямо в лицо мне летит. И такая слюна жгучая у него, что кожу палит...

Я уже и не понимаю ничего. Словно столбняк напал. Но швабру поднимаю и, медленно так, железной проволокой по лику преподобного провожу...

А потом уж и не знаю, что со мной было. Очнулся в постели...

Товарищи по школе, конечно, посмеялись надо мною. Девчонка, говорят, ты, а не моряк. Но посмеялись и позабыли. И я тоже позабыл, тем более что война тогда началась...

Разбросало нас всех...

Кто куда попал...

Кто-то за Урал учебу продолжать отправился, кто-то в Москве остался, а я в Ленинград попал, на Невском пяточке оказался...

Вот где ад был...

Из наших, почитай, никого целыми не осталось. И я бы тоже не остался живой, если бы молиться не стал.

Прямо передо мной тогда мина разорвалась...

Но я — вы, конечно, не поверите! — не разрыв перед собою увидел, а преподобного Сергия... Как тогда в церкви...

И как тогда, очнувшись уже в госпитале. Сам цел, а лицо все иссечено осколками...

— Да... — проговорил собеседник. — Такую вот историю мне юнга Иванов рассказал.

— Чего же здесь удивительного? — сказал я. — На войне много таких историй происходило. Почти с каждым фронтовиком какое-нибудь чудо было. Мне один фронтовик говорил, дескать, с кем чуда не произошло, все *там* остались лежать...

— Верно, конечно, про чудеса... — согласился собеседник. — Только тут другое... Мы ведь с бывшим юнгой Ивановым в храме разговаривали, как раз возле стены, на которой фреска. Преподобные Сергей и Герман Валаамские... Похоже, что юнга Иванов эту фреску и должен был счистить, как комиссар приказывал... И вот посмотрел я на Сергия и снова словно током ударило. Лик его, ну точь-в-точь как лицо у юнги Иванова, изуродован был!

— Как же так? — помолчав, спросил я. — Как же вы себя верующим человеком не считаете, если такое видели?

— Как? — собеседник попытался усмехнуться. — Не знаю... Видеть всякое приходилось, да столько

всего наделано, что страшно, понимаете ли, верить. Страшнее всего это для нас...

На этот раз моему собеседнику удалось усмехнуться.

Хотя, может быть, лучше он и не пытался бы делать это...

Глаза над пропастью

Подниматься к источнику Петр не хотел.

За неделю, миновавшую после отъезда из Питера, они всего день провели у моря, а остальное время — в паломнических поездках...

Зачем же возвращаться туда, где уже были?

— Я что-то неважно себя чувствую... — сказал утром в столовой Петр, стараясь не смотреть в окно, где так заманчиво синело море, где в разрывах зелени белела пустынная коса пляжа с редкими выцветшими на солнце грибками зонтиков.

— Ой, Петенька! — воскликнула Ольга. — Как же мы без вас поедem?!

— Да, Петр! — сказала ее мать, Тамара Алексеевна. — Это такая святыня... Этот источник чудотворным считается.

И она подтолкнула мужа — Валентина Михайловича Толкунова.

— Надо ехать, Петр... — проговорил тот, хотя сам же и жаловался вчера, что устал от православного экстрима. — Мы ведь сюда не на пляже лежать ехали...

Петр хотел сказать, что он-то как раз на море и ехал, что он устал от этого — храм, пальмы и пошлый экскурсовод — джентельменского набора, но Толкунов встал, его массивная фигура загородила окно с морем и пустынным пляжем, и Петр понял — спорить бесполезно.

И он — такой уж характер у него был, что всегда старался отыскать в сложившейся ситуации положительные стороны! — подумал, что вообще-то и сам собирался подняться к источнику, просто немножко расслабился и захотелось отдохнуть, а так чего же...

Очень даже неплохо побывать на источнике...

1

И вот сейчас они спускались к автобусу с горы, покрытой колючими зарослями кустов. Можно было пройти там, где пошла вся группа, но Тамара Алексеевна выбрала тропу, по которой, как сказала экскурсоводша, святой носил на гору, пока не было источника, воду.

Непонятно было, пользовались ли после святого этой дорогой.

Тропинка то ныряла вниз, то снова карабкалась на скалу. Местами она заросла, и надо было продираться сквозь колючий кустарник, местами превращалась в осыпь, и идти приходилось, прижимаясь к скале. То и дело из-под ног летели в пропасть мелкие камешки. Жутковато шелестело над ущельем сдавленное эхо.

И все это на нестерпимой, сорокаградусной жаре.

Наконец выбрались на поляну.

Здесь, возле заброшенного сада, присели отдохнуть. Прямо из-за полуразрушенной ограды, из зарослей кустарников свешивались виноградные кисти.

Внимание Петра привлек камень.

Ему показалось, что это какое-то изделие, но камень оказался простым куском кремня, только отполированным колесами телег и подошвами путников.

Петр взял его в руки, и какая-то смутная, как во сне, горная даль возникла на поверхности камня. И чем дольше Петр вглядывался в нее, тем явственней становилась картина, различимыми становились отдельные уступы, берег моря, какие-то люди. А вот — смутное возникло из кремнёвой глубины лицо и, пытаясь разглядеть его, Петр провел ладонью по коричневой поверхности. Лицо пропало, картина изменилась, но морская даль не исчезла...

— Смотри, как красиво... — сказал Петр, обращаясь к Ольге.

— Ага... — продолжая смотреть на крутые склоны, по уступам которых зеленели колючие кусты, откликнулась девушка. — Тут ничего не надо... Только, чтобы лачужка была да еще вот краешек неба.

— Моря... — поправил ее Петр.

— Неба... — повторила Ольга.

— Ага... — вглядываясь в кремнёвые сумерки найденного камня, повторил Петр. — На море сейчас хорошо...

— Он у нас первый раз в паломничестве... — снисходительно сказала Тамара Алексеевна. — Еще не привык...

Она уже отдышалась и, хотя краснота и не ушла с лица, тяга к назидательному подтруниванию уже вернулась к ней.

Вообще-то Петр мог бы ответить Тамаре Алексеевне, что да, он православный, и хотя и не часто, но ходит в церковь, и паломничества ему нравятся, но тоже — в меру.

Ну съездили в монастырь, и слава Богу.

А что еще? Еще неплохо бы и в море поплавать.

И можно было и не ездить сегодня к источнику. *Что* они там увидели, *что* запомнят кроме колочек, через которые пробирались, спускаясь вниз?

Петр сорвал несколько листьев с виноградной лозы и вытер ими руки, потом, не вставая, сорвал гроздь «изабеллы». Виноград был теплым, но таким вкусным, что жалко было прерывать его терпкий вкус во рту.

Петр отщипнул еще одну ягодку и протянул гроздь Ольге.

— Нет-нет... — отказалась за дочь Тамара Алексеевна. — Не надо немые фрукты есть.

— Это же не с базара... — сказал Петр. — Это прямо с ветки...

— Какая разница? — поддержал жену Толкунов. — А пыль? А ядохимикаты, которыми кусты опрыскивали?!

— Так вроде бы сад заброшен... — сказал Петр. — Какие тут ядохимикаты?

Но пробовать виноград расхотелось и ему.

— Всё! — сказал Толкунов, вставая. — Подъем! За разговорами и на автобус опоздаем...

— Дальше быстрее пойдем... — сказала Тамара Алексеевна. — Экскурсовод говорила, что тут уже хорошая дорога начинается...

— Все равно надо идти... А перед ужином и в самом деле можно и искупаться.

Валентин Михайлович Толкунов нормальным мужиком был.

Петр уже второй год работал в его фирме, и хотя Валентин Михайлович строго себя держал, но только когда дело касалось работы. Сколько раз они встречались в нерабочей компании, и он еще ни разу не показал Петру, что начальник. Держался как равный с равным.

Правда, и Петр не зарывался...

Хотя и не заискивал, но и панибратства не позволял.

Другое дело Тамара Алексеевна, жена Толкунова. С нею было сложнее. Тамара Алексеевна относилась к Петру то, как к родному сыну, то, как к прислуге мужа. И главное — никогда нельзя было понять, в кого она превратит Петра в следующую минуту.

Тут всегда приходилось держаться настороже...

2

Случилось это за поворотом горной тропы...

Петр, замыкавший шествие, — впереди него, заслоня Ольгу и Толкунова, шла Тамара Алексеевна! — не сразу и понял, что произошло. Только когда догнал своих спутников, разглядел троих, похожих

на чеченских боевиков, местных парней, сидевших на корточках посреди дороги.

Одежда на парнях была обычная, городская — джинсы, яркие рубахи, но лица чужие, глаза недобрые.

И по тому, как сидели они на корточках, наглова-то перегораживая дорогу, и по тому, как смотрели, Петр понял, что встреча не предвещает ничего хорошего.

— Что встал как баран, дарагой?! — обращаясь к остановившемуся Толкунову, сказал горбоносый парень, заросший жесткой, как проволока, щетиной. — Иды сюда... Расскажи, кто такие...

— Мы — паломники... — не сдвигаясь, сказал Толкунов. — Туристы то есть... Наша группа уже к автобусу спустилась, а мы здесь решили пройти...

— Паломник, да? — сказал другой парень. — А эти с тобой, паломник, кто?

— Жена... — ответил Валентин Михайлович. — Дочь... Товарищ по работе...

Толкунов говорил совсем не то, что нужно было сейчас говорить, просительный голос не вязался с его массивной фигурой, и еще и поэтому слова его казались особенно жалкими. Петр двинулся было вперед, чтобы по-мужски поддержать Толкунова, но Тамара Алексеевна схватила его за руку.

Это движение не ускользнуло от внимания горбоносого.

Он косовато ухмыльнулся и, вставая, что-то сказал по-своему. Низкорослый парень, быстро взглянув

на Тамару Алексеевну, что-то ответил, сопроводив свою реплику неприличным движением. И тоже встал, бесцеремонно уставившись на женщин.

Потом, яростно жестикулируя, вскочил третий парень, с золотыми коронками на зубах. Горбоносый начал возражать ему и тоже принялся размахивать руками. К ним присоединился и низкорослый...

3

Нестерпимо унижительным было ждать, пока закончится этот разговор, который Петр слышал, но в котором ничего не мог разобрать, хотя и понимал, что парни обсуждают, как поступить с ними.

Должно быть, так же вот чувствовали себя невольники, когда их продавали в рабство в чужой стране, но Петр не собирался уподобляться невольнику.

— Надо прорываться, Валентин Михайлович! — шепнул он.

— Прекрати немедленно! — одернула его Тамара Алексеевна. — Валя! Попробуй без глупостей договориться с ними.

Как ни увлечены были спором парни, но они услышали эти слова Тамары Алексеевны.

— Да! Давай договываться! — обращаясь к Валентину Михайловичу, сказал низкорослый парень. — В общем, слушай конкретно. Вы шли там, где с крестами нельзя ходить! Вы наших богов обидели! Панюмаешь?

И он длинно сплюнул себе под ноги.

— Но мы не знали, экскурсовод не сказала нам... — воскликнула Тамара Алексеевна.

— Малчы, женщин, пока тебя не спрашивают! — прервал ее горбоносый. — Ты, дядя, говары, что думаешь делать теперь...

— Но я не знаю... — растерянно сказал Валентин Михайлович. — А в чем, собственно, проблема?

— Проблема в том, что мы обязаны поступить с вами по нашему древнему обычаю. Или вы сейчас кресты в пропасть выкидываете, или мы вас вместе с крестами туда отправим.

— Да вы что?! — воскликнула Тамара Алексеевна. — Да как вы смеете?!

— А вот так! — горбоносый схватил массивного Валентина Михайловича и, зажав ему согнутой рукой горло, подтолкнул к краю обрыва.

— А-а! — закричала Тамара Алексеевна. — Не трогайте его!

— Крест снмай, тогда и не тронем!

Жара стала еще тяжелее, а время как-то замедлилось.

Петр словно со стороны наблюдал, как дрожащими пальцами пытается Тамара Алексеевна нащупать замочек на цепочке с крестом...

— Тамара Алексеевна... — тихо проговорил не он, а кто-то другой его голосом. — Не делайте этого, Тамара Алексеевна!

— Не делать?! — Тамара Алексеевна, забыв про замочек, яростно сорвала с себя крестик вместе с цепочкой. — А что мне еще делать?

И она протянула крест горбоносому.

— На! Бери!

— Зачем мне крест, женщина?! Туда кыдай! — кивая на пропасть, потребовал тот.

— Но он золотой!

— Ну, ты конкретно глупый женщина! Зачем ты о золоте думаешь, когда конкретно о жизни своего мужа беспокоиться надо! Ты не хочешь, чтобы он жил?!

— Хочу...

— Я не слышу тебя, женщин...

— Хочу! Хочу!!!

— Ну, так делай тогда, что тебе говорят!

Тамара Алексеевна дернулась и обессилено кинула крестик в сторону обрыва. Крестик, блеснув на солнце, скользнул в пропасть.

— Теперь ты! — обращаясь к Ольге, потребовал горбоносый.

— Я...

— Оля! — простонала Тамара Алексеевна. — Оленька-а!

— На! — Ольга сорвала с себя крестик и всунула его в руку матери. Слезы брызнули из ее глаз.

— Так надо, Оля... — Тамара Алексеевна вытерла слезы и уже спокойнее кинула крестик в сторону обрыва.

Потом она посмотрела на горбоносого, словно ожидая похвалы.

— Правильно сделала! — похвалил тот и, освободив шею Валентина Михайловича, почти дружески похлопал его по плечу. — Давай, дарагой, теперь твоя очередь... Если сам умереть не боишься, о женщинах подумай своих... Что с ними будет, когда они с нами без тебя останутся?

Спутники горбоносого весело загоготали.

И третий крестик, блеснув на солнце, пропал в пропасти.

4

— Ну, а тебе что? Тебе особое приглашение надо? — услышал Петр голос горбоносого и не сразу сообразил, что это относится к нему. — Ты крест снимать будешь?

Пальцы Петра с такой силой сжали кусок кремня, поднятого у полуразрушенной ограды сада, что уже не различить стало, где рука, а где камень...

Никто из Толкуновых не загораживал сейчас горбоносого, и Петр шагнул к нему, заранее отводя назад руку с камнем.

— Вах-вах! Какой джыгыт, а! — горбоносый перехватил руку Петра, а низкорослый обхватил его сзади за шею и вот — не прошло и мгновения, как Петр был поставлен на краю обрыва.

Закружилась голова — такая пропасть открывалась внизу...

— Может, передумашь, а?

Петр попытался шевельнуть рукою, но ничего не получилось, так крепко зажимали его запястья.

— Нет... — прохрипел он.

— Ну, тогда прощай, дорогой... — проговорил горбоносый, и Петр замер, ожидая толчка сзади, но тут заговорил низкорослый абхаз.

— Погоды! — сказал он горбоносому. — Зачем торопиться... Объясни ему, что если он не боится умереть, пусть о близких подумает... Они же умрут все, джыгыт, если ты креста не снимишь!

— Причем тут мы?! — закричала Тамара Алексеевна. — Мы же всё сделали, как вы говорили!

— Вы сделали, глупый женщина... — сказал горбоносый. — Но сейчас надо, чтобы и он сделал... Поймы такой простой вещь... Если мы его убьем, надо будет и вас конкретно убивать!

— Петя... — проговорила Тамара Алексеевна. — Я прошу тебя, Петенька, сделай ради Бога, то, что они говорят...

Жара стала еще тяжелее.

От зажимавшей горло руки нестерпимо пахло чем-то резким и неприятным.

Петр мучительно пытался вспомнить, что нужно делать перед смертью, что надо говорить в последнюю минуту, что надо чувствовать, он ведь знал, он читал об этом, но нет, вспомнить не мог.

Раскаленным был воздух, раскаленными были камни, раскаленным было небо. Что-то возникло в дрожащем воздухе, как в том отполированном кусочке кремня, который Петр по-прежнему сжимал в руке.

Что это было?

Лицо?

Чье лицо?

— Ты выкинешь крест, последний раз спрашиваю?! — раздался голос горбоносого.

— Нет!

— Нет?! — взвизгнула Тамара Алексеевна. — А ты, ты Валентин, чего молчишь? Нас же убьют из-за него! Прикажи ему!

Но Петр не слышал, что говорил ему Толкунов.

Он вглядывался в возникший лик и пытался рассмотреть и — почему-то он твердо знал сейчас, что это очень важно! — запомнить его, но лик истаял, растворился в дрожании воздуха.

— Ну так что, джыгыт? — спросил горбоносый. — Бросать их в пропасть, или ты сделаешь то, что тебя просят?

— Ты совершаешь ошибку... — Петр прямо взглянул на него. — Это чужие мне люди.

— Значит, бросать? — как-то нехорошо усмехнулся горбоносый.

— Поступай, как знаешь... — Петр закрыл глаза, чтобы не видеть мерзкой усмешки.

— А ты не снимешь крест?

— Нет...

— Ну тогда всё!

Руки абхазцев, сжимающие запястья, ослабли, потом разжались совсем, и Петр напрягся, ожидая, что вот сейчас и начнется его падение в пропасть...

5

Но ничего не случилось.

— Ты в штаны-то не наделай, джигит! — раздался со стороны голос горбоносого. — И от края отодвинься, а то сам упадешь ненароком!

— Что?! — Петр быстро обернулся.

Парни почему-то отходили от него.

— Да ничего! — уже не коверкая русского языка, сказал низкорослый. — Иди, гуляй дальше. Мы конкретно пошутили.

— Пошутили?! — не разжимая кулака с кремнем, Петр бросился на низкорослого, который стоял к нему ближе других, но низкорослый успел увернуться, и удар пришелся по плечу.

— Ты что?! — закричал низкорослый, отскакивая. — Ты что, сумасшедший совсем? Приколов не понимаешь, да?

А горбоносый вытащил из нагрудного кармана рубашки темные очки и, надев их, сразу превратился в обычного городского парня.

— Ты такой дикий, джигит! — сказал он Петру. — Наверное, в горах здесь живешь, да? Телевизора не смотришь?

И он двинулся по тропинке к заброшенному саду...

Петр смотрел вслед... Но вот парни исчезли за выступом скалы, и пусто стало на тропинке, словно здесь ничего и не было. Только взрывом гортанного хохота, рвануло из-за скалы, где скрылись парни.

Загрохотав, хохот раскатился эхом по ущелью.

— Пошли... — тронув Петра за плечо, проговорил Валентин Михайлович. — Мы напрасно задерживаемся...

— Да... — Петр с трудом разжал сжимавшие кремень пальцы. Камень упал на дорогу, а на ладони закровоточила ссадина. — Да... Надо быстрее спуститься к стоянке. Я парней возьму, и мы заставим этих козлов все ущелье обползать, чтобы крестики отыскать!

Они уже подходили к стоянке автобусов, когда Валентин Михайлович придержал Петра, пропуская вперед женщин.

— Погоди... — сказал он. — Не торопись...

— Как не торопиться? Надо скорее собирать мужиков и идти разбираться с этими козлами, пока они не смылись...

— Не надо... — сказал Валентин Михайлович. — И возвращаться не будем. И рассказывать тоже ничего не надо.

— Не надо?!

— Нет. Не надо. Ты слышала, Оля?!

— Да... Мама сказала мне...

— А ты?! — Валентин Михайлович заглянул в лицо Петру. — Ты сделаешь, как я прошу?

Какое-то полное опустошение охватило Петра.

— Сделаю... — еле слышно проговорил он.

В этот день Петр долго сидел на берегу моря.

Вначале он купался, уплыв далеко в море, потом просто лежал на остывающей гальке, потом, когда стало холодно, собрал возле зарослей сухих веток и развел костер. Когда костер разгорелся, море, такое большое и в сгущающихся сумерках, сразу прижалось к берегу...

Время от времени Петр подкидывал в огонь сухие ветки и смотрел, как вспыхивают они, как поднимаются в темное южное небо тысячи искр, как медленно истаивают они в темноте, и ни о чем не думал, ничего не вспоминал ...

6

Зато утром, когда проснулся, он сразу вспомнил все, и хотя ужасно хотелось есть, так и не мог заставить себя встать и пойти на завтрак. Он понимал, что глупо прятаться от Толкуновых в крошечном пансионате, но совладать с собою не мог.

Неизвестно, сколько бы времени мучился он, но тут в дверь постучали.

— Входите... — натягивая на себя простыню, проговорил Петр. — Открыто.

Дверь отворилась, и в номер вошел Толкунов.

— Извини, если разбудил... — спросил он, поздоровавшись.

— Ну что вы, Валентин Михайлович... — сказал Петр. — Я собирался одеваться, чтобы на завтрак идти...

Он говорил, стараясь не смотреть на Толкунова.

Впрочем, и тот не искал его взгляда.

— А я телеграмму, Петя, получил... — сказал он, подойдя к окну. — У нас ЧП на фирме. Мне надо в Петербург возвращаться...

— А я...

— А что ты? У тебя еще на целую неделю вперед пансионат оплачен... Отдыхай... Покупайся за нас в море...

— Тамара Алексеевна с Ольгой тоже уезжают? — чувствуя, как сваливается с его плеч тяжесть, спросил Петр.

— Да... Мы вместе решили ехать...

— Я сейчас оденусь и спущусь проститься...

— Они уже в такси сидят... — сказал Толкунов, протягивая руку. — В городе свидитесь...

Вот так легко и началась курортная, уже без всяких паломнических экстримов, неделя у моря. Без той тяжести, которую чувствовал Петр с самого начала поездки.

А в конце недели, перед отъездом, подул после грозы сильный ветер, и стало холодно. Петр смотрел, как облетают с олеандров на ступени лестницы, ведущей в пансионат, белые лепестки цветов, и вдруг неожиданно сообразил, что в Петербурге ему надо будет просто перейти на какую-нибудь другую работу, и сразу почувствовал, как хорошо он отдохнул за эту неделю, проведенную у моря.

7

Явившись в понедельник в офис, Петр сразу почувствовал неладное.

Коллеги, с которыми он здоровался, торопливо кивали в ответ и тут же отводили глаза.

— Что это с ними? — спросил Петр у секретарши Леночки, с которой он был в дружеских отношениях. — Случилось что?

— Так... — неопределенно ответила Леночка. — А тебя Валентин Михайлович просил сразу зайти, как появишься...

— Он у себя?

— Ага... Ждет тебя...

Петр, когда входил в увешенный иконами кабинет Толкунова, обдумывал, сразу ли объявить, что

он уходит с фирмы, или поработать несколько дней, а заодно и подыскать подходящее место.

— Здравствуйте, Валентин Михайлович...

— Здравствуй, здравствуй Петр... — Толкунов встал из-за стола.

Но пошел почему-то не к Петру, чтобы поздороваться, а в угол, где стоял приоткрытый сейф. Вынул оттуда пакет и положил его на стол.

— Это твое... — отворачиваясь к окну, сказал он. — Извини, но так надо, Петя... Извини...

Петр заглянул в конверт. Там лежала его трудовая книжка и пухлый конверт с деньгами. Еще из конверта выпала незнакомая визитка.

— Кто это? — спросил Петр, поднимая ее.

— Это человек, которому я рекомендовал тебя на работу... Работа там примерно такая же, а оклад больше...

— Спасибо... — сказал Петр. — Ну, я пойду тогда...

— Иди, Петя... Иди...

И Петр вышел из кабинета Толкунова, не зная, огорчаться ли ему или радоваться этой неожиданной перемене, которой он хотел сам.

Быстро собрал свои вещи и, не прощаясь с сослуживцами, — конечно, к любому, кого увольняют, отношение немножко настороженное становится, но отчего же сразу-то так демонстративно сторониться? православные ведь все-таки... — заглянул к Леночке.

— Ты не переживай... — попросила она.

— А я и не переживаю. Устроюсь куда-нибудь...

— Еще бы ты и не устроился... — искренне сказала Леночка. — Но ты и за тот случай тоже не переживай...

— За какой случай?..

— Ну там, у источника на юге... Подумаешь, испугался ты... Ну и что? Если бы со мной такое случилось, я бы тоже испугалась...

— А кто тебе рассказал, что я испугался?

— Почему мне? — удивилась Леночка. — Тамара Алексеевна, когда они вернулись, собрала всех наших и рассказала, что произошло... И про то, как ты крестик свой выкинул... Валентин Михайлович тебя защищал ужасно, он рассказывал, какие это отморозки были. Он сказал, что если бы они у него потребовали крест снять, он и сам не знает, как бы поступил... В общем, он ужасно не хотел тебя увольнять, но коллектив так решил... Ты извини нас, ладно?..

Петр вздохнул и медленно обвел взглядом помещение приемной, словно пытаясь вспомнить, где он сейчас.

Глаза его зацепились за образ Спаса, висевший между Леночкиным компьютером и стенным зеркалом.

Он удивленно сморгнул. Такое ощущение было, что он уже видел эти наполненные милосердной печалью и животворящим состраданием глаза.

Ну да...

Там, на краю обрыва, к которому его подтащили эти отморозки...

— Ты не сердись на нас, Петя... — повторила Леночка.

— Я не сержусь... — сказал Петр и медленно осенил себя крестным знамением, глядя прямо в наполненные милосердной печалью и животворящим состраданием глаза.

Потом он поцеловал Леночку и хотел уже идти, но Леночка задержала его.

— Возьми... — сказала она и положила на стол кусок кремня, который зажимал Петр в руке у обрыва, который он там и уронил на землю. — Это Ольга просила тебе передать...

Русская судьба

(Мысли, зарисовки, рассказы)

По другую сторону Пасхи

Писательство есть Рок. Писательство есть fatum. Писательство есть несчастье.

В.В. Розанов

Четырнадцатого апреля в 1856 году умер русский философ Петр Яковлевич Чаадаев.

Опубликованное им в 1836 году «философическое письмо» дало повод императору Николаю I заподозрить его в душевной болезни.

Умер Петр Яковлевич Чаадаев на Страстной неделе, а через несколько дней, как бы заменяя его в России, родился другой мыслитель, Василий Васильевич Розанов.

Он тоже был склонен к эксцентрическому восприятию мира, но сумасшедшим его никто не считал. Впрочем, ведь хотя и родился Василий Васильевич 20 апреля 1856 года, но неделя между смертью Чаадаева и рождением Розанова разделена Пасхой, и рождение Василия Васильевича произошло уже на Светлой седмице.

Я не знаю, задумывался ли сам Розанов об этом соседстве, но, словно вспоминая знаменитое письмо

А.С. Пушкина, писавшего П.Я. Чаадаеву: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков», — и Василий Васильевич говорил *за уборкой своей библиотеки*:

«Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от нее... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости — тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого. Так да будет».

Только не все ли равно, кому эти слова адресованы, Чаадаеву или нам...

Такое ощущение, что во тьму — по другую сторону Пасхи — и адресованы они, чтобы хоть как-то обозначить путь...

Русская судьба

Для православного человека очевидно: твоя жизнь принадлежит не тебе, а Богу. И это и есть твоя судьба.

Бывает, что человек, как например Евгений Родионов, проживет всего 19 лет и ничего-то и не сделает, не успеет сделать за свою короткую жизнь, но и эта короткая жизнь его сумеет вместить в себя великую судьбу...

А бывает, что и долго живет человек, и вроде бы и сделает немало полезного, а судьбы не получается...

Потому что не для Бога живет, не для Бога работает...

Не по-русски, одним словом...

Во тьме

Вера весь вечер просидела в квартире одна. Время от времени смотрела на телефон, но телефон молчал.

Вере стало грустно.

Совсем, совсем одна жила она после смерти сына. Никого не было и не будет уже. Даже подруги и те подевались неведомо куда.

Вера вдруг подумала, что вот умрет она, а никого нет рядом.

И так страшно стало, когда она представила себя мертвую в своей отдельной двухкомнатной квартире, где ее найдут неизвестно когда, что она позвонила брату.

— Я помру, наверное... — сказала она.

— Брось глупости говорить, — сказал брат. — Ты же еще не старая.

— Не старая... — вздохнула Вера. — Но знаешь, так страшно стало, когда я представила себе, что умерла, лежу в своей квартире и никого, никого нет! Никто не знает, что я умерла...

— Ой, не придумывай ты глупостей, — сказал брат. — Не отвлекай меня... Я футбол смотрю!

И он повесил трубку.

А Вера, слушая гудки в трубке, заплакала, так ей стало обидно.

Потом ей захотелось попить чаю, и она встала. И только положила трубку, как телефон тут же взорвался звонком.

Звонил брат.

— Ты чего? — спросила Вера. — Футбол закончился, что ли?

— Не... — сказал брат. — Перерыв между таймами... А ты что, серьезно это?

— Что это?

— Ну, что умрешь...

— Умру, конечно, — вздохнула Вера. — Еще ни одному человеку не удавалось остаться жить вечно. Или у тебя другая информация есть?

— Ну да... Конечно... — сказал брат. — Но я так понял, что ты не вообще про свою смерть говорила, а конкретно.

— Может быть, и конкретно, — сказала Вера. — Ощущения у меня, Борис, последнее время какие-то тревожные... А что? Неужто ты обо мне заволновался?

— Ну, а о ком мне еще волноваться? Ты не пове-ришь... Ты позвонила, а я даже футбол смотреть не могу! Все сижу и о твоих словах думаю...

— Спасибо! — растроганно сказала Вера. — И на том спасибо... Мне сочувствие сейчас очень важно. Такое, понимаешь, одиночество, что кажется, никому ты не нужна. Совсем, совсем никому... Пони-маешь?

— Понимаю, конечно... — сказал брат. — Но ты извини... У меня футбол начинается. Ты мне вот что скажи... Квартира-то у тебя на кого записана?

И вроде и ничего не сказал, а темно в глазах стало... Осторожно Вера повесила трубку.

Так темно было, что в такой темноте и сам не знаешь, куда забрести можно.

Число зверя

Когда начались разговоры о ИНН, многие православные публицисты обращали внимание, что в системе штрих-кодов содержится число 666.

Не знаю, — тут я не специалист, — насколько явно присутствие Числа Зверя в штрих-кодах, но то, что ИНН вызывает в людях настоящее озверение, очевидно...

Вот, к примеру, недавно протоиерей одного из Санкт-Петербургских соборов приказал уволить с работы двух женщин, отказавшихся принимать идентификационный номер.

И спрашивается, какое этому протоиерею дело, приняли женщины ИНН или нет... Зачем, спрашивается, принуждать? Тем более, запугивая увольнением. Это ведь и перед Богом грех, и, в конце-то концов, это еще и явное нарушение закона, Конституции...

— Ну и что? — сказал редактор православной газеты, которому я рассказывал все это. — Я, между прочим, тоже своим сотрудникам объявил, что всех вас, отцы мои, уволю, кто ИНН не возьмет.

— Вы?! — вытаращился я. — Но зачем?! Зачем вам это надо было?!

— Как это зачем? — сказал редактор. — У меня со счетами проблемы возникли, нужно было ИНН брать... Ну, и взял... И что же, я с ИНН буду, а они без него?! Нет, отцы мои, не выйдет! Или тоже принимайте, или валите отсюда на все четыре стороны...

— Так и сказали?

— Так и сказал... — редактор начал приглаживать волосы, как всегда делал, когда ощущал довольство собою. — И вам, отцы мои, не буду гонорара платить, пока ИНН свой не сообщите...

Лучше уж бы и не приглаживал редактор волосы. Сейчас два вихра торчали из его шевелюры, точь-в-точь аки рожки.

Хотя, может, и показалось...

Больше я не заходил в эту редакцию.

Встреча с чудотворцем Николаем

Рассказ Светланы

Это еще при советской власти было...

Поехала я тогда тетку навестить в поселке. И, когда уже прощались, она попросила передать в церковь от нее сто рублей...

— Хорошо! — кивнула я. — А *что* сказать-то, на *что* эти деньги...

— Да передай и все, пускай на церковные нужды пустят. А куда? Не надо и говорить... У меня так решено.

— Хорошо! — говорю. — Обязательно передам.

— Ты возьми деньги-то... Мне пенсию вчера принесли.

— Оставь себе, — говорю. — Я все равно тебе хотела денег оставить, но коли не берешь, в церковь за тебя занесу...

— Ты за себя, Светочка, занеси лучше.

— И за себя занесу. За тебя сто рублей. И за себя — сто. Как раз те двести рублей, которые и хотела тебе оставить...

1

На этом мы и простились с теткой, а когда я вернулась в город, дела меня там замотали, неурядицы разные... В общем, откладывала я исполнение своего обещания, откладывала, а потом и вообще позабыла о нем.

И не вспомнила бы, если бы тетка сама не напомнила...

В ту ночь, под утро, я ее во сне увидела. Стоит с образком Николая Чудотворца в руках и на меня смотрит укоризненно.

— Ты просьбу-то мою, Светлана, забыла?

— Какую просьбу?!

— Дак в церковь я тебя просила сходить...

— Ой, — говорю, — прости, тетенька! Сегодня же побегу!

— Дак уж сбегай! — говорит тетушка. — И кроме тех денег, которые обещала отнести, отпевание закажи.

— По кому?!

— А вот пойдешь заказывать, и узнаешь...

И пропала из сна.

2

Вернее, это я проснулась...

Муж у кровати стоит. Оказывается, телеграмму принесли. Написано там, что тетка моя померла... Через три дня похороны.

Ну, я вскочила и первым делом в церковь побежала...

А рано еще было...

Церковь только открылась, одна свечница за прилавком своим копается.

Рассказала я ей про свой сон.

— Да, — говорит, — обязательно надо с батюшкой посоветоваться.

— А где его найти?

— Сейчас литургия начинается... В алтаре батюшка, ты подожди, а после службы обязательно подойди и расскажи все...

Ну, я отстояла службу, потом подошла к священнику, рассказала, какая меня печаль к нему привела.

Он сказал, что отпевание обязательно заказать надо...

— А я, — говорит, — землю дам, и вам надо будет, если на похороны поедете, посыпать ее на гроб, или потом на могиле покойной рассыпать...

Тут же и совершил отпевание.

— А деньги куда отдать? — спросила я.

— Какие деньги? — удивился священник. — Свечница говорит, что вы заплатили что положено...

— Не, — говорю я. — Это другие деньги...

И рассказала ему о теткиной просьбе, которую я обещала исполнить.

— Ну, это куда вы пожелаете... — сказал батюшка. — Мы сейчас образ Николая Чудотворца собираемся реставрировать, можете на реставрацию пожертвовать.

И он подвел меня к иконе, в темноте которой только глаза святителя и можно было разглядеть.

Но, присмотревшись, я сразу узнала икону.

— Батюшка! — говорю. — Такой же образ Николая Чудотворца у тетки висел. Только маленький, в типографии напечатанный. И сегодня во сне я ее с этим образком в руках видела.

— Ну и слава Богу... — сказал священник. — Видно, на реставрацию этой иконы ваша родственница и пожертвовала деньги...

Взял он у меня сто рублей, которые я ему приготовила, и опустил в копилку, стоящую под иконой.

3

— Хорошая история... — сказал я, когда моя собеседница замолчала.

— Да, — сказала Светлана. — Только на этом моя история не закончилась. Продолжение было у нее... Похоронили мы тетку, как положено, ну и снова пошла обычная жизнь. Семья... Работа... Хлопоты... А летом мы поехали в отпуск на юг... И вот там еще одна история приключилась.

Взяли с мужем напрокат лодку и поплыли в море, рыбачить. Выплыли, куда нам показали, бросили якорь.

Только рыбалка не задалась.

У мужа пару раз клюнуло, а у меня и не клевало совсем...

В общем, закинула я удочку, а сама на надувном матрасе в носу лодки устроилась.

И заснула, конечно, а когда проснулась, смотрю, муж тоже спит, и сколь времени это безобразие продолжается, неизвестно, только я обгорела вся на солнце.

Муж тоже обгорел сильно.

Сидит на кормушке и по сторонам смотрит.

— Чего, — спрашиваю, — головой крутишь?.. Поплыли скорее к берегу, пока совсем не сгорели...

— Поплыли... — говорит муж. — Только скажи, куда плыть, если знаешь.

Я думала, что шутит он, но повернулась назад, а там никакого берега нет. Крутом море...

Это, пока мы спали, нас сорвало с якоря и утянуло неизвестно куда.

И чего мы только ни делали.

И кричали...

И по солнцу сориентироваться пытались... Только не очень удачно определились, полчаса гребли в этом направлении, а никаких признаков берега нет...

Бросили весла, сидим, сами не знаем, что дальше делать... Главное, что день, а вокруг ничего — одно море. Как будто потоп был, и мы с мужем вдвоем на Земле остались.

Подумала я так и тут теткину икону вспомнила...

— Николай Чудотворец! — говорю. — Хоть ты вразуми нас непутевых...

Бормочу это, пытаюсь перекреститься, а сама плачу...

Но тут муж на меня закричал.

— Кончай реветь, дура! Вон, лодка какая-то плывет!

Схватились мы за весла, гребем, сколько сил есть.

Ну, слава Богу, не пустая лодка оказалась.

Дед какой-то сидит в ней.

— Дедушка! — муж говорит. — Скажи, ради Бога, в какую сторону берег?

Дед махнул рукой, чтобы мы за ним плыли, и вроде и не греб совсем, а только, чтобы не отстать от него, мы изо всех сил на весла налегли... И все равно, не догнали его. Пропал он...

Но тут уже берег мы увидели.

Слава Богу, добрались до места!

Вначале, конечно, только мазилками разными мазались, от ожогов лечились.

А потом я о старике вспомнила, кто это, думаю, спаситель наш был... И когда вернулись домой, первым делом к своему батюшке побежала. Рассказала о приключении, а потом спрашиваю, за кого молиться теперь, за кого свечку поставить...

— Так ему и поставь! — говорит священник и к иконе меня подводит.

К той самой, на реставрацию которой я деньги давала.

Только тогда темная икона была совсем, не разглядеть ничего. А теперь очистили, и икона словно светом изнутри озарилась, и смотрит с нее на меня тот самый старичок, которого я в лодке видела...

— Так это Николай Чудотворец и был? — спросил я.

— Батюшка говорит, что он... — сказала Светлана и перекрестилась. — Я теперь ни одного акафиста ему в церкви стараюсь не пропускать...

Исповедничество нашего времени

Заговорили об ИНН...

— Как же быть, если заставляют принимать этот ИНН? — спросил сидевший в нашей компании православный поэт. — Говорят, что зарплату платить не будут. Что же делать?

— Тут самому надо решать! — ответил на это валаамский монах. — Недаром ведь старцы говорят, что исповеднические времена наступают...

— А кто же тогда я? — спросил бывший сотрудник православной газеты. — Меня редактор уволил за то, что я ИНН не стал брать. Кто же я? Исповедник?

— Получается, что в этом ты исповедник и есть... — сказал монах.

— А редактор наш тогда кто? Он же принуждал всех ИНН брать...

— А кто редактор у вас был?

Уволенный сотрудник назвал фамилию.

— N?! Ну N и есть N, чего же тут спрашивать...

Чтобы умереть в своей постели

Соседу Михаилу предложили подшиться.

Была у него слабость — выпить любил, и удержу в выпивке знать не хотел. Вот ему и предложили такое на работе...

Михаил подумал и согласился...

А куда денешься, если начальство просит?

Да и не нужно было никуда ходить, доктор сам в пятницу должен был на завод прийти...

Два дня Михаил ходил, задумавшись, а в четверг совсем помрачнел, ни с кем — ни с женой, ни с дочерью — не говорил, сидел на кухне у стола и барабанил пальцами.

— Миша! — не выдержала жена Вера. — Ну что ты, в самом деле? Чего ты боишься? Что человеком станешь?!

Только посмотрел на нее Михаил тяжело, но ничего не сказал. Лег в постель на спину и так и пролежал до утра с открытыми глазами. Молча ушел на работу, а вечером вернулся совсем пьяный... Упал у порога, а из кармана бутылочка с красной головкой выкатилась.

Жена подняла пузырек «Красной шапочки» и прошла на кухню, села там, у стола, и заплакала.

— Не расстраивайся, мама! — сказала ей дочка. — Ну его! Очень надо расстраиваться... Мы его в проработку возьмем и сделаем из него человека. Никуда не денется, подошьется!

— Я не об этом плачу... — вытирая слезы, сказала Вера. — Если так мучиться, то и не надо подшиваться... Он ведь руки на себя наложит от горя!

— Уже наложил! — прохрипел из коридора Михаил.

— Чего ты, папа, бормочешь такое? — спросила дочка. — Ты просто выпил, а говоришь, сам не знаешь чего...

— Ничего я не говорю... — Михаил с трудом встал и, пошатываясь, прошел на кухню. — Подшил я се-

годня, мать! Всей бригадой подшились, как начальство велело. А потом вышли из проходной и «Красной шапочки» на все деньги взяли. Чтобы все сразу, значит...

— И что?!

— А я откуда знаю, *что*... — ответил Михаил. — Мы по одному пузырьку оставили и разошлись, чтобы в своих постелях, понимаешь, умереть... Чтобы как люди, значит...

«Православные» надежды

— Тут я такие иконы видел у приятеля, — сказал мне знакомый. — Раньше они у его бабки в сундуке в деревне лежали, а теперь, когда померла старуха, он их привез и у себя в квартире повесил...

— Верующий?

— Какой он верующий, если пьет по-черному? А иконы повесил, потому что верит, что они ему помогут. Ага... Какая, я ему говорю, помощь тебе от икон будет, если ты сам себе помочь не хочешь? Но он упёрся и ни в какую...

— Да... — вздохнул я сочувственно. — Бывают и такие православные...

— А я все равно надежды не теряю, — сказал приятель.

— Что он пить бросит?

— Не... Что он иконы свои мне продаст! Уж очень они замечательные у него... Очень такие иметь хочется...

Молитва игуменье Евпраксии

Послушница в Успенском монастыре рассказывала, что надо было молока купить, а поздно уже, ни у кого не спросишь.

Помолилась Евпраксии, прежней настоятельнице монастыря, чтобы послала три литра молока, и только закончила, бежит женщина.

— Молока, — спрашивает, — не возьмете?

— Возьмем, — говорю. — Три литра нам надобно...

— Не... — говорит женщина. — Всё берите... У меня литров пять оставшись... Куда я с двумя литрами пойду?

И хоть и не надо нам было столько молока, не стала спорить.

— Возьмем, — говорю.

Женщина довольная ушла, возвращается с бидоном.

— Не, — говорит, — у меня всего три литра оставшись...

Самарская тайна

Лет пятнадцать назад я написал рассказ «Несостоявшаяся встреча», об истории, произошедшей в 1956 году в Куйбышеве.

Рассказ этот, собственно говоря, повествовал не о «стоянии Зои», а о некоем командировочном Николае,

который якобы собирался прийти в гости к Зое, но не пришел и стал, таким образом, причиной, побудившей Зою на дерзкий танец с образом Николая Чудотворца.

В рассказе говорилось о том, что произошло потом с самим Николаем...

Рассказ был напечатан впервые в «Благовесте» и множество раз перепечатывался потом, а недавно сюжетную завязку его, очевидно, посчитав рассказ за документальное свидетельство, использовал сценарист фильма «Чудо».

Но дело, конечно, не в этом, а в том, что, видимо, только такое «обходное» движение и позволяет хоть как-то приблизиться к самарской тайне, которая существует и действует не сама по себе, а всегда внутри тех людей, которые прикасаются к ней.

Недавно, перебирая свои записные книжки, я наткнулся на мурманские записи, которые подтверждают эту мысль...

* * *

Владыка Симон, архиепископ Мурманский и Мончегорский, рассказывал, что он встречался с архимандритом Серафимом, снимавшим — он тогда был иеромонахом — окаменение с Зои.

Приехав в дом на улице Чкалова, Серафим отслужил молебен и вынул икону из рук окаменевшей девушки. Потом он продолжал читать молитвы, пока окаменелость не сошла с девушки...

— Страшные подробности рассказывал мне покойный отец Серафим, — сказал владыка Симон. — Но рассказывать их я не буду.

— Почему? — спросил я. — Это архимандрит Серафим взял с вас слово не рассказывать ничего или вы сами считаете, что не пришло еще время говорить об этом?

— Не пришло время... — ответил владыка.

* * *

Еще владыка Симон рассказал, что в восьмидесятые годы появилась в Куйбышеве женщина, называвшая себя Зоей...

Появление ее вызвало немалое смущение среди церковных людей.

Многие обращались к владыке Иоанну (Снычёву) с просьбой разъяснить, кто эта женщина — настоящая Зоя или самозванка.

Митрополит Иоанн (Снычёв), бывший тогда еще архиепископом, попросил привести к нему женщину и долго беседовал с нею.

— Владыка, — спросили у него, когда гостья ушла. — А с женщиной-то чего делать?

— А не надо ничего делать, — сказал будущий митрополит Иоанн. — Та это Зоя или другая, не важно... Вы к ней, как к обычной прихожанке, относитесь.

Покаяние

Ребенок совсем больной родился и долго, очень долго не вставал на ноги.

Но Римма Ивановна, хотя и одна — муж совсем пьяницей стал! — растила Петю, не унывала.

Молилась она, каялась за грехи родни своей, и вот Господь услышал молитвы — встал Петенька и пошел.

С ним и пришла Римма Ивановна в церковь, чтобы рассказать о совершившемся чуде и почитать стихи, которые она стала писать, когда молилась.

— Слава Богу, что ребенок пошел... — сказал батюшка, перебирая листочки со стихами. — А про какой это прадедовский грех вы пишете, который отмолили?

— Так ведь там сказано, батюшка! Можно сказать, что самый страшный грех. Дед моего мужа солдатом был, когда митрополита Вениамина расстреливали в 1922 году... Вот его в эту расстрельную команду и назначили...

— Во как... А я читал, что мучеников наших даже переодели перед расстрелом в другую одежду и постригли, чтобы никто не знал, кого расстреливают... А вам дед сам о расстреле говорил? Не поминал, где это было?

— Нет, батюшка... Эту историю я от мужа знаю, а он от своей матери слышал.

— Так, может, напутали чего? Может, и не Вениамина он расстреливал?

— Кого же, если не Вениамина? Петенька-то мой, правнук его, сколько не ходил, пока я этот грех не отмолила!

— А других грехов у вас не было? — спросил священник, откладывая стихи.

— Не... — Римма Ивановна покачала головой. — Вроде больше я про расстрелы не слышала. Так чего вы решили?

— А что я должен решить? — удивился священник.

— Ну как что? Книжку-то вы мне поможете издать? Я даже название придумала для сборника — «Покаяние»...

Благословение

— Вот такие целители есть... — жаловался сосед в автобусе. — Съездил к нему, Бог знает куда, заплатил почти тысячу рублей, а теперь не знаю, что с шеей делать! Не повернуть голову стало...

Я сочувственно вздыхал — этого человека я часто встречал в церкви и своими глазами видел, как изменился он, побывав в руках чудо-целителя.

— Это вы не про целителя с Невской Рогатки говорите, который и остеохондроз лечит, и поясничные грыжи снимает? — спросил, повернувшись к нам, мужчина, сидевший впереди.

— А вы тоже у него пострадали?

— Нет-нет... Слава Богу, уберется... Благословение помогло.

— Благословение? — удивился я.

— Благословение... — ответил мужчина. — Тут такая история получилась... Когда мне достали адрес этого чудо-целителя, я в церковь к себе пошел.

«Так и так, — говорю. — Благословите, батюшка, сходить к целителю этому. Совсем от остеохондроза житья не стало...

Ну, а батюшка расспрашивать стал, поинтересовался, где я адрес его достал...

Я вижу, что не хочется ему благословение давать, и объяснил, дескать, никакой не шарлатан этот целитель, потому что мне адрес его очень и очень надежные люди добыли, в церкви, между прочим...

В общем, добился я благословения.

Только какое-то странное благословение получил...

«Езжай! — сказал мне батюшка. — Если, конечно, не передумаешь, когда поедешь»...

Очень я хотел расспросить у него, что это значит: «если не передумаю»? Ведь я уже давно решил. Столько времени адрес искал...

Но не удалось расспросить, что это «если» означает. Другие прихожане к батюшке подошли, отвлекли его...

Я домой пошел.

Дома обдумал все еще раз и решил, что благословение к чудо-целителю идти все-таки батюшка дал мне, хотя и раздумывал вначале...

С утра и собираться стал.

Уже и пальто надел, и только тут сообразил, что бумажку с адресом забыл. Начал искать ее, а ее нет нигде.

Что делать?

Знакомым попробовал позвонить, но они в церкви.

Делать нечего, решил в церковь ехать...

Мужчина замолчал...

— Простите! — сказал я. — Но вы собирались рассказать, как вас благословение уберегло от лечения у шарлатана этого...

— Так я и рассказал все... — засмеялся мужчина. — Я в церковь-то *эту* приехал, чтобы адрес взять.

И взял... Сейчас собирался к целителю ехать, а тут ваш рассказ услышал...

На острове Залита

Матушка Мануила рассказала историю одной своей поездки на остров Залита...

Вместе с нею ездили на остров Настасья и Виктор, уже не очень молодые, интеллигентные люди. Настасья работала в Русском музее, Виктор — в Эрмитаже.

Ссориться научные сотрудники начали, как только сели в машину.

Вначале просто подтрунивали друг над другом, но с каждым километром пути колкости становились все грубее, все злее.

А на острове уже настоящая драка началась...

Настасья лицо Виктору расцарапала, Виктор ее за волосы схватил...

Разнимали их, но как разнять, если в них такая сила появилась, что никто справиться не может.

И тут матушка Мануила подняла глаза и видит: на взгорке, опираясь на палочку, отец Николай стоит.

— Эк, — говорит, — матушка, и тебя беси-то в свору свою впрягли!

Только тогда матушка и опомнилась.

А отец Николай стукнул палочкой своей о землю.

— Кыш! — говорит. — Прочь идите!

И тут сразу и прекратилась драка.

— Витенька! — плачет Настасья. — Да что же это я творю?!

А он перед ней на колени упал, руки целует.

— Настенька! — плачет. — Да как же я руку на тебя мог поднять?!

Вот ведь как иногда на острове Залита при отце Николае бывало...

Женщина в красной юбке и зеленой кофте.

Ходили на Валаамское подворье, приложиться к кресту-мощевику.

Когда пришли, на двери объявление: «Храм закрыт на 10 минут на уборку».

Мы перешли дорогу и зашли в обувной магазинчик. Долго примеряли обувь, пока не выбрали мне туфли, купили их и с коробкой вернулись к подворью, а храм по-прежнему закрыт.

— А чего закрыто-то? — спросила пожилая женщина в красной юбке, зеленой кофте и белом платочке, подойдя к нам. — Чего там написано на двери?

— Там написано, что храм на десять минут закрыт... — сказал я.

— Ну, тогда ничего... — сказала женщина. — Десять минут можно и подождать...

— Можно и подождать... — согласился я. — Только объявление и час назад висело, когда мы подходили...

— Какое объявление? — спросила женщина.

— Это и висело объявление... Что подождать десять минут надо...

— И вы подождали?

— Как видите... — сказал я, кивая на коробку с туфлями. — Целый час в обувном магазине провел, пока туфли выбирал. А храм по-прежнему закрыт...

— Так вы же говорили, что там написано, что *подождать* надо... — сказала женщина.

— Не все ли равно, где ждать... Все равно ведь полтора часа прошло...

— Не все равно... — сказала женщина. — Не всё...

Я не стал спорить, хотя и хотелось ответить.

Демонстративно посмотрел на часы и отвернулся от женщины.

Ну, а чтобы не нервничать, начал утреннее правило вычитывать, которое так и не успели с женой утром прочитать.

И вот, не успел дочитать, а двери храма открылись.

Машинально я взглянул на часы — стрелки сместились ровнёхонько на десять минут.

Взглянул на женщину в красной юбке и зеленой кофте, чтобы сказать ей, что права она оказалась, только женщины этой нигде не было...

Пророчество старца

Священник отец Владимир рассказал, как однажды приехал на остров Залита к отцу Николаю Гурьянову, а тот его вопросом встретил, дескать, чего это он белый такой...

— Седею, батюшка... — ответил отец Владимир.

— Ну, когда совсем побелеешь, покрасся немного... — сказал отец Николай.

Отец Владимир долго не мог понять смысл старческого совета, и только когда преставился старец, уразумел.

— Старец ведь не о волосах говорил, а о том восхищении, которое я к белому движению тогда питал... А чего восхищаться белыми офицерами, генералами, которые царя-мученика и предали? Чего казакам гордиться, если они вместо того, чтобы за Государя полечь, в Париж умотали...

Бесы

В церкви как-то беспокойно было...

Вроде и невелик храмик, и народу не много, а все время какой-то шум — чихание, кашель... Люди переминаются с ноги на ногу, что-то поправляют на себе...

Седовласый священник, такой маленький и сгорбленный, стоял возле анаоя, на котором лежали Крест и Евангелие, и слушал женщину в черном платочке. Говорила она тихо, и вдруг, перекрывая шум в церкви, пронзительно зазвучал грубый мужской голос...

— Это наше! Наши — девки в брюках! Наши — мужики пьяницы!

Но ужасен был даже не сам голос, а то, что исходил он от скромной женщины в черном платке, что исповедовалась сейчас.

— Вот бедная... — вздохнула стоящая рядом старушка. — Ишь, как бес-то крутит ее... Меня тоже они донимают...

— Как это?

— Да так... Я в коммунальной квартире живу, а сосед у меня — красивый молодой парень. Однажды захожу к себе в комнату, а он у меня в постели лежит. Голый весь и к себе манит. Я перекрестила его и из комнаты выскочила, сразу в церковь побежала... А вернулась — возле дома с соседом встретилась. «Откуда ты?» — спрашиваю. А он удивился... «Из института, — говорит. — А что?» Вот тогда и поняла я, что это бес был...

Старушка повернулась к иконе и перекрестилась.

Самого образа Богородицы и не разглядеть было.

В стекле киота слабо вздрагивали отражения свечных огоньков. Да еще там теснились разные — старые и молодые — лица...

Тречка

Валентина Николаевна готовит в церкви обеды.

Считается, что за свою работу она получает жалование, правда, каждый раз она приносит в церковь столько своих продуктов, что сразу становится понятно — никакого церковного жалования на них не хватит.

Но Валентине нравится готовить, и готовит она великолепно.

— Повезло вашим домашним... — хвалят ее. — Можно и в рестораны не ходить. У вас вкуснее и интереснее!

— Не... — говорит Валентина. — Дома так не получается.

— Почему? Тут ведь и газовой плиты нет!

— Зато тут молитвы есть... Я ведь готовлю, когда литургия идет. Вот и получается вкусно.

— Так выходит, что вашим домашним и не удастся такого попробовать?

— Не знаю... — сказала Валентина.

Потом подумала и рассказала историю.

— У меня дочка Таня тогда в Англию уехала... Я скучала сильно. А тут батюшка из алтаря на кухню выходит...

— Как, — говорит, — гречкой вкусно пахнет! Вот бы Тане твоей сейчас ее попробовать.

— Что вы, батюшка, — говорю. — Во-первых, Татьяна у меня вообще гречи не ест. А во-вторых, в Англии она сейчас, не приедешь оттуда кашу попробовать. Даже не звонит ведь...

— Ну-ну, — батюшка говорит. — Не бери в голову... Позвонит она. Позвонит!

И ушел в алтарь.

А я домой пришла, и сразу звонок.

Таня моя звонит из Англии.

— Мама, — говори, — я позвонить давно собиралась, да все отвлекало что-то. А сегодня так каши гречневой захотелось, просто сил нет. Вот пригото-

вила и тебе звоню. Словно у тебя в церкви, такая же вкусная каша получилась...

У меня даже дыхание перехватило.

— Во сколько, — спрашиваю, — ты кашу поставила варить?

— В полдень, если по-вашему... А что это тебя заинтересовало?

— Да так, — говорю, — не обращай внимания. Я очень скучаю по тебе, Таня.

— Я тоже скучаю, мама... Очень-очень.

Пасха на Руси

*Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В нагоде твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.*

Ф.М. Тютчев

Погода вначале была хорошая, тихая.

Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку...

Так начинается рассказ А.П. Чехова «Студент», который сам Антон Павлович считал своим лучшим рассказом...

Герой его, студент духовной академии Иван Великопольский, возвращаясь с охоты на вальдшнепов, идет в сгущающихся сумерках по заливному лугу. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему кажется, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потёмки сгустились быстрее, чем надо...

1

И пейзаж, и настроение «Студента» созвучны «Пасхальным вестям» Якова Полонского:

Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи...
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи...
На буграх камня обнажили
Лысины, покрытые в мороз...
И на камни стали падать слезы
Злой зимой очищенных берез...

В рассказе А.П. Чехова так же пронзительно и проникновенно описано русское переживание Страстной пятницы, когда от тяжести невообразимого горя сжимается сердце и весь мир, еще несколько часов назад наполненный звуками весны и человеческими голосами, становится пустым.

«Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска,

такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой».

Стремясь укрыться от пустоты, ледяным холодом заползающей в сердце, герой рассказа А.П. Чехова сворачивает к костру на вдовьих огородах, далеко кругом освещающему своим жарким пламенем вспаханную землю.

У костра две женщины.

Вдова Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — говорит студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

2

Помню, впервые я прочитал этот рассказ возле дома-музея Чехова в Ялте, где он и был написан, и показалось, что тяжелое ялтинское солнце уже не так безжалостно давит на землю — предпасхальным холодком повеяло от книжных страниц.

«Студента» Чехов написал в 1894 году, и всегда потом вспоминал о нем как о своей удаче.

Рассказ очень простой.

Он как бы нарочито разделен на три абсолютно равные части.

Вначале — среднерусский пейзаж, внезапно подувший холодный ветер... Пейзаж среднерусской полосы выписан сурово, точно и как-то щемяще нежно. То ли в предощущении этого рассказа, то ли уже после, под влиянием им же самим созданного шедевра, Чехов писал в тот год в письме Лике Мезиновой из Ялты: «...север все-таки лучше русского юга, по крайней мере весной».

Во второй части приводится рассказ студента об отречении апостола Петра той страшной ночью. А в третьей, заключительной, — рассказывается о том, что думает студент, возвращаясь домой.

Рассказ занял всего 195 строк «Русских ведомостей», кстати сказать, скрупулезно подсчитанных самим Чеховым в записной книжке: «без заголовка и без подписи».

Рассказ поразительно краток, если учесть, как много остается после него в памяти. И мать студента, которая «сидя на полу босая чистила самовар», и отец, кашлявший на печи; и высокая пухлая старуха Василиса, и ее дочка Лукерья, и мужики, то пропадающие в темноте у реки, то снова возникающие, бородатые и молчаливые, в свете костра...

А еще — и это, конечно, главное! — остается тревожное ощущение Страстной пятницы, соединяющее не только героев рассказа, не только нас, читателей, с этими героям, но и всех нас...

И тех, кто жил раньше, и тех, кто будет жить после...

3

Герой рассказа посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось была на двенадцати евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били...

Понятно, что человек, подошедший погреться к чужому костру, должен говорить что-то. Герой чеховского рассказа так и поступает, он говорит первое, что приходит ему на ум, начинает рассказывать из «Евангелия», что происходило почти две тысячи лет назад во дворе первосвященника, но оказывается, что как раз это и занимает мысли сидящих у костра женщин.

«Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной

ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха».

Вот и весь почти рассказ...

Закоченевший на ветру студент подходит к костру на вдовьих огородах и вдруг, повинувшись неосознанно возникшему в нем чувству, начинает рассказывать, что произошло почти две тысячи лет назад во дворе первосвященника в Иерусалиме. При этом и сам, и его малограмотные слушательницы так остро и так полно переживают все события той страшной ночи, словно и не разделяют их тысячелетия лютой бедности, голода, тоски, мрака, так, словно это недавно было, словно они все сами были свидетелями величайшего события мировой истории...

Только почему же словно?

Антону Павловичу Чехову с необыкновенной художественной убедительностью удалось показать, что многие столетия не преграда для православных душ, и, вживую сопереживая событиям Страстной недели, эти люди обретают чистоту и нравственную силу...

И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.
От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем...
Поднялись — морями стали реки
И в горах пронесся первый гром...

Нет сомнения, что рассказ «Студент» Антона Павловича Чехова относится к ярчайшим образцам литературы православного реализма, так глубоко и полно раскрыта в нем духовная проблематика, так естественно и просто высокохудожественный рассказ о духовных переживаниях героя помогает читателю и самому озаботиться спасением своей души.

4

Об этом милосердии искусства, умеющем собирать, ради общего спасения, разбросанные во времени и в пространстве души людей, и думал я, входя в ялтинский дом А.П. Чехова.

Конечно, впечатление от любого музея во многом определяется тем душевным состоянием, с которым тыходишь сюда, но едва ли только этим можно объяснить, почему так резко выделяются все дома и квартиры Чехова в бесконечной череде музеев мира. Не много я знаю мемориальных квартир, где, как здесь, была бы так сильно и полно запечатлена в вещах, в обыденной обстановке личность их хозяина.

И не музейным холодом встречают посетителя Чеховские комнаты, а домашним теплом... И почему-то всегда именно в чеховских музеях возникает мысль, что здешнее жилище — не менее замечательное и значительное произведение искусства, нежели прославленные повести и рассказы его хозяина.

Вещи так трепетно хранят память о Чехове, что порою забываешь о реальном течении времени и начинает казаться, что ты пришел в этот дом в гости и потому неприлично с таким любопытством разглядывать шка-

тулку, заполненную, аккуратно перевязанными нитками, стопочками использованных марок. Или восхищаться, как точно попадает в интерьер гостиной икона, повешенная, как и положено ей висеть, в красном углу.

Стопочки отклеенных с конвертов марок свидетельствуют о любимом чеховском занятии «собирать то, что не нужно», а икона в красном углу — о глубокой, не стесняющейся себя религиозности писателя...

Но ведь видишь здесь и совсем уже для постороннего человека закрытое.

Я долго восхищался, как светло и просторно в небольших комнатках Марии Павловны Чеховой и Ольги Леонардовны Книппер, пока не сообразил, что в этих крохотных платяных шкафчиках они умудрялись уместить весь свой гардероб, хотя им приходилось вести не только домашний образ жизни.

Если бы внести в эти комнаты платяные шкафы, способные уместить гардеробы современных женщин, о просторности комнат пришлось бы позабыть. Шкафы заслонили бы весь свет, свободно льющийся сейчас в окна...

Увы... В эпоху потребления мы отвыкли от скромности и сдержанности, и невольно начинаешь сомневаться в рассуждениях героя рассказа «Студент», что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, во дворе первосвященника, составляют главное в человеческой жизни и вообще на земле. И не потому ли «невыразимо сладкое ожидание счастья» так редко овладевает нами...

Кусая губы, стоял я перед витриной с одеждой Чехова и смотрел на ботинки писателя, на рубашку, на такой не по-чеховски яркий галстук...

— А чей это галстук? — удивленно спросил у служительницы стоящий рядом со мной мужчина.

— Его самого и есть... — словоохотливо объяснила служительница музея. — Антон Павлович во Франции его купил...

И она бережно провела рукой по музейному стеклу, стирая с него невидимые пылинки.

— Странно... — сказал мужчина и задумчиво отошел от витрины.

Почему странно? Чехов сам говорил, что хорошо быть студентом или молодым офицером, сидеть в саду и слушать музыку. А значит — так, наверное, иногда казалось ему! — и яркий галстук носить тоже хорошо.

За спиной раздалось сухое покашливание, так схожее с тем, о котором писал в своих воспоминаниях Иван Бунин, и я заспешил к выходу...

5

В рассказе «Студент» мысль, что, если Василиса заплакала, то, значит, все, происходившее во дворе первосвященника в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней прямое отношение, поражает не только героя рассказа. Мысль эта ошеломляет и читателя своей новизной, хотя возраста этой мысли никак не меньше двух тысячелетий...

«Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков

назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светила холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».

6

У выхода из ялтинского музея А.П. Чехова я задержался, разглядывая визитную карточку Бунина, лежащую под стеклом. Печатные буквы «Иван

Алексеевич Бунин», а вокруг них летящие строки, написанные от руки: «Для пересылки писем адреса: до 10 мая — Москва, Арбат, Староконюшенный пер. Редакция «Вестника воспитания». После 10 мая Лукьяново Тульской губ.»

Карточка оставлена, должно быть, когда Бунин уезжал из Ялты и не сумел повидаться перед отъездом с Чеховым... Только вот в каком это было году? Хотя не важно... Все равно сейчас август, и ясно, что надобно пересылать письма прямо в Тульскую губернию.

Визитная карточка лежит так, словно сам Бунин и положил ее здесь.

И я хотел уже выйти, но внимание привлекла бумажка, лежащая поверх музейного стекла.

Я перевернул ее.

Это тоже была визитка.

«Иван Петрович Сухотин, главный инженер производственного объединения...»

Я не успел дочитать название объединения. За спиною раздалось сухое покашливание, и я, выронив визитку неведомого мне Ивана Петровича, поспешил выйти...

Что это было? Случайно уронил здесь свою визитку Иван Петрович Сухотин? Быть может, вручил ее понравившейся экскурсоводше, а она позабыла, и карточка так и осталась лежать на музейном стекле?..

Впрочем, почему бы и не оставить главному инженеру свою визитную карточку, побывав в этом доме? Может быть, этому Ивану Петровичу, как и мне, тоже показалось, что он пришел сюда не на экскурсию, а забежал узнать последние новости.

Хотя бы о том, дописан ли Антоном Павловичем рассказ «Студент».

7

Дописан...

Это воистину великий рассказ...

Кто, приближаясь к Светлому Христову Воскресению, не испытывал дивного волнения, когда даже останавливаешься, чтобы перевести дух, осознавая, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь в Гефсиманском саду и во дворе первосвященника, по-прежнему остаются главным и не кончающимся переживанием человеческой истории...

Всего на нескольких страничках удалось А.П. Чехову рассказать о том, что испытывали бесчисленные миллионы людей, живших до него, о том, что будут испытывать бесчисленные миллионы людей, которым предстоит жить после нас, приготавливаясь к Празднику Праздников — Православной Пасхе, когда, как сказано в стихотворении Якова Полонского:

Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна...
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

ΠΡΟΒΥΨΔΕΗΜΕ



На родине преподобного Александра Свирского

Недалеко от впадения реки Ояти в Свирь находится Смолкова гора, где в 1383 году первый раз остановилась на Русской земле пришедшая к нам из Константинополя Тихвинская икона Божией Матери.

Следующая остановка была в деревне Имоченицы.

Отсюда, сопровождаемая толпами ладожских рыбаков и местных крестьян, Чудотворная икона прошествовала к местности, «нарицаемой Тихфин».

Дальнейшая история Тихвинской иконы и обители, которая выросла вокруг нее, известна достаточно хорошо, но то, как словно чистый свет, возникла икона в евангельски-простом северном пейзаже над Ладожским озером, еще нуждаются в осмыслении, поскольку таинственным образом связано это с рождением человека, глазами которого увидела Православная Русь Святую Троицу.

1

В Имоченицах, на высоком, обрывистом берегу Ояти, где останавливалась Тихвинская икона, была поставлена Церковь Рождества Богородицы, от которой сохранились сейчас только камни фундамента.

Еще сохранилось предание.

Рассказывают, что в тот летний день 1383 года, местный перевозчик услышал с противоположного берега Ояти женский голос с просьбой перевезти через реку. Однако когда он переехал туда, никого не оказалось там, и пришлось возвращаться в Имоченицы. И снова услышал перевозчик женский голос, и снова не нашел никого. Лишь на третий раз увидел перевозчик в своей лодке икону, которая после чудесным образом объявилась на речке Тихвинке...

В этом предании ценна не фактография события (после того как икона первый раз остановилась на Смолковой горе, ее сопровождали толпы богомольцев, отмечавшие каждую остановку иконы закладкой часовен и храмов), а внутреннее осознание современниками произошедшего чуда. Каждый из очевидцев встречи иконы в 1383 году ощущал, что плывущая по небу икона пришла именно к нему, именно в его жизнь...

Мы не знаем, где — в Смолковой горе, Имоченицах или Мандерах — жили деды и прадеды преподобного Александра Свирского, но можно не сомневаться, что они находились среди богомольцев, встречавших икону на Русской земле.

Что чувствовали они, глядя на вставший в воздухе, сияющий как солнце образ? Какая благодать переполняла их души? Понимали ли они тогда, что свет этого Божиего чуда озаряет рождение их детей Стефана и Вассы, будущих преподобных Сергия и Варвары — родителей преподобного Александра Свирского?

Но мы помним из предания, что когда евангелист Лука написал на доске стола, за которым трапезовали Иисус Христос, Дева Мария и Иосиф Обручник, образ Божией Матери, который называют сейчас Тихвинским, Пречистая Богородица, посмотрев на икону, сказала:

— С этим образом — благодать Моя и сила.

Так вот, среди благодати и силы, дарованных Богородицей, и проходило детство родителей преподобного Александра Свирского.

О жизни их известно не много.

Жили Стефан и Васса в селе Мандеры, что располагалось на реке Ояти напротив Введенского Островского монастыря, основанного, как считается, именно в связи с приходом в эти края Тихвинской иконы Божией Матери.

В житии Александра Свирского, составленном его учеником Иродионом, говорится, что родители преподобного «богатством не изобиловали», но благонравием превосходили многих односельчан.

Стефан был благочестивый, с добрым нравом человек, он всегда делился с нищими хлебом и любил творить добрые дела. Васса в доброй жизни не отставала от своего мужа. Она жила, украшаясь беззлобием и правдой, милостью и кротостью, угождая Богу молитвой и постом.

Господь одарил благочестивых супругов детьми.

Стефан и Васса вырастили сыновей и дочерей, воспитали их, как подобает христианам, и могли теперь жить в покое, «веселясь» о детях и внуках,

но уже в зрелые годы им нестерпимо захотелось завести еще одного сына.

Желание это нарушило покой в семье до такой степени, что Васса, как говорит Житие, бывала даже «поносима и оскорбляема от своего мужа Стефана»... Впрочем, и сама она скорбела о своем бесплодии и, печалась, молилась ко Господу.

Житие Александра Свирского не расшифровывает, почему родители преподобного, уже имея многих детей и находясь в значительном возрасте, так сильно печаловались о даровании им еще одного сына. Видимо, что-то было открыто им свыше...

Нам это открывает сама история нашей страны.

Мы знаем, что середина XV века, когда рождается Александр Свирский, это время распространения и укрепления преобразующих Русь воззрений игумена Всея Руси Сергия Радонежского.

2

Исследователи справедливо отмечают, что постижение идеи Троицы, выразившееся в широком строительстве на Руси Троичных храмов, в развитии Троичной иконографии и в создании цикла Троичных празднеств, которые Сергей Радонежский положил в духовное основание Святой Руси, ни в коем случае не было заимствованием. А все те *исторические случайности*, которые можно отыскать в предшествовавшей истории, следует рассматривать лишь как *смутные предчувствия* того целостного явления, которое раскрылось на Руси в XIV веке.

«Таковым было слово преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа, — говорил Павел Флоренский, — и это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако, произнесено впервые им... Читатель Пресвятой Троицы, преподобный Сергий строит Троичный храм, видя в нем призыв к единству земли Русской, во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на него» «побеждать страх пред ненавистною раздельностью мира»...

Смертоносной раздельности противостоит живоначалное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни».

Скорее всего, Стефан и Васса не осознавали всей глубины проводимого учениками Сергия Радонежского духовного переустройства, возможно, они вообще ничего не знали о своем великом предшественнике, но это не помешало им стать его соратниками в духовном преображении Руси.

Ведь их духовное предназначение, как и духовное творчество преподобного Сергия Радонежского, как иконописание его ученика, преподобного Андрея Рублёва, совершалось целиком по Божией воле, которую эти святые прозревали и воплощали в своих свершениях.

«Было же это, — говорит Житие Александра Свирского, — по смотрению Божию, так как невозможно родить без молитвы и поста такое сокровище, которое, еще прежде зачатия его, избрал Господь наставником многих ко спасению».

3

Свою молитву о даровании сына, глазами которого Святая Русь, построенная преподобным Сергием Радонежским, его учениками и сподвижниками, воочию должна была увидеть Святую Троицу, Сергей и Васса совершали в Островском Введения Пресвятой Богородицы монастыре.

Помимо великого множества чудес, совершённых и совершаемых Тихвинской иконой Божией Матери, замечено за нею удивительное свойство — икона, как свидетельствует ее история, уходит из тех мест, где исчезает братолюбие. Так было, когда икона ушла из Константинополя, так будет и шесть столетий спустя, когда икона уйдет из России...

Но тогда, в 1383 году, как обетование, как Благая Весть, проплыла Икона над Мандерами, над местностью, где поднимется Островской Введения Пресвятой Богородицы монастырь.

В этом монастыре, на земле, освященной Тихвинской иконой Божией Матери, самым своим приходом засвидетельствовавшей, что это земля — земля братолюбия, и молились Стефан и Васса о даровании им сына, которому назначено было исполнить то, что не могли исполнить старшие дети.

«Владыко Господи, Боже Вседержителю, послушавый древле раб своих Авраама и Сарры, и прочих праведных прошение и чадородие подати им изволивый! — повторяли Стефан и Васса. — Ты и ныне услыши нас, грешных раб Твоих, молящихся Тебе: даждь нам по благодати Твоей родити сына во утешение душ наших, и в наследие достояния, и в жезл старости нашей, на него же руце возложше почием, и обещанные Тебе обеты воздадим».

Чисты были помыслы Стефана и Вассы, крепка была их вера в Бога, сильна молитва...

Словно отблеском чистого евангельского света освещены эти страницы Жития. Перечитывая их, невольно вспоминаешь Иоакима и Анну, которые очень страдали из-за своего бесплодия, но не теряли веры.

«Господи, Господи! — работая в саду, молилась Анна. — Ты даровал Сарре сына в старости. Услышь же меня, и я принесу рожденное от меня в дар Тебе, и да благословится в нем Твое милосердие!»

И едва закончила Анна молитву, как предстал перед нею ангел Божий и сказал:

«Твоя молитва услышана: ты родишь дочь благословенную, выше всех дочерей земных. Ради нее благословятся все роды земные. Через нее дается спасение всему миру, и наречется она Мариєю»...

Точно так же было и с родителями Александра Свирского. Когда ночью стояли они на молитве, раздался, как сказано в житии, Голос:

«Радуйтесь, доброе супружество, се бо услыша Господь молитву вашу, и имате родити сына утешения тезоименита, яко в рождестве его утешение церквам своим подати имать Бог».

И действительно, 15 июня 1448 года, когда Святая Церковь празднует память пророка Амоса, имя которого значит «утешение», родился долгожданный младенец.

4

Берег Ояти напротив Введенского Островского монастыря зарос сейчас деревьями и кустарником и от прежнего села Мандеры, в котором в семье Стефана и Вассы в 1448 году родился мальчик Амос, ничего не сохранилось.

В 1830 году здесь была построена часовня во имя преподобного. На ней была табличка с надписью: «На сем месте стоял дом преподобного Сергия и преподобной Варвары — родителей преподобного Александра Свирского, здесь же было рождение и жительство и самого преподобного».

Часовню эту разрушили при советской власти, как и сам Введено-Островский монастырь, где были погребены преподобные Сергей и Варвара. Поэтому так и обрадовал меня звонок студентов Свято-Тихоновского университета Константина Кукушкина и Алексея Барина, которые прочитали нашу книгу*

* Н.М. Коняев и М.В. Коняева. «Преподобный Александр Свирский и его ученики Свирские чудотворцы». Санкт-Петербург, Диоптра, 1998.

и решили восстановить часовню. Студенты рассказали, что их начинание благословил оптинский старец схиигумен Илий, и сейчас встал вопрос о создании проекта часовни.

К сожалению, в этом вопросе я ничем не мог помочь. Насколько мне было известно, никакого проекта часовни, возведенной в 1830 году, не существовало, не проводились и позднее ее замеры. Даже фотографий, на которых можно было бы как следует рассмотреть часовню, и то мне не удалось найти.

На этом наш телефонный разговор и завершился, а через пару лет, когда меня пригласили поучаствовать в создании фильма о родине преподобного Александра Свирского (режиссер Ирина Спицына, оператор Александр Яковлев), я приехал в Введено-Оятский монастырь и увидел уже стоящий на берегу Ояти сруб часовни.

Константин Кукушкин рассказал, что в 2006 году они получили благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира и настоятеля Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря архимандрита Лукиана на строительство часовни. Тогда и начали устраиваться и решаться практические вопросы. Нашелся благодетель, лесопромышленник из Петрозаводска, который выделил лес, а саму часовню взялась возводить бригада мастеров, построивших петрозаводскую церковь во имя апостола Иоанна Богослова и храм во имя Серафима Саровского в Машезере. Сейчас начинается второй этап строительства — возведение колокольни, главок, крестов.

Что-то знакомое почудилось мне в поставленном на берегу Ояти срубе, и я спросил, по какому проекту строится эта часовня.

— А это игуменья Иоанна выбрала... — объяснили мне. — Это уменьшенная копия самого древнего деревянного храма Ленинградской области...

И только тогда я сообразил, *что* мне напомнил сруб, вставший на берегу Ояти. Это действительно была копия церкви во имя великомученика Георгия Победоносца из Юксовичей, построенной еще в 1493 году.

— А почему вы, матушка, остановили свой выбор именно на этой церкви? — спросил я у игуменьи Иоанны.

— Она же при жизни преподобного Александра Свирского построена... — объяснила она. — К тому же эту церковь ученик Александра Свирского, преподобный Афанасий Сяндемский, освящал... Мне показалось, что очень хорошо, если копия этой церкви, освященной учеником Александра Свирского, будет стоять на том месте, где и родился Александр Свирский...

Ну, а если добавить к словам игуменьи, что сейчас в Юксовичах, возле Георгиевской церкви, устроен скит Александро-Свирского монастыря, что это благодаря инокам возрождается там православная жизнь, то окажется, что часовня, возводимая по выбранному матушкой проекту, превращается еще и в памятник духовному возрождению Присвирья в наши дни.

И стоишь у сруба будущей часовни на берегу Ояти, смотришь на льдины, которые проносит быстрым течением реки, и как-то без слов думаешь о том, что было тут 560 лет назад, когда у Стефана и Вассы родился сын Амос...

5

В детстве Амос не отличался способностями и отставал в учении от своих сверстников. «Было же это по смотрению Божию, — говорит Житие, — да не от людей получит познание, а от Бога».

— Просвети, Господи, ум мой и очи сердечные светом Божества! — молился Амос. — Дабы мог я разумети учение Божественного Писания.

И вот однажды все в том же Островском Введении Пресвятой Богородицы монастыре он услышал голос:

— Еже просил еси, имаши восприяти!

И все переменилось с того дня. Скоро Амос превзошел всех сверстников и неустанно продолжал совершенствоваться в изучении Святого Писания.

В этом житие Александра Свирского почти текстуально перекликается с житием Сергия Радонежского, которому тоже долго не давалась грамота, и было это, как сказано в Житии, «по смотрению Божию, дабы дитя получило разум книжный не от людей, но от Бога».

Однажды Варфоломей (так звали в детстве преподобного Сергия) отправился искать пропавших коней и увидел в поле под дубом молящегося старца. Отрок

попросил помолиться о даровании ему разумения грамоты, а потом пригласил старца посетить родительский дом.

Перед трапезой старец дал Варфоломею книгу и велел читать псалмы. Родители пытались объяснить ему, что мальчик не умеет читать, но старец не стал слушать их.

— Читай! — сказал он, и Варфоломей открыл книгу и начал читать, удивляя всех и самого себя прекрасным знанием грамоты...

Сходство этих эпизодов в житиях Сергия Радонежского и Александра Свирского настолько очевидно, что некоторые исследователи считают, будто игумен Иродион просто списал этот эпизод из жития Сергия Радонежского. Мне подобное объяснение представляется совершенно неправдоподобным.

Житие святого преподобного Александра Свирского игумен Иродион составлял в 1545 году. Он был учеником преподобного и хорошо помнил рассказы Александра Свирского. Доступны ему были и свидетельства других современников преподобного. Для чего же, поставив своей задачей «святого отца списати житие без всего пождания, да не в глубину воврещи забытия, но общую пользу и образ предложить хотящим», нужно было вписывать в житие наставника эпизоды из другого жития?

Но совпадение, разумеется, не случайное. В нем скрыт чрезвычайно глубокий духовный смысл.

Мы уже говорили, какую роль сыграл Сергей Радонежский в духовном устроении нашей страны как дома Святой Троицы. Считается, что деревянный храм Святой Троицы, построенный преподобным Сергием в лавре и затем вновь возведенный из белого камня преподобным Никоном, есть первая по времени в мире церковь во имя Святой Троицы.

С именем Сергия Радонежского связана и Троицкая, дотоле неизвестная миру, икона. Исследователи уже обращали внимание, что эта икона появляется на миниатюрах Епифаниева жития лишь с середины жизни преподобного.

Неслучайно и то, что эту самую главную икону, изображающую Пресвятую Троицу, создал духовный внук преподобного Сергия Радонежского — преподобный Андрей Рублев. Это его духовному взору, как говорил Павел Флоренский, «среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» горнего мира».

И разве случайно, что такой, как ее прозрел преподобный Сергей Радонежский, такой, какой ее запечатлел на иконе Андрей Рублев, Святая Троица и явилась преподобному Александру Свирскому?..

Могло ли произойти это высшее познание, если бы душа преподобного Александра Свирского не имела высшей, не искаженной никаким «разумом», полученным от людей, а не от Бога, чистоты, как и душа преподобного Сергия Радонежского?..

6

Об этом, исполненном великой тайны и значения, сходстве двух наших великих святых, никогда не встречавшихся друг с другом, но совокупно вершивших дело устройства Святой Руси как дома Святой Троицы, я думал в Имоченицах на высоком, обрывистом берегу Ояти, где на месте явления Тихвинской иконы была поставлена церковь Рождества Богородицы.

Плывущая по небу Икона сама остановилась здесь. Всего три года прошло тогда после Куликовской битвы, и икона, как *благая весть*, знаменовала начало нового этапа в истории нашей православной страны.

Нет-нет! После блистательной победы на поле Куликовом Московская Русь не освободилась от ордынского ига. Через два года, как раз накануне явления Тихвинской иконы Божией Матери, хан Тохтамыш взял Москву и сжег ее. Опасаясь происков тверского князя, Дмитрий Донской отправил в Орду своего сына.

И снова возобновилась выплата дани. И казалось, что все возвратилось на круги своя и ничего не изменилось в подвластной татарам Русской земле.

Во всяком случае, так думали и рязанские, и тверские князья.

Но в Москве слышали и постигли смысл *благой вести* раньше других. Московские князья сумели понять, что сохранение духовной самостоятельности важнее даже сохранения самостоятельности государственной. И хотя Русь и продолжала платить дань, но, становясь домом Святой Троицы, она уже перестала быть улусом Орды и была более независимой, чем, к примеру, Великое княжество Литовское.

На крутом, подрываемом рекою берегу Ояти в Имоченицах, где остановилась икона, нет сейчас ни часовенки, ни креста, — только разлитое вокруг по полям и перелескам, по излучине Ояти и по склону горы ощущение неизбывной благодати.

Это ощущение благодати великолепно передано в гениальных пейзажах Василия Дмитриевича Поленова, в его шедеврах «Бабушкин сад» и «Заросший пруд», которые — в XIX веке имение Имоченицы принадлежало Поленовым — создавались именно тут.

И как не вспомнить, что и на берегу Тихвинки, рядом с Всехсвятской церковью, построенной на месте той первой часовни, которую начали рубить, когда там остановилась Тихвинская икона Божией Матери, стоит дом, в котором пять столетий спустя после появления здесь иконы, родился великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков...

Ну, а в Имоченицах, примерно в эти же десятилетия, проснулась душа великого русского художника...

Я сделал на горе несколько снимков, и мои спутники, подхваченные этим одухотворяющим пейзажем, оказались перенесенными в такую сказочную даль, что не сразу и узнавали себя на фотографиях, как, впрочем, не сразу узнавал себя на этих фотографиях и я сам...

7

Здесь, в этом пропитанном благой вестью пейзаже, прошло детство и отрочество преподобного Александра Свирского.

Очень рано близкие начали замечать в Амосе не свойственное его возрасту воздержание. Мать даже беспокоиться стала...

— Зачем ты изнуряешь себя, дитя мое? — плакала она.

— Почто ты говоришь мне такое? — отвечал ей Амос. — Зачем хочешь отлучить меня от сладкого мне воздержания? Ведь сказано в Писании: «брашно не поставит нас пред Богом».

Удивилась Васса мудрому ответу.

— Как знаешь, так и делай, дитя... — сказала она, вытирая слезы.

С годами Амос превратился в доброго и кроткого юношу. Со всеми он был приветлив. Как говорит Житие, «родители дивились, видя такое направление и благонравие в отроке, и считали его более от Бога данным, нежели рожденным от них».

Наверное, где-то между Имоченицами и Мандерами стояла описанная в Житии Александра Свирского деревушка на Ояти, где встретился Амос с валаамскими монахами.

И так увлекли Амоса рассказы о жизни в монастыре, о святых отшельниках, что однажды воскликнул он:

— Вижу, отче, яко Бог, знающий все тайны, послал вас сюда, чтобы утвердить меня в помышлениях и исторгнуть мя, яко птицу, от сетей мирского жития! Что же сотворю, честный отче? Как мне убежать от мятежного мира и сподобиться ангельского жития?

— Почто бежать тебе, отрок? — спросил валаамский старец. — В монастырь не бегут, в монастырь уходят...

— Ах, святой отче! — вздохнул Амос. — Родители собираются женить меня. А я не хочу, чтобы сластолюбие мира коснулось моей души... Я бы убежал, но пути не ведаю. Да и родителей своих боюсь опечалить.

— О, чадо... — сказал валаамский старец. — Естественна любовь родителей к детям, а детей к родителям... Но Владыка и родителей преобидети нам повелевает, а крест свой взять на плечи и следовать за Ним тесным и прискорбным путем...

Старец рассказал, как добраться до Валаамского монастыря, и скоро Амос отправился в неблизкий путь.

Родители дали ему благословение, думая, что он идет в деревню Заостровье и скоро вернется назад. Однако Амос не вернулся из Заостровья в Мандеры. Переправился здесь на другой берег Свири и побрел по указанному старцем пути...

8

Сейчас Имоченицы в духовном смысле место совсем глухое.

Те люди, что живут здесь, не знают или не осознают, *что* произошло тут в 1383 году. Те, которые знают, *что* здесь было, сюда не ездят, не зная, как добраться.

Но с горы, где на высоком обрывистом берегу Ояти была поставлена на месте явления Тихвинской иконы церковь Рождества Богородицы, видно так далеко во-

круг, что думать о духовном запустении этого места никак не получается.

Игуменья Иоанна показывала на скит Николая Чудотворца в Яровщине, на другом берегу Ояти, который недавно передали Введено-Оятскому монастырю, и рассказывала, что этим летом на день Тихвинской иконы Божией Матери собираются сестры монастыря пройти сюда, на гору, Крестным ходом.

— Но ведь до моста далеко идти... — сказал я. — Ехать придется...

— Может, лето не очень дождливое будет... — ответила игуменья. — Тогда вброд перейдем Оять... Тут, говорят, брод есть недалеко...

А на березе, выросшей на месте церкви Рождества Богородицы, сделан был прошлым летом мальчишками наблюдательный пункт, и с него видно, должно быть, совсем далеко. Видно в ту даль, где и Свирь, и берег Рошинского озера, где утомленный дорогой Амос услышал во сне голос:

— О, человече! Во обитель Всемиловитового Спаса на Валааме, добре ти путь строится. Иди с миром. Там поработаеши Господеви, а потом вернешися на сие место и сотвориши зде обитель. Мнози спасени тобою будут...

Родители Александра Свирского только через три года узнали, что сын стал иноком. Тогда Стефан, «распалившись отеческою любовью», отправился на Валаам, чтобы «успокоиться о нахождении» сына.

Не лишенная психологической остроты сцена встречи отца с сыном исполнена глубинного духов-

ного смысла, который преобразует житейскую драму в святоотеческое повествование.

Вначале инок Александр долго отказывался от беседы с отцом и не соглашался даже выйти к нему на крыльцо кельи, но потом, уступая уговорам игумена, согласился на встречу.

Стефан, увидев сына, истомленного трудом и постом, одетого в худую одежду, начал уговаривать его вернуться домой.

Предложение отца было неприемлемо — не мог инок оставить монастырь и вернуться в мир. Но и противоречить отцу тоже было нельзя. Положение складывалось безвыходное, но преподобный сумел найти правильный ответ. Не возражая отцу, он начал уговаривать его самого уйти в монастырь.

— Глаголю же ти! — сказал преподобный. — Иди ныне в дом твой с миром, и вся, елика обещал еси мне собранная имения твоя, продаждь и раздай нищим... Устрой о дому своем еже ти изрекох, и иди в монастырь Пресвятыя Богородицы во Остров, и туда пострижешься, и спасение души своей получиши...

Стефан не ожидал такого ответа от сына.

Не говоря сыну ни слова, развернулся он и отправился в монастырскую гостиницу.

Александр не останавливал его. Вернувшись в келью, он погрузился в молитву, испрашивая помощи Господа, чтобы последовал отец его совету.

И услышана была молитва преподобного Александра.

Вернувшись в Мандеры, Стефан принял монашеский постриг. Ушла в монастырь и Васса. Приняв имена

Сергия и Варвары, родители Александра Свирского закончили свою земную жизнь в Островском Введения Пресвятыя Богородицы монастыре, где некогда молились о даровании сына.

До начала XVIII века гробницы преподобных Сергия и Варвары находились в нижнем этаже Введенской церкви под приделом святых апостолов Петра и Павла.

В 1721 году по указу Петра I мощи святых были освидетельствованы архимандритом Свирского монастыря Кириллом. После этого для них были построены новые деревянные гробницы, и поставлены были они в Преображенском приделе Богоявленской церкви. Над гробницами стояли иконы с их изображением, а рядом хранились вериги преподобных: железный параман весом более трех килограммов, который носил преподобный Сергей на себе, и два полукилограммовых креста преподобной Варвары.

В годы советской власти Богоявленский собор был разрушен, и долгое время считалось, что мощи преподобных уничтожены. Однако уже при игуменье Иоанне определили по плану место могилы и начали раскопки.

— Вначале разгребали лишь мусор, — рассказывает игуменья Иоанна. — Потом пошло ржавое железо, и уже думали, что могила потеряна, но вот начался чистый песок... Тогда и поняли, что могила сохранилась...

В 2006 году на пожертвования почитателей святых Сергия и Варвары над могилами была построена

каменная часовня, а с 2007 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира было установлено отдельное празднование преподобным Сергию и Варваре.

Совершается оно 15 (28) июня, на день пророка Амоса.

9

Духовные прозрения преподобного Сергия Радонежского... Битва на поле Куликовом... Явление Тихвинской иконы Божией Матери...

Рождение родителей преподобного Александра Свирского преподобных Варвары и Сергия... Рождение преподобного Александра Свирского...

Его уход в Валаамский монастырь...

Его уход в пустынь на берегу Рошинского озера... Создание монастыря...

Явление преподобному Александру Свирскому Святой Троицы...

На первый взгляд, никакой причинно-следственной связи между этими событиями нет, но если приглядеться, мы обнаружим, что все они связаны духовными нитями и ни одно из них не могло произойти без другого, ибо каждое было духовным свершением. Этими событиями и выстраивалась Святая Русь.

Вглядываясь в явления и факты миновавшей истории, ясно видим мы, как сплетается дьявольская цепь, дабы разрушить нашу страну. Но там же, в глубине истории, ясно различаем и то, из чего должно произрасти спасение...

В 1470 году в Новгород прибыл из Киева ученый иудей Схария — «дьяволов сосуд и изучен всякого злодейства изобретению». Считается, что от него и начала распространяться ересь жидовствующих — учение, представляющее собой смесь тайного иудаизма, астрологии и черной магии. Отрицая основные православные догматы, приверженцы ереси тем не менее соблюдали все внешние обряды и стремились проникнуть в структуры Православной Церкви.

И так получилось, что в 1480 году, когда «стоянием на Угре» завершился двухсотсорокалетний период порабощения Руси татарами и началась эпоха, которую историки назовут впоследствии Собираением Руси, в Москве появились новгородские священники Денис и Алексей, которые, определившись в церкви Успения и Михаила Архангела, начали распространять ересь жидовствующих в высшем московском обществе.

Сторонникам ереси удалось возвести на митрополию кафедру и поставить во главе Русской Православной Церкви симоновского архимандрита Зосиму (Брадатога). В принадлежности к ереси была заподозрена Елена Волошанка и ее венчанный на Московское царство сын — Дмитрий Иоаннович. Сбереженная Русью в столетиях татарского плена православная вера, а вместе с нею и все государство, оказались в опасности.

Александр Свирский непосредственного участия в борьбе с ересью жидовствующих не принимал. (Сокрушить ересь удалось святителю Геннадию Новгородскому и преподобному Иосифу Волоцкому. Их трудами,

их подвигами была отведена страшная опасность от нашей страны.) И все же совсем не случайно совпал его торопливый, похожий на бегство уход в монастырь с приходом на Русь лукавых еретиков.

Понятно, что невозможно было совратить его в ересь, но вспомните о детском стремлении будущего святого сохранить чистоту и получить познание не от людей, а от Бога... Преподобному Александру Свирскому предстояло лицезреть при земной жизни Святую Троицу, и это требовало совершенной чистоты и силы молитвы. Поэтому преподобный и поспешил удалиться от мира.

Но не только для того чтобы спастись самому, а для того чтобы, обрета силы, привести к спасению других.

Днем он находился в монашеских трудах, ночью же пребывал в молитвенном бдении. «И видимо было житие его, не как человеческое, но как ангельское».

В северо-восточном углу Валаамского архипелага расположен открытый всем ладожским ветрам Святой остров. Здесь, в пещерке, вырубленной в скале, более пятисот лет назад подвизался в молитвенных подвигах преподобный Александр Свирский.

Пещерка невелика. Когда проходишь в нее, плечи задевают за гранитные стены. Крохотного света лампы, горящей перед образами, достаточно, чтобы осветить все пространство кельи. Кроме икон и лампы здесь только голый камень...

Несколько лет, с 1484 года, провел преподобный Александр в этой келье. Как сказано в Житии, «от

великих трудов кожа на теле его сделалась такой жесткою, что не боялась и каменного удара». .

В пещерке на Святом острове и молился святой, когда в ответ на его молитвы раздался Голос Богородицы:

— Александре! Изыди отсюда и иди на преждепоказанное тебе место, в нем же возможеша спастися! — И светло стало...

Преподобный Александр выбрался из пещеры, и за стволами сосен, вставших почти на отвесной скале, увидел тихие воды Ладоги. Великий небесный свет сиял в той стороне, где текла Свирь, там, где явилась сто лет назад на Руси Тихвинская Икона Божией Матери. .

Там, где предстояло Руси воочию увидеть — глазами преподобного Александра Свирского — Святую Троицу...

В Сенно, у Фрола и Лавра

Поехал с иеромонахом Александром (Гордеевым) в деревню Сенно, на родину новомученика Василия Канделяброва, пресвитера Сенновского, что в тридцати километрах от Тихвина.

Сам отец Александр тоже из Сенно. Здесь служил в храме его дед. Сюда, где прошли его детские годы, отец Александр и перебрался четыре года назад, на покой...

Первый настоятель Тихвинского монастыря

В прошлом отец Александр — офицер, военный летчик.

Когда вышел в отставку, работал в музее «Исаакиевский собор», потом принял постриг на Валааме, а 16 июля 1995 года Постановлением Священного Синода был назначен настоятелем Свято-Успенского Тихвинского монастыря.

Знаком ли был с биографией отца Александра митрополит Иоанн (Снычёв), решая вопрос о его назначении в монастырь, — неведомо, но назначение промыслительным оказалось. Ведь родил-

ся Александр Гордеев как раз в 1928 году, когда красноармейцы выгоняли последних монахов из Свято-Успенского Тихвинского монастыря. И где-нибудь родился, а в больнице на территории обители. Опять же и детство его прошло на погосте Сенно, из окрестностей которого при Василии III Иоанновиче возили в Тихвин известняк для строительства Успенского собора...

Ну, а сейчас отец Александр, после приключившегося с ним инсульта, — на покое...

На покое

Уже стемнело, когда приехали мы в Тихвинский монастырь. Из неразличимой темноты только голоса доносились отца Александра и отца Евфимия — прежнего и нынешнего настоятелей, старого и молодого.

Но вот из-за громады Успенского собора выкатилась круглая луна, и светло стало в монастырском дворе. Отец Евфимий поцеловал отца Александра, и мы поехали с ним дальше, в Сенно.

Здесь будить никого не стали, отец Александр открыл церковь Фрола и Лавра, показал нам, где можно лечь на полу, и сам лег рядом.

Ночь выдалась прохладная. Я к утру, окоченев от холода, помолиться вставал, потом сквозь полусон начал вспоминать подвиги первых христиан, жития святых отшельников, и этими мыслями и укреплялся...

А отец Александр, похоже, и не думал ни о каких отшельниках.

Когда утром прибежали поздороваться с ним насельницы здешнего скита, он только улыбался им и солнышку, выглянувшему из-за туч, улыбался и котенку Бусинке, пристроившемуся поиграть с его ногой. И видно было, что, слушая, как сокрушаются сестры, что не разбудили мы их, уже и не помнил про холодную ночь, проведенную в церкви, кивал, как кивают, когда рассказывают про кого-то другого.

Хотя, конечно, что же не улыбаться, если ты «на покое»...

Общинка

А здесь, в Сенно, сейчас образовалась общинка. Или, как говорят сами насельницы, — «Женский Троицкий скит».

В общинке две монахини и две послушницы. Живут они в старом прогнившем доме.

— Холодно у вас...

— Не жарко... — кивает матушка Тавифа. — Тепло не задерживается. Ему здесь почему-то не нравится... — И морщит лоб, словно задумавшись.

А чего тут думать, отчего не нравится теплу в этом доме? Такие избы не ремонтировать надо, а на дрова раскатывать — все сгнило.

Слава Богу, для общинки строится новый дом. Уже готов сруб, закрыт крышей. Если найдут печника — к зиме можно будет перебраться туда.

А пока — увы — приходится и за трапезу садиться в пальто.

Хозяева

Но сейчас тепло, и о зимних холодах не хочется думать.

Крутится возле будки во дворе собака. Ее зовут Димка.

Рядом с Димкой прыгает, пытаясь поймать свой хвост, котенок. Имя котенку — Бусинка. Одна лапа у него белая, «Чулочек забыла надеть!» — объясняет матушка Тавифа.

Еще в хозяйстве у сестер корова с телушкой, козы, куры...

— Сено сами косите?

— Сами... — отвечает матушка Тавифа. — Косим, пока люди добрые на увидят, как мы косим... Тогда поплачут вместе с нами маленько да и помогут... Чего мы накосим, если городские все.

— А деревенские что? Не идут в монахини?

— Пока в самогонщицы больше идут...

— А как же вы тогда со скотиной управляетесь? Ведь тут тоже надо деревенские навыки иметь...

— А это уж и не наша забота. У нашей скотины хозяева есть.

— Кто?

— А вон, напротив... Через дорогу живут. Фролом одного зовут, а другого Лавром... — матушка Тавифа о церкви, в которой мы ночевали, говорит.

Деревянная, еще пятнадцатого века, церковь освящена во имя Фрола и Лавра. Эти святые мученики считаются покровителями домашних животных.

Из деревенских только они и пособляют на-сельницам.

Нетель

Водитель машины, с которым мы приехали, рассказал, что в прошлом году сестры взяли нетель.

После Рождества она телиться должна была, тогда и молоко дать.

А у сестер нетель еще перед началом Рождественского поста доиться стала. В ноябре месяце.

— Не бывает такого... — сказал зоотехник, когда ему сообщили об этом.

Но пришел, посмотрел, как доят сестры нетель, покачал головой.

— Так это мы Фролу и Лавру помолились... — сказали сестры. — Это же их животина...

— Их? — спросил зоотехник. — Ну, не знаю... Чушь, конечно, какая-то, но что ж? Фрол с Лавром насчет животных много чего могут...

Жизнь-молитва

Не так и давно началось нынешнее воцерковление нашей страны, едва-едва входит оно в совершеннолетний возраст. Но уже и в истории своей

собственной семьи, и в биографиях других людей обнаруживаешь столь глубокую укорененность в православии, что немислимым кажется, что всего полтора-два десятка лет назад и дороги в церковь не знали многие из нас. И такие ведь совпадения обнаруживаются, что только диву даешься.

Ездили сегодня в Тихвинский монастырь на Литургию. Отец Александр после инсульта не служит, но исповедует. И так исповедует, словно все силы души вкладывает в оставшееся ему священнодействие.

Я смотрел на него и вспоминал: родился Александр Гордеев в 1928 году, когда красноармейцы изгоняли последних монахов из Свято-Успенского Тихвинского монастыря. И как раз в этом же 1928 году был рукоположен в пресвитеры псаломщик церкви в Сенно Василий Васильевич Канделябров, который причислен к сонму новомучеников Российских...

Простой и бесхитростной была жизнь отца Василия. Родился он 23 марта 1889 года, в семье псаломщика. Учился в Новгородской духовной семинарии, но средств на учебу не хватило, и по окончании второго класса он определился псаломщиком к Кожанской церкви Боровичского уезда.

Девятого сентября 1919 года его перевели в Сеновскую церковь Тихвинского уезда, где он и был рукоположен в 1928 году в сан пресвитера. Был отец Василий женат, имел двух дочерей.

Как вспоминают старожилы Сенно, «отец Василий занимался сельским хозяйством, имел лошадь.

Человек он был работающий, все делал своими силами. Как служитель культа он облагался твердым заданием по лесозаготовкам, ездил на собственной лошади в Мурманскую область на заготовки леса».

Третьего ноября 1937 года отца Василия Канделяброва арестовали. Судя по всему, его жестоко избивали на допросах, пытаясь получить показания на других священников. Но никаких показаний отец Василий не дал, никого не оговорил и ровно через месяц, если верить официальным документам, его расстреляли по решению особой Тройки.

Вот такая простая и бесхитростная, как молитва, жизнь.

И это ведь новомученик Василий Канделябров пресвитер Сенновский и крестил тогда младенца, которому, целую жизнь спустя, предстояло восстановить богослужение в храме, из которого увели отца Василия Канделяброва на смертные муки в 1937 году... И, конечно же, это совпадение — тоже часть его жизни-молитвы.

Как и жизни заштатного нынче иерея — отца Александра Гордеева.

Маковка

А на крылечке церкви Фрола и Лавра стоит, похожая на богатыря, церковная маковка.

Основание ее казаки, приехавшие помогать восстанавливать церковь, сделали из стальной бочки. Не знаю, из-под чего бочка, но большая была, крепкая...

И маковка крепкая получилась. Встала на церковном крылечке, как богатырь.

Правда, — у казаков такое часто бывает! — не очень и понятно теперь, что с этой мавкой делать. На церковь ее поднимать боязно — тяжела очень, может и крышу на церкви проломить...

Так и стоит на крылечке.

Как будто церковь охраняет.

Тепло

КОНЕВЕЦКИХ МОЛИТВ

Благословение

От Владимирской пристани всего семь километров до Коневца, около получаса езды на катере. Но хотя и рядом монастырь, а добраться не всегда получается.

Когда морозы сковывают льдом Ладогу, иноки Коневецкого мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы на долгие недели, пока не окрепнет лед, отрезаны от мира.

Не преодолеть ладожские километры и летом, если штормит озеро. Бывает, днями сидят паломники на пристани, ожидая погоды, а пути на остров все нет... Может быть, поэтому в паломнической службе и спрашивают всегда так настойчиво: «Вы получили благословение у батюшки?»

Мы поехали по благословию.

На монастырском подворье в Петербурге отец Борис водосвятный молебен отслужил, снаряжая наш автобус в дорогу.

Чертова лахта

Часть Владимирской бухты называется Чертовой лахтой.

По-фински — Сортанлахти...

Это сюда, превратившись в стаю воронов, улетели бесы, изгнанные с Коневца преподобным Арсением.

Сейчас здесь монастырский причал, а в Чертовой лахте — затопленные суда. Это то, что осталось от военных, столько лет после монахов хозяйничавших на Коневце...

Кресты над островом

Когда подплываешь к монастырю с севера, кажется, что белые стены его встают почти у самой кромки воды. А над ними — маковки церквей, с развернутыми на озеро, ярко горящими на солнце крестами.

Кресты и сами будто излучают свет, и нужно пообвыкнуть, чтобы научиться смотреть на них.

Кто-то из паломников рассказывает, что однажды видел над островом видение. В небе, прямо над монастырем, возник огромный облачный крест, правильной формы.

Не знаю, насколько возможно такое, но если это было, то картина была замечательная — белый крест облаков в небе над белыми стенами монастыря...

А мы, когда возвращались вечером из леса, видели монастырские кресты сбоку. Дивным было и это зрелище... Кресты горели в лучах заходящего солнца, будто свечи, спущенные с неба...

Проповедь

Сегодня — память преподобного Арсения.

Праздник — самое подходящее время, чтобы вспомнить и поразмышлять о житии святого, основавшего здешний монастырь.

Родом он был из Новгорода. Приняв в Лисицкой обители близ Хутыня монашеский постриг и проведя здесь одиннадцать лет, уехал на Афон, где пробыл три года.

На Афоне Арсений делал для святогорских старцев посуду и заслужил такую любовь, что, отпуская его на родину, игумен Иоанн Зидон благословил преподобного двойною иконой, на которой с одной стороны было изображение Богородицы, а с другой — Нерукотворенного Спаса.

Несколько лет Арсений провел на Валааме, а потом поставил Образ, которым его благословили, в лодку и отправился искать место своего служения.

Буря вынесла преподобного на остров Коневец.

Здесь он поставил крест и пять лет подвизался в скиту, пока Новгородский архиепископ Иоанн не благословил в 1398 году основать общежительный Рождества Пресвятой Богородицы монастырь...

Потом Арсений еще раз был на Афоне и скончался, достигнув глубокой старости, на руках любящей братии.

Вот, кажется, и все...

Но каким высоким смыслом наполняется это Житие, каким небесным светом озаряется, когда прозреваешь истинное духовное содержание его.

— Как мало известно нам о преподобном Арсении, — говорил в своей проповеди после праздничной литургии высокопреосвященный Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. — Но сколько о многом свидетельствует тот факт, что преподобный Арсений после одиннадцатилетнего служения в монастыре уходит на Афон, чтобы учиться там монашескому деланию...

К сожалению, я не записал всю проповедь.

Помню только впечатление, что с каждым словом владыки как бы рассеивалась темнота забвения, и в какой-то момент показалось вдруг, что я отчетливо увидел преподобного. И так точно, совпадая с этими ощущениями, прозвучали слова митрополита, что и мы, как преподобный Арсений, уезжавший в далекие края, чтобы научиться монашескому деланию, должны приезжать теперь на остров Коневец, чтобы научиться *его деланию*.

Конь-камень

На Коневце, когда на остров пришел преподобный Арсений, было языческое капище. У одиноко стоя-

щей посреди елового леса гранитной скалы чухонцы приносили жеребят в жертву своим богам.

На самом деле боги эти были бесами и творили лишь ложные чудеса, или, как говорили во времена преподобного Арсения, «мечты бесовские».

Преподобный Арсений окропил Конь-камень святой водой, прочитал молитву, и духи со страшным громом вырвались из камня и, превратившись в стаю воронов, улетели на материк, в бухту, названную Чертовой лахтой.

Конь-камень оседлали деревянной часовней, к которой ведет пристроенная к скале лестница в семьдесят пять ступеней.

В часовне наверху почти всегда кто-нибудь молится.

А скала удивительная...

Приложишь руку к заросшему лишайником камню, и вот и в такую холодную погоду, а все равно чувствуешь исходящее изнутри тепло.

Теперь это — тепло коневецких молитв.

На озере

После вечерней службы фотограф Юрий Костыгов позвал нас на лодочную экскурсию. Ему нужно было сфотографировать монастырь со стороны воды, и игумен благословил воспользоваться монастырской моторкой.

С лодки гораздо сильнее, чем с корабля, ощущается огромный простор распахнувшегося навстречу

озера. Ощущение дивное, почти сказочное. Заходило солнце, и в его лучах так чудно чернели далеко-далеко от берега идущие по озеру «яко по суху» фигурки людей...

Только когда подошли поближе, стало понятно, что люди идут не по воде, а по песчаной косе, уходящей от острова в озеро. Подошли еще ближе, и стало видно замытые в песок обломки барж, куски раскиданного по косе железа...

— Очень наглядно все... — сказал я, обращаясь к сидящему на руле отцу Гедеону. — Как будто специально такое устроено. Это только издали можно обольститься, а подойдешь ближе, и видишь, что никакого не чудо, а так, игра природы...

Отец Гедеон внимательно посмотрел на меня, но ничего не ответил. Наверное, не услышал за шумом мотора.

Никольское кладбище

Когда на острове была военная база, все надгробья на Никольском кладбище снесли бульдозером и свалили в болото, а внутри кладбищенской каменной ограды разместили островной транспорт.

Сейчас транспорта на острове нет, и пусто на кладбище, лишь в уголке его несколько надгробий, которые удалось разыскать и вернуть сюда...

И такое ощущение, словно и не умирал никто, словно только-только и начинается среди железных

обломков военной базы жизнь шестисотлетнего монастыря.

Коневецкие страхи

Н.И. Костомаров, побывавший на Коневце более ста лет назад, рассказывал, что случайно встретил у «Конь-камня» женщин, одна из которых назидательно рассказывала другим легенду об этой скале, страшно уродуя ее содержание.

Она говорила, что и в настоящее время каждый год здесь убивают жеребенка, для того чтобы нечистая сила не пугала посетителей, — без этого тут был бы гром и разные страсти...

Костомаров рассказывал, что женщины с легковерием слушали эту дребедень, а потом боялись идти вверх по лестнице к часовне, но рассказчица успокоила их, сказавши, что после убиения жеребенка целый год здесь безопасно.

Прошло столетие, но рассказы про коневецких бесов мало изменились.

Мне довелось услышать тут страшную историю, что военные, которые не только о православии ничего не слышали, но и о нечистой силе мало что знали, попытались завести лошадей на острове...

И вот привезли они хорошего коня, а к вечеру пропал он бесследно, и сколько ни искали — никаких следов не обнаружили.

Другого коня, которого привезли с материка, уже не оставляли одного. Поставили солдат, чтобы несли караул, глаз с коня не спускали.

И что же? Утром ни коня нет, ни солдат, которые его караулили...

И так и не нашли их.

Решили потом, что завязли они в болоте или в озере потонули, но коней больше уже не пытались держать на острове.

— А и монахи тоже... — сказал рассказчик. — Коров-то держат, а коней ты видел где-нибудь?

— Нет... — вынужден был сказать я. — Коней не видел...

— Теперь тут только железные кони! — пошутил мой спутник. — Тракторами небось всё возят...

— Нет... — покачал головой рассказчик. — Железные кони тоже не держатся, сколько их уже в Ладоге потонуло... Такой остров...

Монастырская жизнь

В 1421 году преподобный Арсений решил перенести монастырь на то место, где он и стоит сейчас.

Здесь после 65-летних подвигов и преставился святой 12 июня 1447 года.

Над его погребением и выстроили столетия спустя двухэтажный храм.

Воздвигали храм по «проекту», заложенному в чудотворной иконе Коневской Божией Матери, ко-

торой благословили преподобного Арсения на Афоне. Вверху разместилась церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а внизу храм Сретения Господня, поскольку Коневская икона Божией Матери является Сретенской — Спаситель изображен на иконе с двумя птенцами голубиными в руке.

Когда на острове хозяйничали военные, в верхнем храме размещался клуб, а в нижнем — склад. И вот, хотя уже прошло столько лет, до сих пор еще не может монастырь отойти от того разбоя. В Рождественской церкви и сейчас еще не служат, там ночуют паломники, когда не хватает мест в гостиницах. Службы же идут в нижнем, Сретенском храме, где лежат под спудом мощи преподобного Арсения.

На месте его погребения раньше стояла серебряная рака с вычеканенным на верхней доске изображением преподобного, теперь — устроенная точно так же рака, но только из дерева.

Возле нее почти всегда коленопреклоненные паломники.

А сам храм Арсения Коневского — в углу монастырского периметра.

Помещение хотя и отремонтировано, но роспись не восстановлена и икон почти нет, пустые стены... Пока здесь главное украшение — дверь, раскрытая в заросший травой монастырский двор. Смотришь на эту траву из храма Арсения, и как-то не сразу и доходит, что это и есть самая подлинная древность древнего монастыря. Ведь эту траву и видел

преподобный Арсений, когда, не прерывая молитвы, взглядывал в окно своей кельи...

И еще понимаешь, что суровые условия жизни иноков не изменились и с наступлением третьего тысячелетия. Как мы и говорили, современная техника не слишком выручает монахов, на зиму они остаются с тем, что запасли в теплое время года.

Но никакой натужной озабоченности предстоящей зимовкой незаметно в здешних насельниках. Ни в их занятиях хозяйственной деятельностью, ни в экономии. Напротив. Не во всех монастырях так радушно привечают паломников. За трапезу их усаживают вместе с братией.

И это и есть настоящая монастырская жизнь.

И разве не об этом думал Высокопреосвященный Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, когда говорил о толстых стенах монастыря, об озере, которое не пускает на остров чужих людей?..

— Молитесь, братие, за нас, живущих в миру! — обращался к братии митрополит. — Молитесь за всех обманутых, за всех мятущихся, чтобы укрепить нас!

Разговор

Окно в нашем номере, чтобы хоть немного прогреть помещение, было открыто днем, да так и осталось незакрытым до ночи. Впрочем, и сейчас, ночью, в номере холодней, чем на улице.

Подошел к окну, чтобы закрыть его, а там, на улице, разговор...

— Нет, насчет бесов не знаю, но комары на Коневце ужасные. Ни «раптор», ни «москитол» не помогают...

— Так это и не комары совсем...

— А кто же?

— Бесы... Такое поверье есть, что, когда преподобный Арсений изгонял их из Конь-камня, крупные бесы в воронов превратились и в Чертову лахту улетели, а мелкие — комарами стали.

— И как же от них спастись тогда?

— Так ведь молиться надо...

Часовня

Порою, причудливо намешанные легенды и предания сами создают реальную, а не вымышленную историю...

Когда Арсений Коневский во второй раз покинул остров, чтобы снова посетить Афон, в упадок пришла обитель, нечем стало питаться, среди малодушных открылся ропот. Видя, что на братию напало уныние и она собирается расходиться, старец Иоаким удалился на соседнюю гору и здесь «в теплых молитвах взывал к Богородице о помощи и заступлении». И когда уснул он после долгой молитвы, явилась к нему сама Царица Небесная.

— Не скорби, старче! — сказала она. — Но иди и скажи братии, да пребывают все во обители, ибо

слуга мой Арсений со множеством потребных вскоре грядет к вам!

И действительно, на следующий день прибыл на остров преподобный Арсений, привезя на двух больших лодках все нужное для пропитания.

На том месте, где, охраняя свою обитель, явилась старцу Иоакиму Божия Матерь, была поставлена часовня. Рассказывают, что когда пришли на остров военные, они разобрали часовню и соорудили из этих бревен КПП на пристани. И получилось, что по-прежнему охраняла эта часовня остров, и ничего тут не могло поделывать никакое советское и военное начальство.

Так и была сбережена часовня. Потому что вернулись на остров монахи, возглавляемые нынешним наместником Александро-Невской лавры, архимандритом Назарием, и аккуратно разобрали КПП, а из сохранившегося материала снова восстановили часовню...

Две могилы

Возле часовни, сразу за монастырской оградой, — несколько могил.

Одна, из самых первых здесь, — могила служившего офицера. Даты жизни 1922–1954.

Конечно же, разные люди рождались и в 1922 году, но судьба этого офицера, кажется, вобрала в себя, всю черноту того страшного года, когда, под предлогом помощи голодающим, обирали большевики

русские церкви, вскрывали святые мощи великих угодников Божиих...

Говорят, на Коневце этот офицер появился в 1945 году, когда остров, отошедший к СССР, отдали под секретную военную часть и на долгие десятилетия наглухо закрыли, даже само название его было стерто с ладожских карт.

Монастырь был тогда цел. Уехавшие в Финляндию монахи увезли с собой только Коневскую икону Божией Матери*, и военным пришлось разорять монастырь самим.

С задачей этой они справились.

Сожгли монастырскую библиотеку и архив, бульдозером сгребли все надгробья с монастырского кладбища и устроили там, за каменной оградой, автостоянку...

Удивляться не знающему предела кощунству не стоит, — новых хозяев острова всю их сознательную жизнь воспитывали в духе воинствующего атеизма.

Удивляться следует другому. Вопреки их стремлению разрушить и осквернить все святыни, заваленная каким-то хламом на складе, чудесным образом спряталась от богохульников могила преподобного Арсения... Более того. Некоторым военнотружущим начинало что-то мерещиться на святых ликах... Говорят, что охваченный то ли злобным исступле-

* Эта икона сохранилась. Когда коневская братия поселилась в Ново-Валаамском монастыре и перевезла туда чудотворную икону, для нее была устроена часовня, примыкающая к Преображенскому собору монастыря. Там, в Хейнявеси, икона находится и сейчас.

нием, то ли диким страхом, офицер, не помня себя, вначале метал в иконы ножи, а потом застрелился в алтаре...

А почти рядом другая могила.

На фотографии — чистое детское лицо.

Дима... 9.10. 1988 — 8.8. 1993.

Нам рассказали, что мальчика привезли на Коневец из Севастополя.

Здесь он первый раз причастился. А после литургии он упал с пирса в озеро и, когда его вытащили, уже захлебнулся...

Четыре года и десять месяцев было ему...

И трудно сглотнуть вставший в горле комок, и только когда вспоминаешь — «Радуйся, житейских зол непричастный!» — слова из акафиста праведному отроку Артемию Веркольскому, становится легче на сердце.

Отблеск жития праведного отрока ложится и на жизнь Димы.

Такая короткая жизнь, и словно для того и была прожита, чтобы причаститься Святых Даров перед жизнью вечной...

Но может ли быть в нашей земной жизни больший смысл?

Об этом и думаешь, стоя у могил возле Успенской часовни.

И такое ощущение тут, какое бывает, когда краснеет в сумерках белой ночью над озером полоса то ли заката, то ли восхода...

Коневецкие чудеса

Коневецкий монастырь стоит в приграничье России и Финляндии, православия и лютеранства, и, должно быть, потому рассказы о межконфессиональных отношениях пронизывают его историю.

В начале второй половины девятнадцатого века жила в Керчи девочка-сирота, отец которой погиб под Севастополем, а мать умерла с горя. Горестной была и судьба самой девочки. Ноги у нее парализовало, и она не могла ходить. Она много молилась, и вот однажды во сне явился ей седобородый монах.

— Иди в монастырь на Коневец! — сказал он. — У гроба моего отслужи молебен Коневской Божией Матери.

Девушка была католического вероисповедания и не сразу смогла выяснить, кто являлся ей во сне, но когда православный священник сказал, что, должно быть, это приходил преподобный Арсений Коневский, немедленно отправилась в Петербург, а оттуда — на остров Коневец. Как только она отслужила молебен Божией Матери у раки преподобного Арсения, сразу почувствовала, что ноги ее стали здоровы.

Спустя много лет, женщина эта, снова увидев во сне того же Арсения, по указанию преподобного, отстроила храм на том месте, где когда-то преподобный Арсений по приходе своем на Коневец поставил небольшую деревянную церковь.

Историк Н.И. Костомаров, поведавший эту историю, свидетельствовал, что «церковь была заложена, и так как у самой строительницы не достало капитала, то церковь была достроена на пожертвования от доброхотных дателей. Место, где стоит эта только что отстроенная, но еще не освященная церковь, чрезвычайно неудобно: тотчас за стенами церкви идет такое болото, что, как говорят, может засосать каждого, кто будет иметь неосторожность ступить туда».

Столетие миновало с тех пор, но по-прежнему можно услышать о Коневце подобные рассказы.

Еще пока ехали в автобусе, зашел разговор о том, что на Коневец приезжают женщины, которые потеряли надежду иметь детей, и молятся здесь. Отец Яков, священник с Коневецкого подворья в Санкт-Петербурге, рассказал, что и из Финляндии приезжают сюда женщины, и не только православные, но и лютеранки.

Несколько лет назад приезжала на Коневец бездетная финка, а теперь у нее — слава Богу! — трое детей.

— А она одна приезжала? — спросил кто-то. — Без мужа?

— Одна... Она на Коневце и нашла себе супруга нынешнего...

— Как это?! Что это еще за чудеса?!

— Да тут и чудес никаких... Он из наркоманов сам был... Чтобы излечиться от наркомании, трудником работал в монастыре... Ну и вот, не только от наркомании излечился, а и жизнь свою устроил...

Коневецкая порода

В монастырский двор высыпался целый выводок котят.

Разрезвились котята на солнышке, распрыгались...

И все крепкие такие, как молодые боровички.

Все белые с рыжими хвостами. И так похожи друг на друга, что и не отличить.

Как будто они все — особой коневецкой породы...

Родина

Никифора Важеозерского

Важины...

С самого раннего детства запало в память название этого свирского поселка.

В Важинах была единственная в нашем Подпорожском районе не закрытая церковь, и туда, чтобы покрестить, собиралась отвезти нас бабушка...

В принципе, можно понять, чем руководствовались гонители Русской Православной Церкви. Черная вражья сила двигала Лениным и Троцким, Бухариным и Хрущевым... И повинувшись этой силе, злобные враги православия и закрывали Православные храмы, стремились загасить светильники, затопить темнотою всю Россию.

Это понятно...

Но постигнуть, почему, закрывая одни храмы, другие они не трогали, почему пощадили в нашем районе именно Воскресенскую церковь в Важинах, где родился преподобный Никифор Важеозерский, трудно...

1

Как часто в духовном пространстве икон, как и перед очами Божиими, рядом стоят подвижники,

которые в земной жизни и не встречались друг с другом... Таковы и святые Геннадий и Никифор Важеозерские. Рядом стоят они на иконе, рядом стоят и в «Олонецком патерике», составленном архимандритом Никодимом.

Память преподобного Геннадия — 8 января.

Память преподобного Никифора — 9 февраля.

Рядом стоят эти святые и в нашей духовной истории...

Оба были учениками святого Александра Свирского, оба, хотя и в разное время, совершали иноческие подвиги на озере Важе.

«Блажен тот, кто от юности возлюбил Господа и последовал Ему: взял крест и пошел за Христом!» — начиная рассказ о преподобном Геннадии, пишет архимандрит Никодим.

Геннадий в числе первых учеников пришел к Александру Свирскому, и здесь, на берегу Святого озера, он прошел великую школу смиренномудрия, а когда почувствовал достаточные духовные силы, удалился в затвор. На берегу Важского озера устроил себе пещеру и подвизался одиноким пустынником, подобно своему великому учителю, вплоть до своей кончины 8 января 1516 года.

Вполне вероятно, что в земной жизни преподобный Никифор никогда не встречался со своим предшественником. Он пришел в монастырь к Александру Свирскому, когда преподобный Геннадий уже удалился в затвор. Скорее всего, никакого личного общения между двумя основателями Задне-Никифоровской

пустыни не было, но так ли уж и необходимо личное общение, если есть общение молитвенное?

Причем в случае с Никифором и Геннадием Важеозерскими эта истина как бы обретает материальное воплощение. В самом деле...

Никифор ведь родился и вырос в селе Важины, стоящем на верткой реке Важинке, что вытекает из Важского озера. На берегу этого озера и совершал свои молитвенные подвиги Геннадий Важеозерски. И получается, что в детстве и юности Никифор *пил* эту намоленную преподобным Геннадием воду, омывался ею... И может быть, молитвы важского затворника и определили жизненный путь его более молодого соратника.

2

Будучи еще совсем молодым человеком, Никифор почувствовал призвание к монастырской жизни и в 1510 году пришел в обитель Живоначальная Троицы. Подобно Геннадию, под руководством святого Александра Свирского постигал он науку стяжания Святого Духа.

Житие говорит, что Никифор всегда первым являлся в церковь и последним уходил. Церковные службы, монастырские правила и послушания проходил он с удивительным терпением, смирением и незлобием.

Не довольствуясь постом и бдением, инок изнурял себя тяжелыми веригами — носил их на голом теле. Весили эти вериги более двадцати килограммов.

Видя такие подвиги, братия прославляла Бога, но Никифор всячески избегал похвал и скоро попросил Александра Свирского благословить его идти в Киев на поклонение святым Печерским угодникам.

Преподобный Александр отговорил своего ученика от этого паломничества и посоветовал прежде сходить в обитель Воскресения Христова к преподобному Кириллу, игумену Новоозерскому, побеседовать с ним о монашеской жизни и поучиться монастырскому уставу.

Об этом путешествии преподобного Никифора нужно рассказать подробнее, поскольку в нем в зримой полноте явлена «учительская благодать» святого Александра Свирского.

В те далекие времена на Руси не было почтовой службы, и наши святые предпочитали переписке молитвенное общение.

— Когда придешь к Новоозеру, лодки-то не ищи... — напутствовал Александр Свирский любимого ученика. — Отойди в сторону и молись, пока за тобой не приедут.

Преподобный Никифор так и сделал. Достигнув озера, он не стал останавливаться в деревне Кобыльина Гора, а отошел в сторону и принялся молиться. Потом его сморило, и он прилег на камень отдохнуть.

Скоро его разбудили.

Никифор увидел незнакомого монаха, вылезающего из лодки.

— Благослови меня, святой отец! — попросил преподобный Никифор. — Прости, что уснул...

— Меня благослови! — ответил преподобный Кирилл. — Ведь ты послан духовным братом моим Александром — служителем Пресвятой Троицы.

Как утверждает предание, когда святые обнялись, дивный свет воссиял над ними... Отблески этого света различаем и мы, четыре с половиной столетия спустя размышляя о наших великих молитвенниках и праведниках.

Никифор провел в Новоозерском монастыре восемь дней. Прощаясь с ним, преподобный Кирилл сказал:

— Хотя мы имеем с братом Александром большое желание увидеть друг друга, но, по Божию изволению, в нынешнем веке сего не сподобимся, и увидимся, когда от тела разлучимся, а твои труды, честный отче, не будут забыты пред Богом.

И только после этого святой Александр Свирский благословил ученика и на паломничество в Киево-Печерский монастырь.

В чем же смысл урока, преподанного Никифору великим учителем? Почему Александр Свирский отпустил его в Киев только после путешествия в Новоозерский монастырь, а не прежде того?

Нам кажется, что святой Александр хотел укрепить своего ученика, хотел помочь ему прозреть свое предназначение.

Как бы то ни было, возвратившись из Киева, преподобный Никифор едет в родное село Важины

и оттуда уходит на Важское озеро, где уже упокоился в жизнь вечную преподобный Геннадий. Никифор приходит сюда, чтобы продолжить здесь начатое своим великим предшественником молитвенное делание.

Местное предание свидетельствует, что, покидая село, Никифор испил воду у ключа в Усть-Боярском, и стала вода в источнике целебною. Многие болезни излечивала она, и в память об этом чуде была поставлена у источника Никифоро-Геннадиевская часовня.

3

Не сохранилось сведений, как строился Геннадие-Никифоровский Важеозерский монастырь, известно только, что уже в 1530 году отшельническая пустынька на берегу Важского озера становится процветающей обителью. Тогда на берегу озера поднялась деревянная церковь во имя Преображения Господня, а вокруг выросло десять келий для братии.

Заботился преподобный Никифор и о том, чтобы возрожденная им обитель преподобного Геннадия не распалась после его кончины. Для этого и хлопотал, испрашивая для монастыря царскую грамоту на владение землей.

Он так и не увидел долгожданной царской грамоты.

Девятого февраля 1557 года преподобный Никифор завершил свой земной путь, а грамоту на его имя, с указанием владеть землею вокруг монастыря

«на все четыре стороны по версте, опричь мхов и болот и глыб», Государь подписал только 9 марта 7065 (1557) года.

Вот и получается, что грамоту эту важеозерскому игумену удалось выхлопотать, уже представ рядом со своим предшественником перед Престолом Божиим.

Стоящими рядом видим мы преподобных и на иконах.

Погребли преподобного Никифора рядом с преподобным Геннадием, и святые мощи их и сейчас почивают под спудом в устроенном ими Важеозерском монастыре.

Вместе являются они и к людям, с верою призывающим их. В списке чудес преподобных — исцеления, избавление от гибели путешествующих.

Однажды преподобные явились к важинскому крестьянину, которого мучили непрекращающиеся головные боли и который без пользы обращался к разным знахарям и уже не чаял ниоткуда получить помощи.

— Ты человек умный, зачем же ищешь помощи у людей, у которых кроме вреда ничего не получишь? — сказал крестьянину преподобный Никифор. — Приходи лучше к нам! У нас лекарство без денег. Отслужи молебен и попей святой воды, и станешь здоров.

— Кто вы, святые отцы? — спросил их больной. — Я вас не знаю!

Преподобные Геннадий и Никифор Важеозерские сказали, кто они и откуда.

Крестьянин исполнил повеление и стал здоров.

4

И вот что поразительно. Большевики закрывали храмы и монастыри, оскверняли святые мощи, но самих святых «запретить» не могли...

С детства запомнился мне похожий на сказку рассказ, как осенью, едва только выпадет первый снег, мимо еще не сбросивших багряных уборов деревьев проходят святые Геннадий и Никифор Важеозерские, Корнилий Паданский, Иоасаф Машеозерский, Кассиан Соломенский, Ферапонт Вознесенский, старцы Игнатий, Леонид, Фёдор. Проезжает на своей лошадке, нагруженной кожаными перемётными сумами, преподобный Иона Яшеозерский...

— А ты... Ты сама их видела, бабушка?

— Не... Сама не видела, Миколя. Откуль мне было видеть...

— А кто же видел их?

— Да ведь видели... Были люди... Чай, не теперешние...

Потом, много лет спустя, уже в свидетельствах очевидцев, в архивных документах доведется мне прочитать продолжение этой чудесной сказки. Тогда и узнаю я об Исае (схимонахе Игнатии), возобновившем Задне-Никифоровскую пустынь после петровского разорения.

Исайя долго жил на Афоне, но совершенного смиренномудрия достиг в обители, основанной преподобными Геннадием и Никифором.

— Я, да свинья, да третий сатана... — говаривал он. — Свинья по безумству, сатана по гордости — вот товарищи гордых.

Дивное смирение доставляло отцу Исайе духовные дары и видения. Он поведал однажды, что душа его увидела невещественный свет и в то же время увидела самоё себя как бы составленное из света, а тело мертвым, словно душа уже вышла из этого света...

Тогда и прочитаю о последнем иноке монастыря — блаженном Владимире...

Впрочем, об этом разговор впереди.

5

История Никифоро-Важеозерской обители тесно связана с именем другого великого русского святого — отца Иоанна Кронштадтского.

В 1885 году в обители произошел пожар. Уцелели лишь каменная Всехсвятская церковь, где под спудом почивали мощи основателей, небольшой каменный дом да часовня. Пришлось монастырской братии разбрестись по другим обителям.

Чтобы спасти пустынь, иеромонах Геннадий приступил к сбору пожертвований. Собрать ему удалось немалую сумму. Только деньгами она составила 9887 рублей 75 копеек, а материалами и утварью еще 11 126 рублей 78 копеек.

Но все же главным в этом деле стало знакомство иеромонаха Геннадия с протоиереем Кронштадтского Андреевского собора отцом Иоанном Сергиевым.

Иеромонах Геннадий обратил на себя внимание «Всероссийского батюшки» нелицемерным смирением, кротостью и энергией в сборе пожертвований.

В 1890 году по просьбе иеромонаха Геннадия и при непосредственном содействии святого Иоанна Кронштадтского мещанка Екатерина Гайлевич пожертвовала в Задне-Никифоровскую пустынь каменный дом с участком земли, чтобы там было устроено подворье...

С молитвенной и практической поддержкой святого Задне-Никифоровскую пустынь удалось возродить буквально в считанные годы. Причем возрождена она была в большем великолепии, нежели была до пожара.

В 1892 году достроили каменную церковь Преображения Господня, и 19 июля ее освятил приехавший в монастырь Иоанн Кронштадтский.

И какие могут быть сомнения в молитвенном общении отца Иоанна Кронштадтского с присви́рскими святыми? Молился он во время своего пребывания в монастыре и перед образом основателей обители, и перед иконою девяти важеозерских чудотворцев — преподобных Никифора, Геннадия, Даниила, Игнатия, Леонида, Феодора, Феропонта, Афанасия, Корнилия...

Быстро строилось при содействии отца Иоанна Кронштадтского и монастырское подворье в Санкт-Петербурге:

«23 сентября 1894 года о. Иоанн Кронштадтский отслужил молебен в честь закладки трехпрестольного храма, а уже 23 мая 1901 года был освящен главный придел в честь Пророка Осии. Освящение совершил Преосвященный Вениамин, а сослужил ему отец Иоанн Кронштадтский вместе с игуменом Митрофаном.

После литургии священнослужителям, почетным гостям, благотворителям и всем споспешникам создания храма была предложена трапеза, оконченная «здравицами», особо Иоанну Кронштадтскому, главному виновнику возникновения Подворья и при нем храма, и настоятелю Подворья игумену Митрофану, виновнику настоящего торжества.

На следующий день, 24 мая, был освящен второй придел храма в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и Преподобного Иоанна Рыльского — небесного покровителя о. Иоанна Кронштадтского»...

Так, при молитвенном и непосредственно-практическом участии святого отца Иоанна Кронштадтского была восстановлена обитель святых учеников преподобного Александра Свирского.

Тогда на Петербургском почтовом тракте в ста верстах от Петрозаводска, в пятидесяти от Олонца, на седьмой версте Кескозерской станции, у самой окраины леса стояла деревянная часовня, указывающая путь к Задне-Никифоровской пустыни.

Еще одиннадцать верст по лесу, и вот уже и монастырская мельница у истока реки Важинки. На южном, холмистом берегу озера открывался сам монастырь: высокая колокольня, две пятиглавые церкви, три башни по лицевому западному фасаду каменной ограды...

Все это отражалось в тихой воде озера, словно там был еще один монастырь.

6

Туда, в этот отраженный вместе с небом в озерной воде монастырь, и уходили важеозерские иноки, когда захлестнула обитель большевистская тьма.

Всю братию расстреляли здесь, на берегу светлого озера, а опустевшую обитель переименовали в Интерпоселок и населили лесорубами.

Во Всехсвятском храме, где обретаются под спудом мощи преподобных Геннадия и Никифора, устроили кинотеатр. Лесорубы-интернационалисты смотрели там кино. Потом в монастыре была тюрьма для малолеток, потом республиканская психбольница...

Из монастырской братии уцелел только блаженный инок Владимир, его в этот день не было в монастыре.

Дивные истории рассказывают про этого последнего инок Важеозерского монастыря. Говорят, что, несмотря на многочисленные злоключения, на частые насмешки и несправедливую ругань, инок Владимир всегда сохранял спокойствие, был всем доволен и взор его всегда светился радостью.

«Духовный мир исходил от всего его существа, — вспоминают знавшие инока Владимира, — и кто соприкасался с ним, ощущал веяние этого мира на себе».

Обладая даром прозорливости, не раз удерживал инок Владимир своих знакомых от губельных поступков. Много исцелений и помощи получали люди по его молитвам, еще больше чудотворений совершается по молитвам к нему после его кончины.

Духовный свет обители, который хранил в себе этот последний важеозерский инок, порою разгорался в нем с такой силой, что становился видим для других.

Рассказы о нескольких таких случаях помещены в «Жизнеописании блаженного инока Владимира».

«В одно из своих посещений нашей квартиры, — пишет В.В. Орловский, рождение которого его родителям предсказал блаженный инок, — летним вечером, сидел инок Владимир на террасе с одним благочестивым человеком, простым мужичком. Терраса не была освещена, огня не было, сидели в темноте... Вдруг в одно мгновение лицо инока Владимира осветилось необычным светом, и он весь был в сиянии. Все помещение террасы было в свете необычном. Это длилось некоторое время, потом опять стало темно».

Или вот другой случай...

«Однажды парголовские женщины, работавшие на полях в стороне Левашова, увидели необычайное явление. По полотну железной дороги недалеко от будочки стрелочника кто-то идет, весь озаренный

светлым сиянием. Когда шедший во свете приблизился на такое расстояние, что его можно было разглядеть, все узнали инока Владимира»...

В конце жизни инок Владимир предсказал, что тело его будет несколько раз перезахоронено, пока наконец его не перенесут в Важеозерскую обитель.

Так и случилось.

Когда возродилась Важеозерская пустынь, ясный свет которой переполнял все существо блаженного инока Владимира, тело его перенесли в монастырь и похоронили между тремя березами, прямо на берегу светлого озера...

7

В чем-то со светоносным блаженным Владимиром, последним иноком Важеозерского монастыря, схожа и судьба Воскресенской церкви в Важинах, последней действующей церкви в огромном Подпорожском районе Ленинградской области.

Три с половиной столетия — немалый срок для любого здания, тем более срубленного из бревен. И когдаходишь в десятигранный летний храм, насквозь пронизанный светом, первое ощущение здесь — ощущение чуда...

В общем-то понятно, почему с таким остервенением вытапывали большевики-ленинцы православную веру на Руси. Труднее понять, почему, закрывая одни храмы, другие они пощадили...

Впрочем, слово «пощада» здесь неуместно.

Все эти Троицкие и Луначарские, Бухарины и Хрущевы готовы были закрыть все храмы, расстрелять,

или по крайней мере посадить за колючую проволоку, всех православных. Просто не получилось, не удалось их черной сатанинской силе загасить все светильники, затопить мраком всю Россию.

И Воскресенская церковь в селе Важины оказалась спасена не по милости большевистской власти, опутавшей все Присвирье проволокой Свирьлага, а, может быть, как раз заступничеством преподобного Никифора Важеозерского, родившегося здесь, в Важинах...

Помню, когда я первый раз побывал в Воскресенской церкви в Важинах, тогдашний настоятель, отец Михаил, показал мне описание часовен, принадлежавших церкви в 1910 году.

В этом списке — Успенская часовня в деревне Скуратове, Рождества Богородицы — в Погре, Покровская в Еконде, Казанская — в Верхнем Пичине, Тихвинская — в Киновичах, Вознесенская — в Кезаручье, Воздвиженская — в Верхней-Купецкой, Ильинская — в Дёготной горе, Никольская — в Ильине, Никитинская — в Юрьевщине, Кирико-Иулитская — в Терехове, Александро-Свирская — в Свином Наволоке, Никольская — в Мелехово, Никольско-Александровская — у пристани в Лаптевщине, Георгиевская — в Немецком, Косьмы и Демьяна в Нисельге, Никифоро-Геннадиевская — возле Устья Боярского...

Я читал этот список и возникало ощущение, словно лучи расходятся от церкви Воскресения Христова, озаряя округу ясным светом православия. И, разглядывая опоясывающую церковное крыль-

цо надпись: «Храм построен по благотворению Великого князя Михаила Фёдоровича и царевича Алексея Михайловича при патриархе Филарете радением прихожан Важинского погоста», понимал я, что взаимосвязь важинской церкви с преподобным Никифором осуществляется не только через часовенку, поставленную в его имя возле Устья Боярского, а прежде всего через его молитвенное предстательство...

По предстательству преподобного и встала на мыске, омываемом прихотливо изгибающейся Важинкой, Воскресенская церковь. Казалось, сюда, на родину основателя, и перетек закрытый большевиками Важеозерский монастырь...

Нет-нет, когда пришло глухое атеистическое лихолетье, храм Воскресения Господня в 1935 году закрыли, конечно. Но уже в 1941 году церковь открыли вновь.

И снова закрыли храм. И снова открыли в 1947 году...

Так и спасся этот Воскресенский храм — единственная действующая в нашем районе церковь.

Не молитвами ли преподобного Никифора Важеозерского и была спасена церковь, не его ли небесным заступничеством вот уже три с половиной столетия идут богослужения в этой, одной из самых старых, церкви в нашей области, и непоколебимо прочно стоят стены, и кажется, никакая адская сила не способна сокрушить их.

— Может и так... — согласился со мною отец Михаил. — У нас ведь как... Каждый год на Пасху,

во время литургии после крестного хода из подвала раздаются сотрясающие все здание удары...

— Хулиганы?

— Нет... — отец Михаил покачал головой. — Много раз проверяли, смотрели в подвалах. Людей там нет. Я у старцев потом спрашивал, они говорят — демоны... Чуют, что последние времена наступают.

Мы разговаривали с отцом Михаилом, стоя в Воскресенской церкви перед огромным пятиярусным иконостасом, с которого из сумерек столетий смотрели на нас лики присвирских святых. И как-то особенно проникновенно звучал здесь рассказ отца Михаила о том, что, приходя в эту церковь, так легко остаться в ней.

— Много здесь выросло батюшек... — говорил он. — Я и сам из таких. Тоже здесь вырос.

И святой Александр Свирский смотрел с иконы, как, должно быть, смотрел он некогда на преподобного Никифора Важеозерского, когда пришел тот к нему, чтобы научиться стяжать Святый Дух...

8

Еще в детстве, в поселке Вознесенье, мне доводилось слышать, что отраженный в Важском озере монастырь *опять видели* в Интерпоселке... Шёпотом рассказывали истории, что пациенты размещившейся здесь психиатрической больницы замечают иноков, слышат звон колоколов...

Может быть, это выдумка, а может быть, и действительно так.

Во всяком случае, когда приезжаешь в Важеозерский монастырь, когда выходишь на берег озера, что-то светлое и пронзительное входит в тебя в этом нестеровском пейзаже, и когда смотришь на отражения храмов в воде, не веришь, что их могло не быть в этой спокойной воде...

Помню, когда я первый раз приехал в Важеозерский монастырь, снова возникло странное ощущение незыблемости *того* монастыря, о котором услышал я еще в детстве, в Вознесенье, того монастыря, который прозевали здесь насельники дома скорби.

Казалось, что об этом и разговаривали мы в трапезной с тогдашним экономом монастыря иеромонахом Тарасием, который сам, кстати сказать, происходит из поселка Вознесенье, на Свири.

Удивительно, но получалось, что иеромонах Тарасий связан с учениками преподобного Александра Свирского, как и сами основатели обители... Еще будучи священником на приходе, он восстановил часовню на берегу реки Обоженки, где убили первого ученика Александра Свирского преподобного Андриана Ондрусовского. А после этого его перевели в монастырь, основанный двумя другими учениками Александра Свирского.

Нет-нет... Разговор наш с отцом Тарасием был самым обычным.

Отец Тарасий рассказывал об игумене Иларионе, который уехал по делам в Петрозаводск, о диаконе

Никифоре, который между службами кладет каменную арку ворот в монастырь.

Вот и всё...

А рядом лежал на диване, вытянувшись во всю длину, монастырский кот Важик и прозрачными, как озерная вода, глазами внимательно наблюдал за отцом Тарасием, так что весь наш разговор, наверное, отражался в его глазах.

— А чем занимаются сейчас в поселке? — спросил я.

— Не знаю... — поглаживая Важика, сказал отец Тарасий.

— Не знаете? — удивился я. — Ну, а кто живет там? Лесорубы?

— Почему лесорубы... — отец Тарасий пожал плечами. — Врачи.

Я подумал, что он оговорился, но оказалось, что нет.

Когда закрыли в Интерпоселке сумасшедший дом, пациентов увезли. А врачи не все сумели выехать... Так и живут, только теперь уже не при сумасшедшем доме, а возле монастыря, основанного великими целителями Геннадием и Никифором Важеозерскими.

Такое вот странное отражение получилось. И кажется, только тем и отличается оно от отражения, которое прозевали на Важском озере насельники дома печали в глухие атеистические десятилетия, что больше было тут наваждения, хотя это отражение и было вполне материальным.

И не нужно было и говорить, а и так само собою разумелось, что это наваждение тогда и рассеется, когда снова в прежнем величии отразятся в спокойной воде Важского озера древние стены монастырских храмов.

9

Сейчас Важеозерский монастырь, молитвами к отцам основателям его, трудами игумена Илариона с братией, возродился наконец. Великими трудами — и нападения были, и церкви горели — удалось вырвать обитель из интерпоселковской трясины. На берегу светлого Важского озера, где стоит между тремя березами крест на могиле блаженного инок Владимира, снова зазвучали в храмах молитвы.

Благодатны церковные службы. Прекрасны они и в пышно украшенных столичных храмах, и в скромных сельских церквушках. Но, пожалуй, нигде не видел я столько светлости, как во время вечерней службы в Преображенском, построенном Иоанном Кронштадтским храме... За высокими окнами, совсем рядом, плескалось наполненное, казалось, не водой, а светом Важское озеро, и тихий свет его, мешаясь со светом белой ночи, как бы омывал каждое слово молитвы — пронзительно ясно и отчетливо, прямо из души, как стихи Рубцова, звучали они...

Все с кем бы я ни общался здесь, говорили об особой благодатности этого места, хотя многое приходится строить заново. И не только здания, но и самих себя. И — такое уж, видно, свойство у Важеозерской обители — словесному наполнению

нетрудно найти здесь и соответствующее материальное воплощение.

Три года назад меня заинтересовала затейливая башенка, что возвышалась на границе монастыря с Интерпоселком.

— А это отец дьякон между службами кладкой занимается... — объяснили мне.

И вот теперь, приехав в монастырь, я обнаружил, что башенка превратилась в величественные, очень красивые ворота монастыря.

— Это отец дьякон так трудится... — полувопросительно, полуутвердительно сказал я, но мой собеседник, новый эконо́м монастыря отец Михей, отрицательно покачал головой.

— Нет! — сказал он. — Отец Никифор у нас уже иеромонах давно...

«Рёбра северовы»

Путевые размышления

*А сего ради разжегся желанием
пустынного безмолвного житель-
ства, отходит в далечайшую пу-
стыню, в язык глубоких варваров,
лопарей диких, плывуще великою
Колою-рекою, яже впадает своим
устьем в Ледоватое море. И тамо
исходит из корабля и восходит на го-
ры высокие, их же наречет Святое
Писание ребра Северовы...*

Андрей Курбский

Глава первая Дорога на север

Весной и в начале лета в Мурманск из Санкт-Петербурга нужно ездить на поезде. Сидишь в полупустом вагоне, а за окном, как страницы дивной книги, проносятся леса и каменистые поля, величавые озера и бурливые речки, небольшие станции и редкие городки...

Подпорожье... Свирь... Ладва-Ветка...

Перелистываются страницы дорожной книги, и кажется, что здесь сказано самое главное о тебе.

Но пересказать это словами невозможно, для этого надо самому сесть на поезд, устроиться возле окна и почувствовать, как входит в тебя север.

1

Май приближается к середине, и весна проступает из темно-зеленых ельников, окутывая невесомыми зелеными платяницами березки и осинки, рассыпая обрывки зелени по железнодорожным откосам...

Но в Петрозаводске поезд выходит к Онежскому озеру и дальше — Шуйская, Кондопога — идет вдоль вытянутой на север рачьей клешни Онежского озера. За окном вагона — еще больше большой и малой воды, то вплотную подступающей к железнодорожным путям, то сквозящей за стволами сосен.

Это уже Карелия.

Это бесконечные сельги — гряды вытянувшихся чуть наискосок движению поезда кряжей, поросших густым лесом.

Исходивший эти края вдоль и поперек М.М. Пришвин говорил, что тут всегда чувствуешь, как тебе *хорошо и больно*.

«Хорошо, потому что в этой тишине ожидаешь такую светлую, чистую правду. И больно, потому что внезапно из далекого прошлого выбегают серенькие мысли, как маленькие хвостатые зверьки. Эта северная природа потому и волнует, потому так и тоскует, что в ней глубокая старость, почти смерть вплотную стоит к зеленой юности, перешептывается с ней. И одна не бежит от другого».

С прибывающими километрами пути весенней зелени становится все меньше. Когда открываются озерные пространства, сплошной стеною стоят над темно-синей водой ели и сосны. Леса, болота, скалы... И чем дальше продвигается поезд на север, тем больше становится холодного солнца.

Когда прибыли в Медвежью Гору с ее зеленым, похожим на теремок вокзалом, время приближалось к девяти часам вечера, но ярко светило солнце, и высоким было голубое с белыми облаками небо...

Только очень холодно было...

2

В Медвежьей Горе поезд прощается с Онегой.

Дальше наш путь — вдоль знаменитого Беломорско-Балтийского канала, носившего поначалу имя И.В. Сталина.

Самого канала из окна вагона почти не видно, только иногда расплескивающейся озерной водой подступает он к железнодорожным путям, но сереньких мыслей, этих маленьких хвостатых зверьков набегает с той стороны столько, что они скрывают собою все...

Строился канал необыкновенно быстро.

18 февраля 1931 года Совет Труда и Оборона СССР принял решение о начале строительства, и вскоре вдоль железнодорожного пути до того места, где Мурманская железная дорога подходит к Онежскому озеру, начали сколачивать деревянные бараки, чтобы разместить в них конторы и административные службы.

Медвежья Гора стала тогда главной резиденцией начальства Беломорстроя Лазаря Иосифовича Когана и Якова Давыдовича Раппопорта. Здесь же разместилось и управление Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря, возглавляемого Семеном Григорьевичем Фириним.

Ну, а самих заключенных развезли по лагпунктам вдоль трассы канала, и уже 16 октября, когда ударили первые морозы, начались строительные работы, а через полтора года, 28 мая 1933 года, в шлюз № 1 вошел пароход «Чекист», чтобы провести через повенчанскую шлюзовую лестницу первый караван судов.

В 20-х числах июля 1933 года Беломорско-Балтийский канал осмотрели И.В. Сталин, С.М. Киров и К.Е. Ворошилов. Они проплыли на пароходе «Анохин» от Повенца до Сорокской губы Белого моря и остались довольны увиденным — 4 августа 1933 года товарищи Коган, Раппопорт и Фирин были награждены орденами Ленина, поскольку, как выразился А.М. Горький, впервые сумели применить «в таком широком объеме систему «перековки» людей».

Арифметика «перековки» впечатляет и сейчас.

Длина канала 227 километров, 190 километров приходится на реки и озера, и только 37 километров трассы были прорыты.

Если прикинуть, что из 280 000 заключенных, которые участвовали в строительстве, погибло около 100 000, то выходит, что на каждый *прорытый* километр канала орденоносцы Коган, Раппопорт и Фирин положил по две тысячи семьсот «каналоармейцев».

То есть по одной человеческой жизни на каждые 37 сантиметров канала...

И как же не согласиться с А.М. Горьким, что это, действительно, «одна из наиболее блестящих побед коллективноорганизованной энергии людей над стихиями суровой природы севера».

Другое дело, что первая победа «коллективноорганизованной энергии людей» была одержана на трассе канала задолго до А.М. Горького. И авторство ее принадлежит не чекистам, а самому Петру I.

Тогда, в мае 1702 года, в сопровождении пяти батальонов гвардии и бесчисленных сотен крестьян, он протащил волоком с Белого моря в Онежское озеро три фрегата.

История темная и загадочная...

Перетаскивать посуху из моря в море фрегаты — операция настолько бессмысленная с военной точки зрения, что некоторые историки сомневаются, было ли это на самом деле.

Разумеется, со здравым смыслом у Петра I всегда складывались напряженные отношения, но в идее «государевой дороги» скрыта, на мой взгляд, гораздо более высокая, чем обычное петровское своеволие, мистическая составляющая*. В этом диковатом

* В книге «Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем», этой своеобразной саамской энциклопедии, Надежда Большакова приводит саамское предание о том, что, когда молодая царица Наталья Кирилловна «затяжелела», царь Алексей Михайлович выписал из Колы нуэйт — саамскую колдунью. Она

утаскивании посуху кораблей с Белого моря видится нам метафора политики первых Романовых, стремившихся отвернуть Россию от северных морей и тихоокеанских просторов к европейской тесноте, уткнув ее в мелководную Балтийскую лужу*.

3

За Медвежегорском поезд постепенно начинает сближаться с вытянувшимся на север и включенным в Беломорско-Балтийскую систему Выгозером, и названия местностей, где полыхали при царе Алексее Михайловиче (отце Петра I) срубы раскольников, мешаются с названиями концлагерей.

Кладбищ тут не больше, чем в других местах, но знающие люди говорят, что вся трасса канала — к 100 тысячам погибших каналоармейцев надобно приплюсовать бесчисленные тысячи зэков, надорвавшихся на лесоразработках и строительстве комбинатов! — это одно гигантское кладбище.

Считается, что Беломорканал стал прообразом будущего ГУЛАГа, и сами лагеря в том виде, в каком они существовали в тридцать седьмом году, придумал еще один орденосец Беломорско-Балтийского

и наколдовала Петра I, за что получила в награду остров Сальный в Кольском заливе.

* Как реализовывалась эта метафора на практике, показывают, например, указы Петра I, изданные в 1713 и 1715 годах. Указ от 31 октября 1713 года запрещал торговлю через Архангельск, все товары отныне должны были привозиться в Петербург. Указ этот разорял беломорское купечество. Ну, а в 1715 году Петр I зачислил в Балтийский флот матросами 300 жителей Кольского полуострова, на долгие годы подорвав экономику Мурманя.

канала — чекист-предприниматель Нафталий Аронович Френкель.

Отчасти это верно.

Но только отчасти, и только в том смысле, что Беломорско-Балтийский канал действительно задумывался как кузница чекистских кадров для концлагерей.

Другое дело, что лагеря, проектируемые Нафталием Ароновичем, предназначались в основном для перековки русских людей. Они должны были либо превращаться в этих лагерях в могильные отходы, либо становиться некими интернационализированными существами, лишенными каких-либо национальных отличий и предназначенными для обслуживания большевистско-чекистской верхушки, которая устраивала свою жизнь, хотя и с меньшим размахом, чем ельцинская гвардия, но с не меньшим бесстыдством.

«Я ошалел от увиденного достатка, — вспоминал потом Александр Овдиенко, принимавший участие с М. Горьким в прогулке по каналу. — На больших блюдах с петрушкой в зубах под прозрачной толщиной заливного лежали осетровые рыбыны и поросята. На узких длинных тарелках купались в жире кусочки теши, семги, балыка. Большое количество тарелок были завалены кольцами колбасы, ветчины, сыра. Плавали в янтарном масле шпроты. Пламенела свежая редиска. В серебряных ведерках прохлаждались водка, вино, шампанское, нарзан, боржом».

Учитывая, что банкет происходит на строительстве, где десятками тысяч вымирали от истощения заключенные, что организован он в год, когда

в деревнях зерновых районов Украины, Северного Кавказа, Дона, Нижнего и Среднего Поволжья, Южного Урала и Казахстана умерло от голода четыре миллиона крестьян, мы видим, что у реформаторов нашего времени были достойные учителя.

Нелепо идеализировать Иосифа Виссарионовича Сталина, но то, что арифметику «перековки» — человеческая жизнь за каждые 37 сантиметров канала! — он сумел распространить и на самих творцов этой арифметики, многое оправдывает в нем.

И разве случайно, что эта цифра, положенная в основание арифметики «перековки», так точно сопряглась с 37-м годом, когда специалисты по «коллективноорганизованной энергии людей» сами в нее и были обращены.

Хотя, конечно, не И.В. Сталин придумал эту рифму. Ее породили здесь, на «ребрах северовых» (Пс. 47:3), высвободившиеся из уз христианства «духи злобы поднебесные»...

4

Сталин в нашей истории не только анти-Ленин, если и не уничтоживший полностью, то основательно проредивший его русофобскую гвардию, это еще и анти-Петр, пытавшийся, подобно последним Романовым, снять корабль России с балтийской мели.

Петр I своенравно загонял Россию в европейскую тесноту, чтобы в протестантской духоте превратить гигантскую державу в подобие милой его сердцу Голландии.

Некоторые историки, защищая первого русского императора, и сейчас еще твердят, дескать, он многое сделал для обороны России. Наверное, это так. Но, с другой стороны, при Петре I быть русским человеком в России стало не только невыгодно, но даже и не вполне культурно. Петр I сумел так поставить в нашей стране русского человека, что до сих пор при произнесении фразы «я — русский человек», мы ощущаем некоторую моральную ущербность.

Понятно, что из-за границы приезжали в нашу страну и ценные, высококлассные специалисты своего дела, но ведь так было и до Петра I. И это только при Петре I даже откровенным проходимцам и посредственностям начали отдавать предпочтение перед русскими людьми, только потому, что они были иностранцами.

И речь тут не только об ошибках в «кадровой политике».

Россия XVII века — это страна повышенной энергетики. Русские люди мирным путем без привлечения больших людских и государственных ресурсов присоединили к России большую часть нынешней территории. Потенциал совершаемого рывка на восток был столь огромным, что даже Тихий океан не остановил русских землепроходцев, они сумели перепрыгнуть через него в Америку.

Так вот, благодаря целенаправленной «кадровой политике» Петра I и его ближайших наследников, и удалось укротить эту национальную энергию и загнать Россию в европейскую тесноту. И только в годы правления последних Романовых была

сделана попытка выправить положение и вывести Россию на океанский простор. Увы... Ближайшее окружение императоров Александра III и Николая II, если не сорвало, то, по крайней мере, затормозило реализацию этой исторической задачи, и решать ее пришлось уже И.В. Сталину.

Замысел Беломорско-Балтийского канала И.В. Сталин тоже получил в наследство от последних Романовых*. Как и задачу — более справедливого (я понимаю, как неожиданно звучит применительно к правлению И.В. Сталина это слово!) для русских людей государственного устройства империи.

5

От города Сегежа на северо-западном берегу Выгозера начинается собственно беломорский участок канала.

Еще в Сегеже, в тридцатые годы был построен «гигант промышленности» — целлюлозно-бумажный комбинат.

Как и канал, комбинат строили заключенные.
Здесь был СегежЛАГ.

В нашей семье с этим лагерем связана жутковатая история жизни моего дяди Владимира Александровича Попова.

* Еще в 1900 году профессор В.Е. Тимонов был удостоен за проект этого водного пути золотой медали на Парижской всемирной выставке, и после долгих проволочек в 1917 году, как раз накануне февральской революции, Министерство путей сообщения утвердило проект сооружения канала.

Он родился в селе Остречины на Свири, и в 1931 году ушел на службу в армию, а когда через пять лет приехал в отпуск в Остречины, на нем была форма лейтенанта НКВД.

В Остречинах к этому времени разместили лагпункт СвирьЛАГа. И хотя остречинские колхозники жили семейно, но в остальном колхозная жизнь ничем не отличалась от зёковской. Поэтому-то появление Володи, ставшего офицером НКВД, потрясло односельчан.

Это был как бы прорыв в ту жизнь, куда русским доселе ход был запрещен. В новенькой офицерской форме лейтенант Володя влюбил в себя за время отпуска всех колхозных барышень и своих сестер тоже.

Но это была его последняя встреча с семьей. В 1937 году пришло сообщение, что Володя застрелился.

Хоронить его в Сегежу ездили втроем — бабушка, мама, тетушка. Здесь и узнали они подробности душераздирающей истории...

Оказалось, что лейтенант Володя влюбился в ссыльную поселенку.

Любовь была взаимной, но роковой — когда о романе узнало начальство СегежЛАГа, молодому лейтенанту приказали отбыть на новое место службы.

Дальнейшие события — что-то среднее между драмой Шекспира и блатным романсом. Вернувшись в барак, Володя обо всем рассказал возлюбленной. Рядом сидела овчарка и — соседи слышали — скулила, как скулят собаки, почувствовав покойника.

Разлучаться сегожским Ромео и Джульетте было страшнее, чем потерять жизнь.

Лейтенант достал пистолет и обнял любимую.

Первым выстрелом он застрелил овчарку.

Вторым — возлюбленную.

Третью пулю вогнал в свое сердце.

Было ему тогда всего двадцать три года...

Слёз по лейтенанту Володе в Остречинах пролили — реки.

И все: и мама, и тетушка, и мой отец — многие годы спустя вспоминали, как, уезжая из Остречин, на прощальном застолье, вдруг затянул Володя песню...

Вот умру, вот умру я...
Похоронят меня...
И родные не узнают,
Где могилка моя...

Дальше он петь не смог, закрыл руками лицо и заплакал. Песню подхватил дед:

На мою на могилку
Уж никто не придет.
Только раннею порою
Соловей пропоет.

Насчет того, что никто не узнает, где могилка его, молоденький лейтенант НКВД не угадал. Похоронили Володю на городском кладбище в Сегеже, но у песни свои законы, и переделать их не могут никакие жизненные обстоятельства.

Здесь песня тоже оказалась сильнее и правдивее реальной жизни.

После похорон никто из родных на его могиле не был, и что сейчас осталось от нее? Наверное, ничего...

Когда поезд остановился в Сегеже, я вышел в тамбур, намереваясь прогуляться по перрону, но дверь была закрыта.

— Вы на платформу выйти хотели? — спросил проводник.

— Не знаю... — сказал я. — А что, вы дверей не открываете здесь?

— Здесь лучше не открывать... — сказал проводник. — Пахнет сегодня нехорошо...

— Пахнет?! А почему?

— Не знаю... Наверное, ветер от комбината дует...

Я вернулся в вагон и остановился у окна.

Платформа, у которой стоял наш поезд, была пуста.

За платформой рядами стояли контейнеры, а дальше — перекрывающие живое пространство кварталы желтовато-бурых пятиэтажных домов какой-то гулаговской постройки, а над ними — серое, покрытое косматыми тучами небо...

6

Поезд покачнулся и медленно двинулся дальше на север мимо тускло блистающей за деревьями большой и красивой воды.

Надвоицы... Шавань... Идель...

Здесь для устройства Беломорканала использована долина реки Выг, и широкие плёсы на трассе,

как сказано в путеводителе, чередуются с узкими шлюзованными участками.

Глядя на ползущий от воды белоночный туман, я вспомнил, как однажды, листая сборник стихов Геннадия Шпаликова, наткнулся на грустное стихотворение:

Я с псом разговаривал ночью,
Объясняясь, — наедине, —
Жизнь моя удался не очень,
Удался она не вполне...

Читая эти стихи, я почему-то вспомнил историю, случившуюся в тридцатые годы в Сегеже, а когда добрался до строк, написанных Шпаликовым за год до его самоубийства:

Отпоют нас деревья, кусты,
Люди, те, что во сне не заметим,
Отпоют окружные мосты,
Или Киевский, или ветер.

Да и степь отпоет, отпоет,
И товарищи, кто поумнее,
А еще на реке пароход,
Если голос, конечно, имеет...

— даже перехватило дыхание. Несмотря на полное несходство деталей пейзажа, возникло совершенно определенное ощущение, будто я брожу по сегежскому кладбищу, на котором никогда не был.

Пытаясь отделаться от навязчивого, мучительного ощущения сходства, я отыскал биографию знаменитого киносценариста, и с удивлением узнал, что Геннадий Шпаликов родился в Сегеже 6 сентября 1937 года.

В тот самый день, когда там оборвалась жизнь лейтенанта НКВД Владимира Александровича Попова!

Поразительно, как много непостижимого в нашей жизни...

Ничего не связывало семью инженера Фёдора Григорьевича Шпаликова, работавшего на строительстве Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, с никому не известным лейтенантом, работавшим в охране СегежЛАГа...

Но перелистываешь сборник его сына и кажется, что из той сегежской трагедии и рождаются пронзительные стихи...

Я к вам травую прорасту,
Попробую к вам дотянуться,
Как почка тянется к листу
Вся в ожидании проснуться.

И тот полублатной романс, из которого словно бы переписана душераздирающая история чекистской любви, тоже отыскался в сборнике...

Было холодно и мокро,
Жались тени по углам,

Проливали слезы стекла,
Как герои мелодрам.
Вы сидели на диване,
Походили на портрет.
Молча, я сжимал в кармане
Леденящий пистолет.
Расположен книзу дулом
Сквозь карман он мог стрелять,
Я все думал, думал, думал —
Убивать, не убивать?

Увы... Если И.В. Сталин и ставил перед собою задачу более справедливого для русских государственного устройства империи, все равно решить ее не смог. Эта задача просто не имела решения в тех нравственных координатах, в которых велись поиски ответа.

7

Проснулся я часа в три ночи, уже за Кемью, когда наш поезд шел вдоль берега Белого моря. Энгозеро... Лоухи... Чупа... Как отголоски языческих преданий, звучат здешние названия.

Было по-прежнему светло, и воочию можно было разглядеть, что поезд наш под действием каких-то колдовских чар явно заплутал в календаре. Куда подевался май месяц, из которого мы приехали? Вокруг — на земле, на скалах, на деревьях — лежал снег...

Это начиналась Мурманская область, и все явственнее проступали в карельском пейзаже черты Лапландии — студёной земли с промозглыми пронизывающими ветрами, со снежными бурями, с коротким летом.

Полярные зори... Апатиты... Оленегорск... Лапландия...

«Лапландия — это край мрачных скал, омываемых ледяным морем, с крикливыми базарами чаек и гаг, край поседевших, лохматых ельников и морошковых болот... — пишет в своей книге «Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем» Надежда Большакова. — Здесь камни цветут мхом и кустарниками ягод, а на спинах великанов-валунов стоят причудливые, корявые сосны, расходятся в «танце» низкорослые березки, и поднимается настроение, глядя на это чудо природы, а карликовый мелколистник так заплетет по тундре редкие тропы, что пробираешься по ним с трудом.

Лапландия — край суровый и нежный, край черной полярной ночи и белого летнего дня... Дантовым адом воспринимали ее люди пришлые, но для коренных жителей — это колыбель, мать, отчий дом, где каждая березка, каждая сосенка, словно родные...

А сколько осенних красок в природе Лапландии! Она, словно вобрав в себя все цвета радуги, выплескивает их на людей. Здесь осень звенит в лимонно-оранжевые колокола. Рыжие, бурые, золотые листья берез и рябин на фоне черных гор, зеленых сосен и елей завораживают. Вечерами очертания сопок оживают, затеявая немыслимые игры света и тени, пробуждая воображение, создавая сказочные образы».

Но сейчас был май, и все цвета радуги сливались в две краски: темно-серого пространства земной

тверди и светло-серого пространства воды и неба... Радостно стукнуло сердце, когда мелькнуло впереди ярко-оранжевое пятнышко. Но поезд промчался мимо, и этот яркий мазок в сером пейзаже оказался куртками путевых рабочих, сгрудившихся в стороне от пути.

Суровый край...

Неслучайно поэтому коренные жители этого края — саамы или, как их называли раньше, лопари*, приобрели среди других народов славу закоренелых язычников — так повседневно и буднично общались они с «духами злобы поднебесными». «Ни один народ на земле не занимается столько волшебством и чародейством, как лопари»... — отмечал в XVI веке английский посол Джильм Флетчер.

Русские — новгородские сборщики подати — начали появляться на Мурмане еще в XI веке, но селиться здесь постоянно русские стали позднее, когда обеспеченной оказалась защита от чар и колдовства.

Появление в XV веке первых поморских селений на Терском берегу Белого моря напрямую связано с деятельностью Николо-Карельского монастыря, основанного преподобным Евфимием Карельским на месте нынешнего Северодвинска.

Сопостники преподобного Евфимия шли вдоль берега Белого моря, возводя на своем пути Никольские храмы. «От Холмогор до Колы тридцать три Николы» — закрепляя эту дорогу иноческого подвига, говорит поговорка. Ну, а в конце XV — начале XVI века пришла пора московского освоения края...

* Слово «лопоть» обозначает человека, живущего на краю земли.

Глава вторая
Кольский придел Святой Троицы

Говорят, что почки на вербах в Мурманске распускаются не на Вербное воскресенье, а только на Троицу...

Эта примета народного календаря при внимательном рассмотрении оказывается заряженной духовным смыслом большим, чем его способно вместить обычное фенологическое наблюдение.

1

Мы знаем, что символом первообраза горного мира, сделавшегося сущностью начального русского православия, была София — Премудрость Божия. Вокруг этого небесного образа и выкристаллизовались Новгородская и Киевская Русь.

Объединение Московской Руси совершалось вокруг другого центра духовной кристаллизации.

«Новое видение горного первообраза, — говорил о. Павел Флоренский, — дается русскому народу в лице его второго родоначальника — преподобного Сергия... Читатель Пресвятой Троицы, преподобный Сергей строит Троичный храм, видя в нем призыв к единству земли Русской, во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на него, — по выражению жизнеописателя преподобного Сергия, — побеждать страх пред ненавистною раздельностью мира»...

Смертоносной раздельности противостоит живоначалное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни»...

Ученик и почитатель Сергия Радонежского преподобный Андрей Рублев создал икону Святой Троицы, в которой с такой глубиной воплотил духовные постижения своего великого учителя, что преподобный Александр Свирский, которому Святая Троица явилась воочию, именно такую и узрел Ее.

Символично, что преподобный Александр Свирский был одним из духовных наставников первого Кольского просветителя — преподобного Феодорита. Рассказывают, что, провидев его приближение, преподобный Александр Свирский со словами: «Вот пришел к нам Феодорит диакон» — сам вышел на встречу ему за ограду монастыря.

И, наверное, можно сказать, что с этого места, где явилась преподобному Александру Святая Троица, от деревянной Свято-Троицкой церкви и начинался Свято-Троицкий монастырь, построенный преподобным Феодоритом на Кольском берегу.

Это, разумеется, хотя и допустимый, но только лишь поэтический образ.

Истина же в том, что московский этап присоединения кольской земли начинается не с выдвижения воинских отрядов для сбора податей, а с проповеди, которую повели здесь подвижники-просветители, преподобные Феодорит Кольский, Трифон Печенгский, Варлаам Керетский, сумевшие противопоставить смертоносной раздельности «живоначалное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания».

2

Сведений о преподобных Феодорите Кольском, Трифоне Печенгском, Варлааме Керетском сохранилось достаточно много, но при этом биографии подвижников порою так переплетаются между собой, что даже скрупулезные исследователи, вроде иеромонаха Митрофана (Баданина), и то порою не в силах различить, житию которого из святых принадлежит тот или иной эпизод.

И это при том, что облик каждого подвижника весьма своеобразен, а земной путь совершенно не схож с путем другого.

Вот, например, преподобный Феодорит. Это был один из образованнейших людей своего времени.

Детские годы он провел в ростовском монастыре Григория Богослова, где бережно сохранялась память о современнике Сергия Радонежского, крестителе зырян Стефане Великопермском. Путь епископа Стефана и послужил Феодориту образцом для подражания.

Как Стефан Великопермский, Феодорит в ростовском монастыре не только овладел книжной премудростью, но и в совершенстве изучил греческий язык и вскоре был взят в Соловецкий монастырь для переписывания книг. В тринадцатилетнем возрасте он принял монашеский постриг и по соловецкому обычаю поселился в монастырском Шуереченском скиту у старца Зосимы.

Наш Мурманский поезд пересек реку Шую еще перед Кемью около часа ночи. Поездного времени от Шуи до Колы около двенадцати часов.

У преподобного Феодорита этот путь занял 27 лет...

Пятнадцать из них он провел «в послушании духовном неотступно» у старца Зосимы. После, получив благословение преподобного Александра Свирского, походил по «заволжским старцам», два года провел в Кирилло-Белозерском монастыре, потом поселился в Белозерье в пустыни, основанной старцем Порфирием.

Молитвенное сосредоточие Феодорита постепенно достигло такой глубины, что все земное отошло от него и житие наполнилось небесными знаками, указывающими дальнейший путь.

И опять эти знаки указывали на Троицкий храм.

Сопостник Феодорита «божественный старец» Порфирий был призван тогда в Москву и назначен игуменом Троице-Сергиева монастыря. А Феодорита тут же призвал старец Зосима, предвидящий свое скорое отшествие к Богу.

Пешком вернулся Феодорит из Белозерья в Беломорье, чтобы, получив от своего первого духовно-

го наставника последнее напутствие, приступить к главному делу жизни — просвещению лопарей и строительству кольского придела Святой Троицы — здешнего Свято-Троицкого монастыря...

3

Вблизи нынешней Колы, на «ребрах северовых», Феодорит встретил отшельника Митрофана — будущего Трифона Печенгского.

«Архангельский патерик», составленный Новомучеником Российским, епископом Никодимом Белгородским, производит Трифона из тверской священнической семьи и говорит, что он с юности возлюбил пустынное житие и был призван на крещение лопарей самим Господом.

Зато «Житие преподобного Трифона Печенгского, просветителя лопарей», помещенное в «Православном собеседнике», выпущенном в 1859 году в Казани, а следом за ним и игумен Митрофан (Баданин), называют преподобного Трифона «знаменитым атаманом разбойничьей шайки, державшей в страхе все побережье Ботнического залива», который после совершенного в хмельной ярости убийства любимой, испытал сильнейшее потрясение и не только оставил свое разбойничье ремесло, но и осудил себя на скитание в пустынных краях, «непрестанно во слезах и молитвах, и в сокрушении сердца пометая себя на землю перед Богом»*.

* Преподобный Феодорит Кольский и его духовное наследие. Материалы региональной научно-богословской историко-

Как бы то ни было, но встреча Трифона с Феодоритом на «ребрах северовых» оказалась полезной и для того и для другого.

Для Феодорита был чрезвычайно ценен накопленный Трифоном опыт выживания в «прегорчайшей пустыне»*.

Трифон приобрел у Феодорита необходимый навык евангельской проповеди.

После пятилетнего общения с Феодоритом Митрофан становится Трифоном и возвращается в верховья реки Печенги, чтобы просвещать там лопарей и построить первую церковь на Печенге в честь Святой Живоначальной Троицы, которая и даст начало прославленному Трифонову Печенгскому монастырю.

Ну, а Феодорит, просвещая местных жителей, добивается того, что они сами отправляются в 1526 году в Москву хлопотать о строительстве у них церквей. Как сообщает летопись, «приехавше к Москве лопляне с моря-Океана, из Кандалакшской губы, усть Нивы-реки, из дикой лопи, били челом государю и просили антими́нса и священников церковь свящати и просветить их святым Крещением».

Конечно же, не случайно Феодорит направил своих челобитчиков-лопарей прямо в Москву, к Великому князю. Они просят благословения на строительство Русской Православной церкви в месте, которое до селе державе Московской не принадлежало.

краеведческой конференции. Первые Феодоритовские чтения. Кандалакша. 30 августа 2006 года. СПб: Ладан, 2007, с. 25–26.

* Считается, что помимо рыбы и грибов отшельники питались мхом белым, квашенным с брусникою.

Что кроме восхищения можно испытать, вглядываясь в духовный чертёж устройства Русской страны!

Духовное просвещение и присоединение территории не разделяются на этом чертеже, поскольку это две стороны одного явления — собирания Руси в духовном единстве, в братской любви.

И центром объединения, «в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни», и на Кольском полуострове становится Троицкий храм.

Святитель Стефан Великопермский, создав зырянскую письменность и переведя на зырянский язык Евангелие и церковные службы, написал свою знаменитую икону, названную «Зырянской Троицей», и дал ее просвещенному им народу для защиты от духов зла и ненависти.

Повторяя путь Стефана, преподобный Феодорит, создает письменность саамов и переводит церковные службы на саамский язык, чтобы собрать местных жителей возле Свято-Троицкого монастыря и оградить их от беснования духов преисподней...

4

Преподобные Феодорит и Трифон живут рядом.

Оба они занимаются просвещением саамов, оба борются с ополчающимися на них духами зла и тьмы, оба строят одинаковые монастыри, а потом сменяют друг друга, когда братия изгоняет их из обителей, но ни о каком соревновании, ни о какой конкурен-

ции, ни о каком недоброжелательстве между ними не идет и речи.

Преподобные дополняют друг друга, один — житейским опытом, другой — книжной мудростью. Они поддерживают друг друга молитвами, они замещают друг друга в случае надобности. Они на своем примере показывают, как можно победить страх перед ненавистною раздельностью мира, и уже своими житиями поучают нас, что это такое — собрание в духовном единстве и братской любви...

Третий из просветителей кольских — Варлаам Керетский намного моложе Феодорита Кольского и Трифона Печенгского.

Но он неотделим от них.

Он воспитан своими старшими по возрасту наставниками, он порожден ими, он принадлежит к той *неразделимости*, которую они несут в себе.

Еще будучи священником Василием в Коле, Варлаам Керетский вступил в схватку с древним змием, испокон веков обитавшем на Абрамовом мысу, что запирает выход из Кольского залива.

— Ухожу я от места сего, ибо призвал ты Имя Распятого, а Его власть необорима... — сказал тогда молодому священнику бес. — Да вот только с тобою, Василий, я не прощаюсь — ты меня еще вспомнишь...

Новая встреча состоялась уже в Керети, куда перевели Василия.

Существует немало преданий, как совершил свой грех священник керетского храма Василий. Фоль-

клорная версия утверждает, что убийство попады произошло в порыве ревности:

Поп Варлаамий
Со свещей и цветами
На пристань идет,
Он свою госпожу
Воплем крепким зовет:
Без тебя дома миру нет!
Без тебя в церкви пеня нет!

Ну, а церковные историки склонны предполагать, что убийство произошло, когда преподобный Варлаам отчитывал свою беснующуюся жену.

«Так зачем же Варлаам взял в руки святое Копие, место которому на жертвеннике, вместе со всеми священными Сосудами, предназначенными для Таинства Евхаристии — принесения Бескровной Жертвы? — задается вопросом игумен Митрофан (Баданин). — В Требниках, переизданных в 90-х годах прошедшего века, можно встретить довольно загадочный чин, занимающий всего одну страничку текста и состоящий из трех тропарей, но при этом имеющий весьма внушительное название: «Когда крест творит священник на страсть недуга со святым копием». Думается, что эта уцелевшая «страничка» — лишь слабый отголосок какого-то серьезного чина изгнания беса, применявшегося в глубокой древности, еще до составления нынешних молебствий из Требника митрополита Петра Могилы XVII века, и предполагавшего некое использование при этом святого Копия.

Потому и оказалось оно, Копие это, в руке Варлаама. Да только, видать, жутко страшен и силен был тот демон древний, что, не вынося святынь христианских, внезапно открылся Варлааму в несчастной матушке, с такой непомерной силой проступив сквозь любимые черты страдающей жены, во всем своем нестерпимо мерзком облики, что не устоял заклинатель и поразил святым Копием древнего змия».

Страшный крик пошатнул тогда керетский храм.

Смрадным дымом изошел дух нечистый из замершего на вздохе пронзенного тела убитой попадьи. Священник Василий бросился к ней, но уже смертной пеленою затянуло глаза жены.

И тут, словно ледяной, пронизывающий насквозь ветер с моря, возник страшный голос Змия:

— Ну что, Васюк, вспомнил меня, жалкий убийца глупой попадьи? Ты больше теперь не священник — ты душегубец! Не будет тебе спасения — я победил тебя, помни теперь об этом всю свою жизнь.

Однако особой разницы между народным поверьем и трактовкой событий иеромонаха Митрофана нет. По-разному, но и тут и там, древний змий овладевает попадьею. Борясь с ним, священник Василий убивает супругу, и бес, который на это и рассчитывал, торжествует — ему удалось отомстить за свое поругание на Абрамовом мысу.

Что оставалось делать ставшему убийцей собственной жены священнику?

Поп Варлаамий во гроб
Госпожу как к венцу снаряжал...

— свидетельствует поморское сказание. И не окажись рядом с Варлаамом Керетским Феодорита Кольского и Трифона Печенгского, вероятно, победу змия можно было бы считать окончательной.

Но преподобные не оставили молодого собрата в час постигших его испытаний...

— Ну что, чадо, посрамил тебя змий? — спросил Феодорит, выслушав горькую исповедь Варлаама. — Однако все ж язву копием ты врагу нанес, а не супружнице твоей. Так что нет в тебе греха против души ее, не убивал ты ее в сердце своем. А вот против тела ее грех на тебе тяжек лежит — разрушил ты сей сосуд хрупкий, разорил храм Духа Святого. И теперь в храме сем по твоей вине — иной дух воцарился, дух тления и смерти. Супружница твоя всегда тебе верной помощницей и молитвенницей была, вот, я думаю, и сейчас, в этой горести твоей, пусть она тебя не оставляет и разделит с тобой тяжесть епитимьи. Помни, чадо, страшная сила сокрыта в словах: «жена не властна над своим телом, но муж», ибо «тайна сия велика есть». Так что бери ее себе в помощницы и иди в море, искупай свою вину перед Господом, гляди на дело рук твоих и кайся, пока время тело ее в прах не обратит!

Страшной была наложенная преподобным Феодоритом епитимья.

Вернувшись в Кереть, Варлаам отправился на погост, раскопал могилу жены, и, взвалив гроб на плечи, потащил его на берег моря.

День был бессолнечным, и сизоватое море смешивалось с небом, так что не понять было, где: в воде стоит приготовленный к плаванию карбас, или уже на небе...

Молча наблюдали потрясенные односельчане, как Варлаам, зайдя в воду по пояс, погрузил на суденышко вырытый из могилы гроб, а потом влез в карбас сам. Низко поклонившись односельчанам, он перекрестился и поплыл прямо в открытое море.

5

Павел Флоренский говорил о живоначалном единстве, которое противостоит смертоносной раздельности, о единстве, неустанно осуществляемом духовным подвигом любви и взаимного понимания. Живая иллюстрация этому — многолетние странствия Варлаама Керетского по морю.

Он скитался по волнам, пока не исполнились условия наложенной на него епитимьи: «мертвого носить во гробе, дондеже изгнует тело умершее». За годы, проведенные Варламом «над морской пучиной», тело жены постепенно предавалось земле, и то, что осталось от него, тлению уже не подлежало.

Но главное, что преобразился сам Варлаам. «Чувственные страсти победив воздержания браздами, чудодейственный Варлааме, чистотою душевною Божественно вооружился, стяжав бесстрастие и целомудрие, имиже к Богу паче приблизился».

Анализируя это духовное состояние преподобного, игумен Митрофан (Баданин) говорит:

«Мысленно оглядывая эти прошедшие три года «хождений», Варлаам чувствовал, какая решительная, всеобъемлющая перемена произошла с ним. Тем немислимым трехлетним испытанием безжалостно и по живому Господь перекроил все его существо. Тело его — этот извечный тиран человека, было жестоко усмирено и внешне, пожалуй, изуродовано нынешней своей согбенностью, заскорузлостью, задубелостью. Зная теперь свое место, это новое тело более не диктовало свою волю и пришло в гармонию с душой. *«Естество плотское повинуя [подчинив] духу, постом и воздержанием, душу же Божественными дарованиями просветив, неведущественные дарования Духа Святого приял».*

Это было преобразование прежнего «ветхого» «homo sapiens», достигшего удивительной гармонии души и тела, при которой «жизнь Иисусова открывается в смертной плоти нашей» (2 Кор. 4, 10), и рождается «homo Dei» — человек Божий. Эта «новая тварь во Христе» (2 Кор. 5, 17), новый человек, жил теперь во всецелом послушании своему Творцу. Мир и тишина наполняли отныне этот «храм живущего в нем Святого Духа» (1 Кор. 6, 19). *«Землю быв, земного достойно отступил, небесное обрета наслаждение».*

Великие чудеса вершатся теперь Варлаамом, потому что человек, способный «упразднить тело греховное, дабы не быть рабом греху, не повиноваться ему в похотях его», обретает благодатное

согласие со своим обновленным телом, начинает преодолевать и свой конфликт со всем творением Божиим, поскольку «человек связан своим телом со всею плотию мира, и связь эта так тесна, что судьба человека и судьба всей твари неразрывна».

Непостижима духовная мощь, обретенная преподобным. Одно из чудес, совершенных им, — очищение морских глубин возле Святого Носа от «корабельных сверлил», нападавших на мореплавателей и разъедавших днища кораблей.

Чудо это, списанное, кажется, из волшебной сказки, тем не менее подтверждается археологическими раскопками, в ходе которых были отысканы корабельные доски, изъеденные неким неведомым науке червем. Подтверждают это чудо и свидетельства, зафиксировавшие, что как раз в годы странствия Варлаама по волнам, исчезают упоминания о нападениях «корабельных сверлил» на моряков.

Завершив свои морские скитания и предав земле мощи жены, Варлаам принял монашеский постриг и продолжил свой подвиг покаяния в уединенной пустыни. Он трудился вместе с преподобными Феодоритом и Трифоном, светом православия очищая Мурман от «духов злобы преисподней», духовно благоустривая край...

Мы уже говорили, что жития Феодорита Кольского, Трифона Печенгского, Варлаама Керетского так переплетаются между собою, что порою не различить их.

И тот же эпизод убийства жены преподобным Варлаамом вписывается в одну из редакций жития Трифона Печенгского, и он из поповского сына, возлюбившего с отрочества молитвенное уединение, превращается в разбойника, убившего, как и Варлаам, свою возлюбленную. Точно так же и эпизод, связанный с изгнанием преподобного Феодорита из основанного им монастыря, возникает в житии преподобного Трифона Печенгского...

Но, сравнивая различные варианты жизнеописаний преподобных и досадуя на обнаруженные «нахлесты», понимаешь и ту простодушную логику, которая привела к этим ошибкам.

Ни Феодорит Кольский, ни Трифон Печенгский, ни Варлаам Керетский в своем главном жизненном свершении — духовном очищении и преображении Кольской земли в край, над которым воссиял свет Святой Троицы, не могли осуществиться друг без друга. Они в реальной жизни поддерживали друг друга на своем подвижническом пути, и, наверное, это и пытались выразить первые жизнеописатели.

Известный рассказ архимандрита Павла Груздева о поездке архиерея по Белому морю напрямую с тремя мурманскими преподобными не связан, но простодушное православие его сродни народным преданиям о Феодорите Кольском, Трифоне Печенгском и Варлааме Керетском...

«Едет архиерей по морю молиться в Соловки, в монастырь. И глядит, что-то народ показывает на островок.

— Владыко, все утверждают, что на том острове три святых человека живут.

Архиерей: «То не то, всё не так...»

— Владыко, мы тебя не слушаем, а там святые живут.

Архиерей приказал корабль остановить, спустился в шлюпочку и поплыл со своими приближенными на этот островок. Подъезжает. Стоят трое, Бог знает, во что одеты — в лаптях ли, босиком ли. Кланяются. Владыка их перекрестил.

— Ну, расскажите, добрые люди, кто вы и сколько здесь пропадаете.

— А мы не знаем, владыко, сколько годов — может, двадцать, а может, тридцать. Мы были рыбаками, промышляли рыбу на этом море. Поднялась сильная буря, всё разметало. Мы трое на доске дали Богу обещание: «Господи, если очутимся на земле, с этого места не уйдем, будем жить до конца нашей жизни». В год раз к нам приезжают священники с материка, нас исповедуют.

— Ну, это ладно, вы выполняете свою обязанность. А как молитесь, главное?

— Да владыко, какие мы молитвенники! Учили аз, буки, веди, да и то не научились. А знаем, что на небе Святая Троица — Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И мы — это Вася, это Ванька, это Илюшка — сами сочинили молитву: «Трое вас и трое нас. Помилуй нас».

— Ой-ой-ой! Надо учить вот такую молитву: «Отче наш, иже еси на небеси...»

Выучили молитву. Благословил их владыка и поплыл на лодке на свой корабль, а сам думает: «Какие ещё люди есть на Святой Руси!».

Темная ночь. Архиерею не спится, ходит по палубе, да и глядит...

В той стороне, где остров — зарево!

«Ой, — говорит, — наверное, тех чудаков домишко горит!».

Расстроился. Жалко бедных людей! А свет все ближе, ближе... Архиерей протирает глаза — разглядел, а это те трое подхватились за руки да и бегут.

— Владыко, мы забыли молитву! Давай снова учить!

Архиерей говорит:

— Милые люди! Я у престола Божия стою, облачён от Бога высшей властью священства, все молитвы знаю, но по морю я бегать не умею! Мне не пробежать. А вы только и знаете: «Трое вас и трое нас, помилуй нас», но у вас чистое сердце. Пойдите с Богом на свой святой остров и живите и молитесь так, как вы молитесь!

Родные мои! Это я про молитву сказал, как молиться. Не про многоглаголанье».

Словами про молитву, а не про многоглаголанье и надобно завершить рассказ о трех мурманских преподобных, благодаря трудам которых принесено было почитание Святой Троицы на Кольскую землю...

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, чудь некрещеная, схоронись в камень, размечись по низовью, не

от меня грешного, а от Креста Христова... — гласит древняя поморская молитва-заклинание. — Не я крещу — Господь крестит; не я гоню — Господь гонит. Молитвенники Соловецкие Зосима и Савватий — наши заступники, и Трифон Печенгский — предстатель и заступник, и Варлаам Керетский — наша надежда: во веки веков. Аминь!»

6

Побеждать страх пред ненавистною отдельно-стью мира.

Собираться в духовном единстве и братской любви.

Эти слова, если их употреблять всеу, не несут в себе ничего, но наложенные на духовный чертеж устройства Русской страны, они обретают материальную плоть и преображающую силу.

Петр I и его наследники, разворачивая Россию к мелководной Балтике, утыкая страну в душную тесноту Европы, совершали не просто геополитическую ошибку, но подрывали и духовные основания Русской державы.

Общеизвестно, что император Александр III и его сын Николай II, продолжая исправление совершённых первыми Романовыми ошибок, провели железную дорогу к берегу Баренцева моря и заложили Мурманск.

Менее известно, что основания для этого строительства были не только военные и экономические, но прежде всего нравственные...

Когда в конце XIX века возник вопрос, где основать главный морской порт, императора Александра III настойчиво убеждали, что единственно возможное место для этого Либава. Мнение это, как показала история, было глубоко ошибочным.

Император Александр III соглашался, что в Либаве может быть устроен приличный морской порт, но делать главной морской базой залив, в котором все военно-морские силы могут быть заблокированы противником? Этих сомнений не могли развеять аргументы морского и военного министерств, лоббирующих проект, сулящий им немалые личные выгоды.

Вот тогда-то, как вспоминает С.Ю. Витте, у императора Александра III и возникла мысль устроить порт в таком месте, где бы, с одной стороны, была гавань, незамерзающая круглый год, а с другой стороны, гавань эта должна была быть совершенно открыта, и из нее можно было бы выходить прямо в море.

«Императору говорили, что подобный порт можно найти только на Мурманском берегу, т. е. на нашем дальнем Севере, — пишет С.Ю. Витте. — Вот император и поручил мне поехать на Север, познакомиться с ним и узнать, нельзя ли найти там такого рода незамерзающую гавань, где можно было бы строить большой военный флот, такую гавань, которая послужила бы нам главной морской базой...

Когда я отправлялся туда, то император указывал мне на то, что когда был голод на Севере, то было

очень трудно бороться с голодом, и многие умирали только из-за невозможности доставки туда хлеба; при этом император высказывал мне такого рода мысль — свою мечту, — чтобы на Север была проведена железная дорога, чтобы край этот, интересы которого он принимал очень близко к сердцу, не был обделен железными дорогами. Он говорил мне о том, как бы он был рад, если бы ему удалось видеть там железные дороги, которые обеспечили бы этому краю подвоз хлеба на случай будущих голодовок»...

Свидетельство чрезвычайно интересное.

С точки зрения приверженцев Петра I, В.И. Ленина или Б.Н. Ельцина, логика императора Александра III выглядит нелепо. Но ведь вышеназванные правители и осуществляли все свои переустройства и реформы только ради самих реформ. Какой ценой предстоит заплатить за это народу, их не интересовало. Более того, не очень интересовало и то, что станет после этих своевольных переустройств со страной.

Император Александр III являл собою тип совершенно другого правителя. Он демонстрировал образ благоверного служения, где пути устроения, развития и защиты Отечества совпадают с путями спасения собственной души и нравственное не только не противоречит государственному, но помогает найти верные в стратегическом плане решения...

Увы...

Реализовать план строительства порта в Екатерининской гавани на Мурмане Александру III не

удалось. Незадолго до своей кончины он сделал соответствующую резолюцию на докладе С.Ю. Витте, но издать необходимые указы не успел.

Двадцатого октября 1894 года в Ливадии оборвалась его жизнь.

«Не плачь и не сетуй, Россия! — записал в этот день святой праведный Иоанн Кронштадтский. — Хотя ты не вымолила у Бога исцеления своему царю, но вымолила зато тихую, христианскую кончину, и добрый конец увенчал славную Его жизнь, а это дороже всего!»

Исполнил волю отца император Николай II, но — С.Ю. Витте считает, что это было сделано по настоянию великого князя Алексея Александровича, воспользовавшегося мягкостью и неопытностью молодого государя — с опозданием на два десятилетия, с затратой огромных денег на сооружение абсолютно ненужных России сооружений в Либаве.

7

Романовы, упорно не позволявшие России разглядеть, что, кроме схожего с внутренним озером Черного моря и мелководной Балтики, границы ее омываются еще и океанами, на обустройство северных ворот империи средства выделяли крайне неохотно.

Самому Мурманску, потому что закладывался город Романов на Мурмане уже во время первой мировой войны, с храмами повезло еще меньше. Четвертого октября 1916 года епископ Архангельский и Холмогорский Нафанаил заложил бронзовую плиту с памятной надписью в основание будущего город-

ского собора во имя святителя Николая, но построить собор не успели. Уже при советской власти, дабы никто и помыслить не мог о духовном благоустройстве мурманской земли, на готовом фундаменте возвели Дом культуры имени Кирова.

Мурманск остался практически без церквей...

Ну, а без церквей невозможно выстроить русский город. Трудно сделать это и с точки зрения духовности, да и в чисто архитектурном плане тоже ничего не получится... И там и тут без церквей образуются зияющие провалы, которые по молодости могут не замечаться, но с годами начинают выпирать, омертвляя городское пространство.

Вообще советский период истории Мурманска, хотя и полон он героическими свершениями, в архитектурном плане чрезвычайно беден. Кроме схожих с бараками многоэтажек, которые можно найти в любом городе, здесь почти нет ничего характерного именно для Мурманска.

Побродив с директором Мурманского областного издательства И.Б. Циркуновым по центру города, я из экзотики только челюсть кита и обнаружил. Посеревшая от времени, она лежала во дворе-сквере, и в ее полудуге скопился так и не пережеванный городской мусор — банки из-под пива и пустые бутылки...

А с другой стороны, ведь и строили город в основном для жизни вахтовым методом. В сталинскую эпоху здесь начали даже возводить дома капитанов, дома тралмейстеров — дома не для людей, а для специалистов, с квартирами, уже обставленными готовой

мебелью. Завершив вахтовую жизнь, обитатели этих домов должны были выйти на заслуженный отдых и, превратившись в пенсионеров, освободить квартиры другим способным к трудовой деятельности капитанам и тралмейтерам.

Такой город вечной молодости задумывался...

И действительно, долгое время народ в Мурманске жил молодой, непостоянный, который трудился здесь «приезжим образом». Говорят, что первое время даже и кладбищ здесь не было, поскольку не предусматривалось в Мурманске умирать...

Умирать, конечно, умирали. Но хоронили, где придется.

Это сейчас благоустроились кладбища в Мурманске, и даже какая-то своя кладбищенская, я бы сказал, эстетика появилась.

Цветов не здешних семена
Не сейте на моей могиле...

— прочитал я на могильном памятнике Владимиру Смирнову.

Завещание это исполнили — в периметре цветника на могиле поэта прижились кустики брусники.

Глава третья *Возрождение*

Считается, что возрождение православной жизни в Мурманске связано с приобретением общиной

верующих в 1946 году дощато-засыпного домика на улице Котовского (ныне Зеленой).

В этом больше похожем на сарай молитвенном доме и начали совершаться богослужения на Мурмане, на «ребрах северовых», где уже и забывать стали о совершенных здесь преподобными Феодоритом Кольским, Трифоном Печенгским и Варлаамом Керетским трудах.

Великими стараниями и хитростями удалось вытянуть домик в длину и украсить маковкой с крестом и колоколенкой...

1

Впрочем, чего еще можно было добиться православным в нашей стране?

Напомним, что вскоре после кончины И.В. Сталина, «духи злобы поднебесные» снова почувствовали силу, и в нашей стране началась кампания возрождения ленинско-интернационалистической романтики. Кампания шла рука об руку с усилением гонений на Русскую Православную Церковь. За время правления Н.С. Хрущева число действующих храмов и монастырей сократилось более чем в четыре раза.

Чтобы сделать духовное опустошение всеобщим, 4 октября 1958 года вышло секретное постановление ЦК КПСС, предписывавшее развернуть наступление на «религиозные пережитки». Во главе наступления был поставлен советский «философ» Леонид Фёдорович Ильичев, который разработал план агитационной подготовки, отличавшийся от

антиправославных проектов Ильича №1, пожалуй, только особым цинизмом. Многие тайные сотрудники КГБ, работавшие внутри Русской Православной Церкви, получили тогда указание открыто порвать с Церковью и публично выступить с «саморазоблачениями». Эти провокации и стали стержнем агитационной кампании.

Натиск хрущевцев был злым, агрессивным, и когда на XXII съезде КПСС Никита Сергеевич посулил «догнать и перегнать» США и построить в стране коммунизм «в основном» через 20 лет, а заодно показать советскому народу *последнего* попа, — он не блефовал, он действительно был уверен, что ему удастся сокрушить Русскую Православную Церковь.

Уже к ноябрю 1960 года было снято с регистрации около 1400 православных приходов. Церковные здания с молчаливого одобрения Москвы положено было взрывать или — если дело касалось деревянных храмов! — сжигать.

Но главный успех антиправославных сил измерялся не только цифрами закрытых приходов и взорванных храмов. Памятуя о провале обновленчества в двадцатые годы, хрущевцы лишили Православную Церковь какой-либо возможности для защиты. Изуверская подлость хрущевских гонений на Русскую Православную Церковь усиливалась тем, что гонители всячески эксплуатировали союз, заключенный Церковью с государством в тяжелые годы войны. Все карательные акции исходили как бы от самой Церкви. Это касалось и увольнения

на покой виднейших иерархов, и закрытия монастырей и семинарий, и других больших и малых нападков.

В книге «Облеченный в оружие света», на примере служения митрополита Иоанна (Снычёва), я попытался показать, насколько безоружными были в противостоянии гонителям наши иереи.

«Возвращался я сегодня из храма домой, — записывал отец Иоанн в дневнике, — и вот на пути встретились дети, которые начали смеяться надо мной и, следуя стороной от меня, кричать: «Мракобес! Мракобес!»

«Душа вся горит от волнения, а сердце плачет. Тяжело. Враг досаждают, — гласит другая дневниковая запись. — Привели девочку восьми лет крестить. Отказали. Запрет наложен уполномоченным: школьного возраста детей не крестить»...

Поразительно, но хотя в начале 60-х в жизни нашей страны происходило множество важных и масштабных событий, в дневниках будущего митрополита Иоанна при всем желании невозможно найти и намек на эти события, как будто происходили они совсем в другой стране.

Но это ведь так и было... Все десять лет своего правления Хрущев сосредоточенно добивался, чтобы снова, как при Ленине и Троцком, почувствовали себя русские православные люди чужими в стране, которую отстаивали в страшной войне, которую героическим трудом подняли из послевоенных руин...

И ему почти удалось добиться, чтобы в *этой*, как полюбили потом говорить демократы, *стране* советские люди почти вытеснили русский народ.

«Как тяжело становится жить на земле! — восклицает в своих дневниках будущий митрополит Иоанн. И спрашивает себя: — Неужели мы — христиане последнего времени?»

2

Гонения на православие, на русскую духовность с уходом Н.С. Хрущева хотя и утратили свою агрессивность, но отнюдь не прекратились. Церковь решено было взять измором, и тогда, в 70-е годы, даже Евангелие стало в нашей стране почти запрещенной книгой.

Интересно, что, пытаясь преодолеть ощущение безвыходности, которое старались заронить в души православных иереев брежневские идеологи, архиепископ Иоанн (Снычѳв) увлекся в середине 70-х сооружением макетов церквей. Сохранилось несколько фотографий владыки Иоанна за этим занятием. На одной из них — макет церкви, стоящий на столе перед владыкой, очень напоминает своим внешним видом тот храм, что стоял тогда в Мурманске на улице Котовского.

Совпадение, разумеется, случайное, но при более тщательном рассмотрении и в нем обнаруживается промыслительная, непостижимая человеческому разуму связь...

Как раз в 70-е годы, когда архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн увлекся сооружением макетов церквей, на военно-медицинском факуль-

тете* Куйбышева обучался слушатель Валентин Петрович Гетья. Он был уже пятикурсником, но, как вспоминает сам, обстоятельства сложились так, что возникло непреодолимое желание уйти из училища и стать священником.

Добрые знакомые, однако, убедили курсанта пойти к владыке Иоанну и взять благословение на такой шаг.

Владыка Иоанн внимательно выслушал курсанта-пятикурсника, подумал и объявил, что бросать училище не следует, надо закончить его, а годика через два, демобилизовавшись, можно будет поступить в семинарию...

И таким немощным, таким оторванным от жизни показался курсанту владыка Иоанн, что даже пожалел он его. Действительно, такого пустяка Владыка сообразить не мог, что после военного училища отнюдь не два года придется служить.

— Я ведь офицером после училища стану!

— Ничего-ничего... — сказал владыка Иоанн. — Офицеров тоже в семинарию берут...

Вздыхнул курсант и пошел.

Но раз благословение было дано, нужно было исполнять его.

— И вот как-то так получилось, — рассказывает он, — но все мои проблемы решились тогда, я благополучно завершил учебу, получил лейтенантские погоны

* Во время войны Ленинградская Военно-медицинская академия была эвакуирована в Куйбышев. После возвращения в Ленинград, один из факультетов Академии, получивший статус самостоятельного высшего военного училища, остался в Куйбышеве.

и отправился служить в Калининградскую область. Но прошел год, и снова начались у меня неурядицы. Начальство почему-то очень боялось, что я в церковь хожу. И так, и этак убеждали оставить веру, сулили всякие блага в награду, а потом, когда я отказался, предложили уйти из армии по состоянию здоровья. Когда я демобилизовался, как раз два года исполнилось с начала моей службы... Точь-в-точь, как и сказал владыка Иоанн... Я поработал недолго врачом-терапевтом в поликлинике Куйбышева, а в 1980 году поступил в Московскую Духовную семинарию...

Тут самое время сказать, что курсант Валентин Петрович Гетя — это нынешний архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон.

Вся его жизнь оказалась связанной с митрополитом Иоанном (Снычёвым).

Когда, уже будучи иеромонахом, он окончил в 1987 году со степенью кандидата богословия Московскую Духовную академию, его назначили настоятелем Петропавловского храма в Куйбышеве, а в 1988 году возвели и в сан игумена.

— Я был настоятелем храма, — рассказывает владыка Симон, — и поехал в отпуск, когда получил телеграмму митрополита Иоанна с требованием немедленно вернуться. Я приехал... Владыка сказал мне, что он назначен митрополитом Ленинградским и Ладужским, и мне надо ехать с ним...

С августа 1990 года архимандрит Симон становится секретарем митрополита Ленинградского и Ладужского Иоанна (Снычёва).

Одновременно он преподает практическое руководство для пастырей в Санкт-Петербургской Духовной семинарии, а потом и каноническое право в Санкт-Петербургской Духовной академии.

Третьего октября 1993 года в Богоявленском соборе Москвы прошла хиротония архимандрита Симона во епископа Тихвинского, викария Санкт-Петербургской епархии.

А через два года завершился земной путь митрополита Иоанна (Снычёва). Его погребли на архиерейском кладбище Александро-Невской лавры.

Прошло еще два месяца, и вот викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Тихвинский Симон получил новое назначение. Указом Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II от 27 декабря 1995 года он назначается предстоятелем новой, образованной на несколько минут раньше Мурманской и Мончегорской епархии...

С назначения владыки Симона на Мурманскую и Мончегорскую кафедру и начинается новый этап православного возрождения Мурманска, начинается преображение самого Мурманска. И сейчас уже воочию можно видеть, как наконец-то начал превращаться он в город, о котором мечтали русские люди, пришедшие много веков назад в этот суровый край.

Город, который мужественно обороняли его героические защитники. Город, который прозревали святые, просиявшие на кольской земле.

3

Мы приехали в Мурманск с петрозаводским критиком Иваном Константиновичем Рогощенковым для участия в устроенной Мурманской и Мончегорской епархией творческой конференции «Православие. Творчество. Жизнь».

Лично я, хотя и бывал на Кольском полуострове, на рубцовских чтениях в Апатитах, но до Мурманска ни разу не доезжал, а вот Иван Константинович, работая в журнале «Север», посещал Мурманск неоднократно, и сейчас он только удивлялся переменам, произошедшим в городе.

На Зеленой улице, на месте деревянной церквушки, вырос настоящий епархиальный городок. Здесь находится теперь и вместительный Свято-Никольский кафедральный собор, и церковь преподобного Трифона Печенгского, и часовня иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов», и гостиница, и здание Епархиального управления...

А когда мы попали на Кооперативную улицу, где полным ходом идет возведение подворья Трифона Печенгского монастыря, возникло ощущение, будто каким-то фантастическим образом нас перенесло в сказочный град Китеж.

Возносился в затянутое снежными тучами небо высокий шатровый верх церкви в честь иконы Богоматери «Живоносный источник», а рядом на открытом склоне, как ее называют тут, Кооперативной сопки поднялись часовня над источником, келейные корпуса, трапезная, небольшая гостиница для

паломников, хозяйственные постройки... Все это ограждено высоким бревенчатым кремлем со сторожевыми башнями.

За основу архитектурного проекта главного храма подворья взята Никольская церковь села Согинцы Подпорожского района Ленинградской области, но подобная церковь есть и на Терском берегу Белого моря. Это Успенская церковь в селе Варзуга. Стилль этот был широко распространен на Русском Севере в XVI—XVII веках, и вот теперь эти традиции русского храмового деревянного зодчества оживают в Мурманске в XXI веке.

— Проект Богородичного храма, — говорит отец Геронтий (Чудневич), — делали архитекторы, но некоторые здания мы задумываем сами, возводим так, как лучше, как красивее будет.

Действительно...

Как бы замечательно ни проектировались подобные ансамбли, они всегда несут в себе ощущение искусственной одномоментности создания их. И чем сильнее старается архитектор придать ансамблю вид памятника старины, тем более угнетает это.

Здесь же никакой одномоментности не чувствовалось. И это, наверное, самое главное, что удивляет, когда попадаешь на новое подворье Трифоно-Печенгского монастыря.

Град Китеж на Кооперативной сопке не спроектирован как подражание старине, он рождается, как рождались все русские города, постепенно расстраиваясь, вбирая своими строениями и рельеф местности, и историческую, сохранившуюся в древних

ремеслах память, и молитвы, что звучали здесь еще задолго до того, как застучали топоры плотников. И когда говорят, что территория, которую займет монастырский комплекс подворья, призвана стать духовным и культурным центром Мурманска, понимаешь, что это именно так. Этого центра не было в Мурманске, но он должен был быть, должен был как бы вырасти из русской истории, из самой здешней скалистой земли.

И вот стоишь на пригорке Кооперативной сопки, смотришь на поднимающийся прямо на глазах у тебя то ли из XVI века, то ли из домонгольских времен русский град, и постепенно осознаешь, что в этом узнавании Севера, как своего самого родного, и открывается суть русского характера, суть души русского человека.

Ощущение Севера как единственного открытого для России пространства, в котором наша страна может осуществляться полностью, пусть и подсознательно, но живет в каждом русском человеке. И поэтому невольное тяготение к Северу есть у каждого русского человека, где бы он ни жил — в среднейрусской полосе или на Юге. И хотя, казалось бы, на Севере тяжелее жить, но русская душа тоскует по северам, по этим бескрайним, чистым пространствам...

4

Утром 14 мая я проснулся от скрежета лопаты — это сторож епархии расчищал выпавший ночью снег...

Конференция наша началась выступлением владыки Симона, архиепископа Мурманского и Мончегорского.

Надо сказать, что владыка Симон многое унаследовал от своего духовного наставника. Как и владыка Иоанн (Снычѣв), он непритворно прост. Простота эта проявляется и в общении с людьми, и в том умении просто и ясно говорить о самом главном, что необходимо услышать сейчас окружающим, говорить так, чтобы слова воспринимались не только как архиерейское поучение, но как голос всей епархии.

Открывая конференцию «Православие. Творчество. Жизнь», владыка Симон говорил о том, что истинное искусство в России всегда пронизано христианским мироощущением, всегда духовно. Другое дело, что существует душеполезная духовность и душегубительная. Душеполезная духовность — это результат соработничества человека Богу, душегубительная — следствие совместного труда с дьяволом.

Православным может быть и светское по своему содержанию искусство. Важно только, чтобы выдерживались основные критерии — наличие в произведениях нравственного начала, позволяющего четко разграничивать добро и зло, и эстетические достоинства, ибо красота — это форма присутствия Бога в нашем мире.

Чрезвычайно важно, чтобы литературные произведения воспитывали братолюбие, объединяли людей во имя России и во славу Божию...

Мысли, изложенные в докладе архиепископа Симона, в принципе, не являлись новыми. В той или другой форме эти мысли можно встретить и в святоотеческой литературе, и в современной публицистике.

Но вместе с тем все это так точно соответствовало тому, что хотелось и что необходимо было услышать собравшимся в актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки участникам епархиальной творческой конференции, что эти слова сразу рождали в душе живой отклик.

Почему так восстала вся наша передовая общественность, когда начались разговоры, что неплохо бы ввести в школах курс православной культуры? Да потому что это будет мешать им морочить русский народ.

И я начал свое выступление с того, что продолжил мысль архиепископа Симона о каиновой печати презрения и нелюбви к своей православной Родине, что несет на себе не только наше коррумпированное чиновничество, но и наша продвинутая (конечно же, к Западу!) интеллигенция. Действительно, очень любопытно проследить, как трансформировалось за последние десятилетия в чиновничьей и интеллигентской среде отношение к Русской Православной Церкви.

Поощрительно-сочувственное любопытство конца 80-х, сменившись равнодушным безразличием 90-х, переросло в начале нового тысячелетия в агрессивную враждебность.

Это кажется непостижимым, но в ненависти к православию смыкаются сейчас между собою либералы-западники и создатели якобы славянской неоязыческой идеологии, атеисты из КПРФ и якобы священники с радиостанции «Свобода».

Но, с другой стороны, стоит ли удивляться этому симбиозу взаимоисключающего и несовместимого?

За последние двадцать лет, израсходовав протестный потенциал населения, полностью скомпрометировали себя либерализм и демократия.

За эти же годы, растеряв унаследованную от КПСС структурную и организационную мощь и так и не сумев преодолеть атеистическо-интернационалистской риторики, постепенно превращается в маргинальную партию КПРФ.

Вместо бесчеловечного, но экономически эффективного и конкурентно-способного капитализма, в нашей стране оказался построенным не способный ни к чему, кроме людоедства, назначенческий капитализм.

Убожество экономической модели, которую ельцины, гайдары, чубайсы и иже с ними построили в России ценой миллионов выморенных — в буквальном смысле этого слова! — россиян, проявилось именно сейчас, когда даже сверхвысокие цены на нефть ничего кроме еще большего обнищания простому россиянину принести не могут. Вся наша экономика существует словно бы только ради того, чтобы поддерживать экономику США да чтобы у господ абрамовичей и дерibasок прибывали всё новые и новые миллиарды...

Такого бесстыдного ограбления народов, населяющих Россию, и, прежде всего русского народа, которое началось в правление Ельцина и продолжилось при Путине, не знала ни одна страна мира.

Деятельность Русской Православной Церкви — это, пожалуй, единственное, что оказалось успешным в нашей стране за минувшие десятилетия.

Практически из руин, из небытия поднялась Святая Русь.

В любом городе или селе, подобно подворью Трифоно-Печенгского монастыря на Кооперативной сопке в Мурманске, поднимаются из руин грады Китежи возрожденных храмов, везде обнаруживаем мы спокойное и уверенное течение приходской жизни, которая после революции иссякла, кажется, навсегда.

И такого масштаба достижения, которыми никогда не смогут похвастаться ни либералы, ни демократы, и вызывают в них ненависти к Русской Православной Церкви. В каком-то смысле антиправославная истерия, что бушует сейчас в нашей стране, — наилучшее доказательство реального преобразования страны, которое, пусть не так быстро, как хотелось бы, но совершается в последние годы под влиянием Русской Православной Церкви.

Некоторых православных смущает слишком медленное, как им кажется, воцерковление людей, считающих себя православными, слишком медленное распространение православия в молодежной

среде. Но может ли ускориться этот процесс, если на пути православной проповеди встает вся мощь антиправославной либерально-русофобской пропаганды?

Мы видим, как в едином порыве восстала «передовая общественность», когда начались разговоры, что неплохо бы ввести в школах курс православной культуры. Почему? Казалось бы, повышение нравственности молодых людей, углубление их знания о своих национальных корнях, укрепление патриотизма и любви к Родине — это прямая задача всех без исключения партий и общественных движений в нашей стране.

Как бы не так!

В повышении нравственности, в углублении знаний о национальных корнях, в укреплении патриотизма и любви к Родине менее всего заинтересована нынешняя верхушка страны. Все это не только не нужно, но более того — опасно властям, потому что будет мешать и дальше морочить русский народ.

Мы знаем, — это показывают различные опросы! — что граждане нашей страны преимущественно позиционируют себя как православных людей, а вот среди чиновников всех уровней — как свидетельствуют те же опросы! — предпочитают атеистические убеждения.

Зная это, мы должны понимать и то, что пока мы будем терпеть чиновников атеистов — будет продолжаться невиданное разграбление нашей страны.

Разумеется, мне могут возразить, что при советской власти, особенно в сталинские и послеста-

линские годы такого воровства не было, хотя атеизм являлся государственной идеологией.

Но это не возражение, а подтверждение моей мысли.

В нравственном отношении советский атеизм принципиально отличался от атеизма ельцинских и путинских чиновников. В Кодекс строителя коммунизма, которому обязаны были следовать партийцы, а следовательно и чиновники, были вписаны, кроме первой, все Евангельские заповеди. Теперь же эти заповеди стали необязательными. Наглое и абсолютно безнаказанное взяточничество и воровство пронизывает всю выстроенную В.В. Путиным «вертикаль власти». Вот и получается, что советский человек с нравственной точки зрения был гораздо выше нынешнего чиновника, который не знает не только страха Господня, но и не боится преступать Уголовный кодекс.

Расхищено общенациональное достояние, разворованы триллионы государственных средств, у чиновников, живущих как бы на одну зарплату, выросли особняки на лучших заграничных курортах, скопились бесчисленные миллионы на иностранных счетах, но вспомните, чтобы хоть одного из них привлекли к ответственности и отобрали наgraбленное.

И понятно, что в стране, где парализована система ответственности крупных чиновников перед законом, борьбу с коррупцией, которую в очередной раз объявил очередной президент, следует начи-

нать не с широковещательных заявлений, а как раз с введения в школах курса православной культуры, с воспитания нравственности и патриотизма, ибо без этого борьба с коррупцией так и останется очередной пиар-акцией.

И как тут не вспомнить слова митрополита Иоанна (Снычёва), что нам не надо подыскивать каких-то новых национальных идей, такая идея есть, это наше православие, и только сообразуясь с ним, и можно выстроить приемлемые для нашей страны общественные, экономические и политические конструкции, которые будут работать на созидание нашей страны, нашей России...

«И стихию победить можно только тем миром, который исходит от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И к этому миру мы должны приобщиться, и этот мир мы должны усвоить... — развивая мысль митрополита Иоанна, говорит архиепископ Симон. — Неправильно поступают те, кто хочет раздор победить раздором».

5

Творчество настоящего русского писателя — это всегда соработничество Богу.

Так получилось, что наша конференция «Православие. Творчество. Жизнь» прошла в день 25-летия со дня кончины замечательного русского писателя Фёдора Александровича Абрамова.

Мы уже говорили, какое страшное и подлое наступление на Русскую Православную Церковь началось после кончины И.В. Сталина. Интересно сопоставить

ход этого хрущевского наступления с событиями биографий наиболее ярких представителей школы православного реализма.

Поразительно, но именно в 1958 году, когда вышло секретное постановление ЦК КПСС, заведующий кафедрой Ленинградского университета, коммунист Фёдор Абрамов выпустил первый том тетралогии «Пряслины», названный «Братья и сёстры» и рассказывающий о жизни архангельского села.

Уже само название романа, посвященного «бабьей, подростковой и стариковской войне в тылу», отсылало читателя к знаменитой речи И.В. Сталина, когда перед лицом смертельной опасности, нависшей над страной, сорвались с его языка слова, следование которым и помогло Генеральному секретарю ВКП(б) превратиться в Верховного главнокомандующего, приведшего народ к великой победе.

Ну, а с другой стороны, совершенно очевидно, что и название романа, и само его содержание напрямую вызывало к совести читателя, к его нравственному чувству.

Более того.

Можно с полным правом утверждать, что и роман «Братья и сёстры», и вся тетралогия «Пряслины», и сам Абрамов как писатель, рождались во внутреннем противостоянии антиправославной вакханалии, развернувшейся в стране.

Но если 38-летний Фёдор Абрамов в 1958 году достаточно ясно осознавал, к каким последствиям может привести государство новый виток борьбы

с православием, то Василию Ивановичу Белову, избранному в том году секретарем Грязовецкого райкома комсомола, быть воинствующим атеистом полагалось по самой его должности...

О непростом пути духовного прозрения, по которому, подобно великому множеству русских людей, шел он в своей жизни, сам Белов рассказал в очерке «Дорога на Валаам»:

«Лет сорок тому назад, будучи атеистом, я наконец отслужил срочную службу... Отравленным, вымотанным, но полным смутных надежд на будущее я приехал в Тимонику, к материнскому крову...

По-видимому, Создатель долго, осторожно и, может быть, бережно пробуждал мою совесть, понемногу приближая к Себе: сперва болью за крестьянскую участь, жалостью к матери»...

Это признание — беспощадно точное писательское определение того, что мы теряли в хрущевскую одиннадцатилетку, в годы такой студёной для православия оттепели.

Говоря о «боли» и «жалости», Василий Иванович Белов не просто сочувствует, но и страдает сам — ведь вместе с крестьянством уничтожается, изводится он сам, то самое главное в нем, что и отличает его бессмертную душу от безликих обитателей комсомольских и партийных коридоров. Холодное сочувствие легко погасить рассуждениями о конечной пользе, о жертвах во имя великой цели. Пробудить совесть, а следовательно, и приблизить к Богу способно лишь сострадание, которое ощущается как собственная боль.

Еще более поразительно то, как пробуждается в эти годы гений Николая Рубцова. В конце 50-х он служил в Мурманске на Северном флоте. И когда читаешь его сочинения той поры, трудно поверить, что они принадлежат перу тончайшего русского лирика, лирика по самой природе своей.

Но вместе с тем, когда рассеивался морок политбесед, в стихах Рубцова начинала прорываться пророческая пронзительность, так характерная для его зрелого творчества...

Тем не менее в борьбе с православием в начале 60-х годов хрущевцы явно одерживали победу.

Ощущение безвыходности, которое заронили в души православных иереев хрущевские идеологи, следует отнести к очевидным успехам антирелигиозной кампании. Неслучайно за успехи в своей работе Л.Ф. Ильичев в 1961 году был избран секретарем ЦК КПСС.

И, конечно же, если и ждала тогда помощи Православная Русь, то никак не от заведующего кафедрой советской литературы ЛГУ, члена КПСС Ф.А. Абрамова или от секретаря Грязовецкого райкома комсомола В.И. Белова, или от старшины второй статьи комсомольца Н.М. Рубцова...

Но именно им и удалось защитить в своих произведениях православную нравственность русского народа, которую пытались выкорчевать хрущевские идеологи. И, защищая нравственность, отстаивая русские традиции и культуру, писатели защищали и Церковь, более того, в Церкви, если не ограничи-

вать Церковь только церковными службами, черпали они силы для своего творчества, для своего служения!

6

Давно сказано, что о русском языке надо говорить, как о храме. В фундаменте его — труд равноапостольных Кирилла и Мефодия. «Первоучителями словенскими» язык создавался, как *средство выражения Богооткровенной истины*.

Очень точно сформулировал ту же мысль еще в XVI веке Иоанн Вишенский, который писал, что «словенский язык... простым прилежным чтанием... к Богу приводит... Он истинною правдою Божией основан, збудован и огорожен есть... а диавол словенский язык ненавидит...»

Целое тысячелетие, миновавшее с Крещения Руси, православное мировоззрение перетекало в наш «истинною правдой Божией» основанный язык, формируя его лексику, синтаксис и орфографию, и в результате возник Храм, оказавшийся прочнее любого каменного строения.

После победы в 1917 году, разрушая и оскверняя церкви, расстреливая священников, большевики старались разрушить и этот храм русского православия.

В полном соответствии с планом — спрятать Россию от русских, сделать Русь непонятной и непостижимой для русских — велась реформа орфографии, шла интервенция птичьего языка аббревиатур, насаждался полублатной одесско-местечковый

сленг. Но Слово Божие продолжало жить в русском языке и в самые черные для православных людей дни. Равнодушные, казалось бы, давно умершие для православия люди против своей воли поминали Бога, произносили спасительные для души слова.

Попутно отметим тут, что с этой точки зрения вопрос о богооставленности России, муссируемый нашими демократами, утрачивает свое однозначное толкование. Атеистическая тьма, сгущавшаяся над нашей Родиной во времена владычества ленинской гвардии и хрущевской «оттепели», так и не сумела перебороть православной светоносности нашего языка.

И происходило чудо.

В храме русского языка прошли свое воцерковление и заведующий кафедрой ЛГУ коммунист Ф.А. Абрамов, и секретарь райкома комсомола В.И. Белов, и демобилизовавшийся с флота Н.М. Рубцов.

Получившие строго атеистическое воспитание люди, погружаясь в работе со словом в живую языковую стихию, усваивали и начатки православного мировоззрения.

7

Разумеется, список писателей, которые своими книгами, своими жизнями противостояли тому, чтобы русские православные люди чувствовали себя чужими в своей собственной стране, не может быть ограничен только тремя именами. Сюда по праву

отнесятся такие мурманские писатели, как Борис Романов или Виталий Маслов.

И не имеет значения, что они пришли в литературу уже после падения Хрущева. Противостоять тому, чтобы русские православные люди чувствовали себя чужими в своей собственной стране, приходилось и в 70-е, и в 80-е годы.

К сожалению, книги даже лучших мурманских прозаиков остаются пока достоянием преимущественно мурманчан. Но, хотя далеко не все знакомы с рассказом Виталия Маслова «Зырянова бумага» или его книгой «Еще живые», о том, что В.С. Маслов был одним из инициаторов установления в Мурманске памятника Кириллу и Мефодию, помнят в России многие.

Есть, есть высокая символика в том, что воссоздание в России праздников славянской письменности и культуры началось именно в Мурманске, где 24 мая, на день памяти равноапостольных Первоучителей словенских Кирилла и Мефодия, и начинается полярный день.

Сегодня солнце не зайдет над нашим краем!
Над нашим краем Родины — России
не будет ночи!
До утра, играя,
день будет брезжить солнечным разливом...

Тут нас взрастило Слово — Свет народа —
и немоту разбило — мрак позорный.
Тут Слово стало Хлебом и Свободой
над бездною времен, бездонно черной...

Но Слово-солнце не зайдет над нашим краем!
И станет наше Слово теплым Светом,
и мы его уже не потеряем
и защитим... Помолимся об этом!

— писал мурманский поэт Виктор Тимофеев.

Во многом благодаря мужеству и трудолюбию Виталия Маслова Мурманск стал одним из духовных центров нашей великой Родины. И как закономерно, что такой человек завершил свой земной путь, будучи старостой храма Спас-на-водах.

Точно так же промыслительным представляется мне и то, что после завершения конференции архиепископ Симон отслужил литию по рабу Божию Феодору Александровичу Абрамову.

Лития эта стала не просто завершением дня конференции, но в каком-то смысле ее высшей кульминационной точкой, потому что сама идея конференции «Православие. Творчество. Жизнь» нашла в этой службе исчерпывающую полноту.

Глава четвертая Оленья тундра

На следующий день мы уезжали.

Поезд уходил вечером, и отец Андрей, настоятель мурманского храма Спаса-на-водах, взялся свозить нас на своей машине в Мончегорский район, где находится знаменитый Лапландский заповедник.

1

Отец Андрей в прошлом морской офицер. В священники, как он рассказывает, владыка Симон взял его прямо с палубы боевого корабля.

Сейчас отец Андрей настоятель храма и отвечает за православную работу на кораблях Северного флота.

Храм Спаса-на-водах мы видели, когда ездили к «Алеше» — памятнику героическим защитникам Мурманска. Похожий на дружину древнерусских богатырей в шлемах, стоит Спас-на-водах напротив Семёновского озера, и хотя никак не связан он с мемориальным комплексом на вершине сопки, но, когда от подножья «Алеши» смотришь на храм, кажется, что на помощь защитникам Мурманска и движется богатырская дружина.

Отец Андрей, сохранивший офицерскую выправку, тоже похож на богатыря из этой дружины.

— А ваш храм, — спрашиваю, — уже при владыке Симоне построили...

— При владыке... — кивает отец Андрей. — Он же у нас еще на открытом воздухе служил. Бывает, расстелет антиминс на сопочке, и служим, архиерейская служба идет... И что? Две литургии отслужили, и храм построен...

2

За разговорами выехали из Мурманска, и как-то сразу начал усиливаться ветер.

Вначале он нес редкие снеговые крупинки, потом снега стало больше, и по обледеневшему шоссе заструились белые змеи настоящей метели.

Прямо на наших глазах вылетел с шоссе и перевернулся тяжелый «Мерседес».

Мы остановились, но — слава Богу! — водитель уже выбрался из машины и сейчас звонил по мобильнику.

— Нужна ли помощь? — спросил отец Андрей.

— Всё в порядке! — ответил мужчина. — Проезжайте! Я уже вызвал подмогу...

Следующую аварию мы увидели километров через пять.

Здесь легковая машина врезалась в грузовик и, судя по тому, что рядом с милицейской «Волгой» стоял фургончик скорой помощи, без жертв тут не обошлось.

— У нас многие водители уже поменяли резину на машинах на летнюю, а тут снова зима вернулась... — сказал отец Андрей.

Но, хотя и уверенно звучал голос, рядом с этими авариями думалось не о резине, а о том, что здесь, на «ребрах северовых», саамские колдуны имеют власть над ветрами.

«Они завязывают три волшебных узла... — писал В.С. Соловьев. — Развязывают один — поднимаются ветры с умеренной силой; когда развязывают второй узел — начинают дуть ветры более сильные; когда развяжут третий — поднимется буря»...

А Надежда Большакова в своей книге «Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов» рассказала о девкенуэйте, которая жила на Нотозерском погосте.

«Как-то утром разбудила она людей погоста и велела приготовить на три дня хлеба и воды в тупах и всем сидеть по домам, носа не высовывать. Сама спать легла. Как заснула, поднялась буря, метель — света белого не видать. Через три дня все утихло. Нуэита проснулась и велела сородичам взять пищали и идти на мох. Когда они пришли, увидели шведов, что с погромом направлялась к их погосту. Большая часть уже замерзла, а которые были еще живы, тех убили.

Так нуэита бурей и метелью спасала свой погост от смерти и разорения».

3

Какая нуэита и от каких лихих людей спасала во сне свой погост сейчас, мы так и не узнали, но похоже было, что мы тоже попали под саамскую раздачу. Когда мы уже приближались к предгорьям Мончетундры, неведомые колдуны развязали, должно быть, третий узел, и метель превратилась в настоящую пургу. Снеговыми вихрями перекрывало шоссе так, что трудно было разглядеть что-либо впереди.

Название это саамское. «Монче» по-саамски — «красивая», а тундра, то есть «тундар», обозначает не тундру, а «горный массив».

И вот хотя и сказано в путеводителе, дескать «Мончегорск — жемчужина Кольского края», но смотришь в окно машины и не понимаешь, куда спряталась

«девственность природы, живописные ландшафты северной тундры и величественных гор».

Вместо этого по сторонам шоссе тянулись мертвые скалистые поля и рощи засохших деревьев. И метель, выбеливая мертвые деревья, делала их еще страшнее.

— Сейчас еще ничего... — хмурясь, сказал отец Андрей. — Сейчас отходить земля стала. А раньше еще страшнее было...

Еще страшнее...

Я смотрел на проносящиеся мимо отвалы, и казалось, что из этих руин природы и поднимаются здешние рассказы о колдунах.

4

Известна саамская сказка о нуэйте, который умел прятать от «шишей» добро.

«Принесут всё добро мужики к камню тому, а он, колдун, вернется, скажет слово и не видно станет добра; придут шиши, ничего не найдут... А уйдут — колдун вернется, скажет слово — опять всё видно станет, унесут добро лопари. Только спрятал раз добро колдун, а сам помер. Так и не нашли лопари своего добра. Потом долго всё ходили, всё хотели клад тот взять, да не дается, слова настоящего не знали».

Конечно, спрятать что-либо от большевиков было непросто.

В тридцатые годы были открыты медно-никелиевые месторождения, и поэтому и началось на берегу Имандры строительство Мончегорска.

В ночь на 10 августа в августе 1935 года на стройку в сопровождении окружного руководства и представителей хозяйственных организаций приехал первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) А.А. Жданов. На пристани в Монче-губе его встретил управляющий «Североникелем» товарищ Воронцов.

— Добыча стратегического сырья началась точно в установленные партией сроки! — отрапортовал он.

Авторитет А.А. Жданова в Мончегорске был непререкаем.

И в борьбе упорной
с вьюгой снежной
Мы за домом дом,
за цехом цех пускали,
И уже тогда
с любовью нежной
Просеку
проспектом называли...

— пели строители Мончегорска.

И, действительно, просека, на которой еще собирали грибы и ягоды, уже украсилась столбиками с указателями «Проспект А.А. Жданова».

Здесь и был поставлен памятник ему.

Старожилы вспоминают, что Мончегорск был тогда необыкновенно красив. «Город, завод и окружающие поселки — все стояло среди зеленого леса, спускавшегося с пологих склонов красивых гор»...

Но прошло несколько лет, и отвалы выработок исковеркали живописные ландшафты заполярного севера...

Нелепо искать пересечения между осуществляемой по рецепту Нафталия Ароновича Френкеля индустриализацией и саамским колдовством. Но читаешь местную газету об обнищавших мончегорцах, которые кружат возле комбинатов «Североникель» и «Печенганикель», самочинно добывая в отвалах содержащие медь и никель отходы, узнаёшь о битвах, разыгрывающихся между «черными копателями», и кажется, прямо здесь, на отвалах «Кольского Эльдорадо», и оживают саамские предания...

Даже названия соединений, которые добываются в отвалах, — никелевый скраб*, файнштейн** — и то звучат с каким-то колдовским акцентом.

И история с памятником товарищу А.А. Жданову, превратившемуся в четырехметрового бронзового лося, тоже, хотя и имеет вполне реалистическую трактовку, разве не из саамских сказок списана, где превращение человека в окаменевшее животное — обычное дело.

Ну, а с другой стороны, и в самом деле... Коли Андрей Андреевич таким непререкаемым авторитетом пользовался в довоенном Мончегорске, то почему бы и не превратиться ему в лося, не стать символом города в Монче-тундре?

* Закись никеля.

** Медно-никелевая руда.

Начальники из обкома партии и ЦК КПСС повозмущались тогда, конечно, что мончегорцы вместо вождя поставили фигуру Лося, но стерпели.

Тундра все-таки тут, Лапландия...

5

В Мончегорске только в величественном Свято-Вознесенском кафедральном соборе и сумели мы укрыться от бушующей пурги.

Поговорили с настоятелем собора митрофорным протоиереем отцом Иоанном Баюром и вроде бы набрались сил и решимости продолжить путь в заповедник. Однако, когда снова вышли на улицу, с трудом — такие сугробы намело! — сумели пробраться к своей машине...

Повздыхали и решили возвращаться в Мурманск.

Проехали мимо ставшего бронзовым лосем А.А. Жданова, выехали за город и через полчаса движения по совершенно пустому шоссе поняли, что едем не в ту сторону, что заблудились...

Снова вернулись в Мончегорск, отыскивали нужную дорогу и, прикинув по времени, сообразили, что в Мурманск на поезд уже не успеваем.

Решили ехать в Оленегорск.

Здесь, в Оленегорске, и садились мы на поезд, помолившись перед этим в засыпанной снегом церкви преподобного Дмитрия Прилуцкого.

Дмитрий Прилуцкий был соратником Сергия Радонежского. Говорят, что он отличался необык-

новенной красотой и столь же прекрасным, несокрушимым в отречении от мира духом.

Святой князь Дмитрий Донской уговорил преподобного Дмитрия стать восприемником своего сына, поскольку саму победу на Куликовом поле он приписывал его и Сергия Радонежского молитвам. Однако ни слава, ни богатство, ни всеобщая любовь не радовали святого.

Посоветовавшись с Сергием Радонежским, Дмитрий, ставший «государевым кумом», уходит на север, в те края, где никто не знает его, и основывает невдалеке от Вологды монастырь.

Ну, а теперь дошел преподобный Дмитрий Прилуцкий и до Заполярья, до возвышенности Оленья Тундра.

Здесь добывают и обогащают железную руду, а потом везут ее в Вологодскую область на Череповецкий металлургический завод.

Такой вот взаимооборот Оленьей Тундры и Вологодчины.

6

Первый раз я был в Прилуцком монастыре четверть века назад, когда еще только собирал материалы для своей книги о Николае Рубцове.

Рубцовы поселились здесь, когда отца семейства, Михаила Андреевича, перевели на работу в Вологду.

Николаю же было пять лет...

Много лет спустя он написал рассказ «Дикий лук», в котором попытался описать атмосферу тех лет.

«За Прилуцким монастырем на берегу реки собрались мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра, брат и я, еще ничего не понимающий толком. День был ясный, солнечный и теплый. Всем было хорошо. Кто загорал, кто купался, а мы с братом на широком зеленом лугу возле реки искали в траве дикий лук и ели его. Неожиданно раздался крик: «Держите его! Держите его!». И тотчас я увидел, что мимо нас, тяжело дыша, не оглядываясь, бежит какой-то человек, а за ним бегут еще двое.

— Держите его!

Отец мой быстро выплыл из воды и, в чем был, тоже побежал за неизвестным. «Стой! — закричал он. — Стой! Стой!» Человек продолжал бежать. Тогда отец, хотя оружия у него никакого не было, крикнул вдруг: «Стой! Стрелять буду!».

Неизвестный, по-прежнему не оглядываясь, прекратил бег и пошел медленным шагом»...

Рассказ Рубцова написан очень просто, но при этом он поразительно точен по характерам и по психологии, особенно если не забывать, что дело происходит возле Прилуцкого монастыря, куда еще недавно свозили со всего края раскулаченных мужиков...

«Все это поразило меня... — тридцать лет спустя напишет поэт Рубцов. — И впервые на этой земле мне было не столько интересно, сколько тревожно и грустно. Но... давно это было».

Здесь, возле Прилуцкого монастыря и встретил Николай Рубцов черный день, 26 июля 1942 года...

Он возвращался с братом из кино, когда возле калитки ребят остановила соседка и сказала:

— А ваша мама умерла.

У нее на глазах показались слезы. Брат тоже заплакал и сказал Николаю, чтоб он шел домой.

«Я ничего не понял тогда, — вспоминал уже взрослый Рубцов, — что такое случилось...»

Он поймет это через несколько дней, когда отец сдаст его в детдом...

Конечно, заманчиво было бы порассуждать, что вблизи церкви преподобного Дмитрия Прилуцкого — от Оленегорска до Кировска, где учился в 1954 году в горном техникуме Николай Рубцов, нет и часа езды! — и пытался поэт оттаять от своего, возле Прилуцкого монастыря обрушившегося на него сиротства... Но — увы — никаких свидетельств, что Рубцов бывал в Оленегорске, или хотя бы догадывался о существовании такого вологодского «соседа», нет...

Впрочем, так ли уж важно, что знал и о чем догадывался 17-летний Рубцов.

Преподобный Дмитрий Прилуцкий, как свидетельствует его житие, и при жизни молился за обидимых и болящих, и после кончины продолжает он молиться перед престолом Божиим за них...

И вот так получилось, что именно в Кировске, как вспоминают его однокурсники, полюбила Николаю Рубцову песня «Осенние журавли» на слова Алексея Жемчужникова...

Вот под небом чужим я как гость нежеланный
Вновь встречаю гостей улетающих вдаль
Сердце бьется сильнее и как хочется плакать
В дорогие края провожаю вас я...

— часто пел Николай Рубцов.

Вот уж близко летят и, все громче рыдая,
Словно скорбную весть мне они принесли...
Из какого же вы неприветного края
Прилетели сюда на ночлег, журавли?..

Тут промозглый туман, тут холодная слякоть
Вид унылых людей и унылых равнин
Ах, как больно душе! Ах, как хочется плакать!
Перестаньте рыдать надо мной, журавли.

Песня эта, достаточно популярная в те годы, отличалась необыкновенно проникновенной мелодией, и хотя многие слова по-эстраднему приблизительны и необязательны, но Рубцов отчетливо различал в них голоса своих журавлей, которым еще предстоит заполнить его стихи...

7

Железнодорожный вокзал в Оленегорске, хотя тут и зал ожидания есть, и прочее положенное вокзалу хозяйство, в снежной метели неразличимо сливался с разъездом, на котором садился на свой поезд Николай Рубцов...

Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает... Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес меня, как леший!

И совершенно непохожим был этот, скатывающийся с «ребер северовых», поезд на тот, что среди сияющей светом весны мчался несколько дней назад в Мурманск.

В нашем вагоне в Мурманск ехало тогда всего восемь человек, а здесь, лишь в нашем купе оказалось, если считать с детьми, пятеро.

Так же тесно было и у соседей.

Когда только влез я в поезд, возникло ощущение эвакуации, бегства, как в стихах Рубцова:

Поезд мчался с грохотом и воем,
Поезд мчался с лязганьем и свистом,
И ему навстречу желтым роем
Понеслись огни в просторе мгlistом.
Поезд мчался с полным напряженьем
Мощных сил, уму непостижимых,
Перед самым, может быть, крушеньем
Посреди миров несокрушимых.
Поезд мчался с прежним напряженьем
Где-то в самых дебрях мироздания,
Перед самым, может быть, крушеньем,
Посреди явлений без названья...

Впрочем, к поезднему многолюдью быстро привыкаешь.

И ощущение катастрофы, от которой бегут все, тоже быстро рассеялось...

Так всегда и бывает, объяснили мне. Весной в Заполярье идут пустые поезда, а из Заполярья — переполненные. Ну, а осенью наоборот... Такой вот связанный с временами года перекося получается.

Что ж... Остается повторить следом за Николаем Рубцовым:

Быстрое движенье
Всё смелее в мире год от году,
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

И тут, постепенно свыкаясь с пространством вагонной полки, с достаточностью его для передвижения в поезде, только и остается подивиться, каким великим множеством зачастую незамечаемых нами нитей связаны пространства нашей Родины.

Вот тот же Рубцов... Так получается, что без Заполярья невозможно представить его жизнь.

Попробовав поработать на тралфлоте, Николай Рубцов не уезжает из Заполярья, а поступает в горно-обогатительный техникум в Кировске. Но и бросив учебу, и перебравшись в Ленинградскую область, он снова возвращается сюда, когда его призывают на срочную службу.

Сохранилось довольно много стихотворений Николая Рубцова, написанных в эти годы, но Заполярье не только в этих стихах...

Заполярье вошло составной частью в *белый* свет поэзии Рубцова.

Как в дневном свете содержится красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый цвета, так и чистый, *белый* свет России невозможен без цветов районов и областей, которые и составляют нашу страну. Заполярье один из важнейших цветов в этом спектре, и *белый* свет России был бы совсем другим без него...

Это чувствовал Рубцов.

Это чувствовали бесстрашные защитники северных рубежей нашей страны.

Это чувствовали святые, которые просияли на заполярных северах...

Это должны почувствовать и мы, если мы хотим, чтобы жизнь в нашей стране была освещена *белым* светом братолюбия и добра, если мы желаем победить страх пред ненавистною раздельностью мира.

Содержание

Сельские жители

ВОЛШЕБНОЕ ЯБЛОКО (Рассказы)	5
Деревянные сабли	5
Птичья бабушка	17
Гадюка	24
Волшебное яблоко	32
Живуля	34
Лесенки	41
Макушечка	42
Прозрение в осеннем лесу	48
Самовар	51
У тихой воды	55
Жители земли	62
Старая баня	71
Арси	79
Бабка Таня и Шашка — послушный сын . . .	81
Ночной гость	89

РЁЧИ ВОЗНЕСЕНСКИЕ

(Картинки с натуры)	95
Душа — не печка, выюшкой не закроешь . . .	95

Эвти старушки	98
У ларька	100
Бабушки	102
Девушка	107
Лопатин	109
Хозяйские люди	111

Любушкина десятина

КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ

(Повесть-дневник)	117
-----------------------------	-----

ГЛАЗА НАД ПРОПАСТЬЮ (Рассказы)

Любушкина десятина	168
Индеец Кутехин	176
Следующая остановка — конечная	189
Вьюга	215
В конце времени	223
Господи, помилуй	225
Последний бой	231
По вере вашей	254
Нацпроект	256
Изуродованное лицо	260
Глаза над пропастью	264

РУССКАЯ СУДЬБА

(Мысли, зарисовки, рассказы)	283
--	-----

По другую сторону Пасхи	283
Русская судьба	284
Во тьме	285
Число зверя	287
Встреча с чудотворцем Николаем	288
Исповедничество нашего времени	294
Чтобы умереть в своей постели	294
«Православные» надежды	296
Молитва игуменье Евпраксии	297
Самарская тайна	297
Покаяние	299
Благословение	301
На острове Залита	303
Женщина в красной юбке и зеленой кофте	304
Пророчество старца	305
Бесы	306
Гречка	307
ПАСХА НА РУСИ	310

Пробуждение

НА РОДИНЕ ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО	327
В СЕННО, У ФРОЛА И ЛАВРА.	351

ТЕПЛО КОНЕВЕЦКИХ МОЛИТВ	359
РОДИНА НИКИФОРА ВАЖЕОЗЕРСКОГО . .	376
«РЁБРА СЕВЕРОВЫ»	397

Николай Михайлович Коняев

ГЛАЗА НАД ПРОПАСТЬЮ

Художник

Е.А. Смирнов

Литературный редактор

Н.В. Антонец

Выпускающий редактор

Ю.А. Бордуков

Верстка

Д.В. Кашкин

Корректор

Н.В. Антонец

Подписано в печать 26.09.2011

Формат 84×108/32

Печать офсетная. Тираж 7000 экз. Заказ 26398.
ООО «Смирение». Москва. Тел. +7(916) 692-91-15

Отпечатано по технологии CtP

в ОАО «Первая Образцовая типография»,
обособленное подразделение «Печатный двор».
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

A photograph of a rocky stream with a small waterfall and lush green vegetation. The water is white and turbulent as it flows over dark, jagged rocks. The surrounding area is covered in dense green foliage, including ferns and other plants. The overall scene is a natural, outdoor setting.

Смирєніє